This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

SlAK 4354.3.832

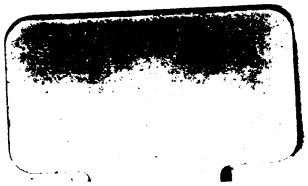
Harvard College
Library

THE GIFT OF

Archibald Cary Coolidge

Class of 1887

PROFESSOR OF HISTORY



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Б. Л.
OVSIANIKO-KULIKOVSKII
"ETIUDY O TVORCHESTVE TURGENEVA"

Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій

9781
25

ЭТЮДЫ О ТВОРЧЕСТВѢ И. С. ТУРГЕНЕВА

ИЗДАНІЕ 2-ое, ДОПОЛНЕННОЕ и ИСПРАВЛЕННОЕ,
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ПОРТРЕТА.

Книгоиздательство „ОРІОНЪ".
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1904.

Digitized by Google

Slav 4354.3.832

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF
ARCHIBALD CARY COOLIDGE
25 OCT 1924

Типо-Литографія „Энергія“, Загородный, 17.

Digitized by Google

И. С. Тургеневъ

въ томъ одѣяніи, въ которое онъ долженъ былъ облачиться, когда, въ 1879 г., Оксфордскій университетъ преподнесъ ему дипломъ доктора обычнаго права, во вниманіе къ его литературнымъ трудамъ, содѣйствовавшимъ дѣлу эмансипаціи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.

Digitized by Google

Digitized by Google

Предисловіе.

Настоящее — второе — изданіе моихъ „Этюдовъ о творчествѣ И. С. Тургенева“ отличается отъ перваго (1896 г.), кромѣ поправокъ въ текстѣ, тремя дополнительными очерками: 1) Введеніемъ, гдѣ разсматриваются „западническія“ воззрѣнія Тургенева; 2) Приложеніемъ I, гдѣ сгруппированы нѣкоторыя справки изъ критической литературы о Тургеневѣ; 3) Приложеніемъ II, гдѣ даны поясненія по затронутому въ главѣ VII-ой вопросу о связи между моральнымъ и религіознымъ укладомъ въ душѣ человѣческой.

Позволю себѣ повторить здѣсь то, что̀ я писалъ въ предисловіи къ первому изданію:

Живой интересъ, представляемый важнѣйшими созданіями Тургенева, еще очень не скоро изсякнетъ. Нѣкоторыя изъ нихъ — такъ можно думать — навсегда останутся во всемірной литературѣ. Во всякомъ случаѣ долго еще они будутъ служить предметомъ размышленія и изученія. Широта художественныхъ обобщеній Тургенева, общечеловѣческое значеніе его типовъ, глубина идей, возбуждаемыхъ его образами, составляютъ богатое умственное достояніе, котораго хватитъ на много поколѣній. Литература, посвященная критикѣ, изученію и истолкованію произведеній Тургенева, будетъ расти и у насъ, и въ Европѣ.—*) Предлагаемая книга есть посильный вкладъ въ эту литературу.

Авторъ.

*) Недавно (10 г.) вышла въ серіи „Geisteshelden (Führende Geister). Eine Sammlung von Biografhien“, томъ 43, біографія Тургенева съ очеркомъ его творчества, составленная Эрнстомъ Борковскимъ („Turgeniew“. Von Ernst Borkowsky). Знакомствомъ съ этой прекрасной, съ любовью и знаніемъ дѣла написанной книгой я обязанъ проф. Алексѣю Ник. Веселовскому, которому и приношу искреннюю благодарность.

Digitized by Google

Digitized by Google

ВВЕДЕНІЕ.

1.

И. С. Тургеневъ принадлежалъ къ числу наиболѣе послѣдовательныхъ представителей такъ называемаго «западничества» и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ убѣжденнымъ «либераломъ стараго покроя, постепеновцемъ», какъ онъ самъ аттестовалъ себя въ извѣстномъ «отвѣтѣ иногороднему обывателю».

Система его общественныхъ и политическихъ идей, опредѣляемая этими понятіями «западничества» и «умѣреннаго либерализма», интересуетъ насъ здѣсь постольку, поскольку ею характеризуется складъ ума и самой натуры писателя. Ниже, въ главахъ I-ой и II-ой, мы ведемъ рѣчь и объ умѣ, и о натурѣ Тургенева, но намъ казалось, что характеристику, тамъ сдѣланную, необходимо обосновать на болѣе широкомъ базисѣ. Такимъ базисомъ и послужитъ намъ очеркъ «идеологіи» Тургенева.

Общественныя понятія Тургенева складывались въ ту эпоху, когда еще прочно стояло крѣпостное право, и важнѣйшимъ очереднымъ вопросомъ жизни и внутренней политики была подготовка эмансипаціи крестьянъ. Тургеневъ принадлежалъ къ числу тѣхъ, сравнительно немногочисленныхъ, жителей дореформенной эпохи, которые не только понимали, но живо и болѣзненно чувствовали все безобразіе и все зло крѣпостнаго права. И онъ, какъ извѣстно, далъ себѣ «Аннибалову клятву»—бороться съ крѣпостной неволей всѣми доступными ему средствами. Объ этомъ онъ позже (въ 1868 г.) вспоминалъ такъ: «я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что́ я возненавидѣлъ; для этого у меня, вѣроятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага за тѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ

Digitized by Google

врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ—крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца—съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва...» («Литературныя и житейскія воспоминанія». «Вмѣсто вступленія»). Отмѣтимъ здѣсь указаніе на то, что Тургеневъ счелъ нужнымъ удалиться отъ «врага», что онъ не могъ оставаться рядомъ съ нимъ и т. д. Онъ удалился на Западъ. Это удаленіе было и фактическимъ, и, что, пожалуй, важнѣе, психологическимъ, идейнымъ. Тургенева, какъ и другихъ лучшихъ людей дореформенной эпохи, тянуло на Западъ, подышать другимъ воздухомъ, возродиться, поучиться; но еще болѣе ихъ сознаніемъ и чувствами овладѣвала невольная антитеза Россіи и Западной Европы, при чемъ рѣшительное преимущество отдавалось этой послѣдней, ибо въ ней, несмотря на почти всеобщую реакцію и разныя отрицательныя стороны жизни, совершалось, хотя бы и медленно, неровно, съ остановками, поступательное движеніе въ направленіи къ лучшему будущему, и уже были завоеваны нѣкоторыя гарантіи свободы и возможности жить и работать по-человѣчески.

«Западничество» не значило — предпочтеніе всего западноевропейскаго всему русскому. Оно выражало только назрѣвшую потребность и стремленіе внести въ русскую жизнь элементарныя начала общечеловѣческой прогрессирующей цивилизаціи, которыя были выработаны Западною Европою. Тяготѣніе къ Западу было тяготѣніемъ къ общечеловѣческому идеалу. «Я бросился»—вспоминаетъ Тургеневъ (тамъ-же) — «внизъ головою въ „нѣмецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ—я всетаки очутился „западникомъ“, и остался имъ навсегда».

Но «западничество» Тургенева замѣтно разнилось отъ «западничества» многихъ другихъ дѣятелей, какъ дореформенной, такъ въ особенности пореформенной эпохи. Вотъ именно это отличіе намъ и нужно теперь уяснить себѣ.

Оно сводится главнымъ образомъ къ критическому и скептическому отношенію къ русской дѣйствительности, къ русскому народу, къ нашей исторіи, ко всему нашему прошлому и нашему—по крайней мѣрѣ, ближайшему—будущему.

Въ этомъ отрицательномъ направленіи Тургеневъ доходилъ иногда до крайности, рискуя прослыть ненавистникомъ и

Digitized by Google

порицателемъ всего русскаго, отщепенцемъ и крайнимъ западникомъ. Всего яснѣе сказалась точка зрѣнія Тургенева въ «Дымѣ», именно въ рѣчахъ Потугина, а также въ нѣкоторыхъ письмахъ.—Приведу нѣсколько выдержекъ.

Потугинъ говоритъ: «Да-съ, да-съ, я западникъ, я преданъ Европѣ; то-есть, говоря точнѣе, я преданъ образованности, надъ которою такъ мило у насъ теперь потѣшаются,—цивилизаціи—да, да, это слово еще лучше—и я люблю ее всѣмъ сердцемъ, и вѣрю въ нее, и другой вѣры у меня нѣтъ и не будетъ. Это слово: ци-ви-ли-за-ція (Потугинъ отчетливо, съ удареніемъ произнесъ каждый слогъ) и понятно, и чисто, и свято, а другія всѣ, народность тамъ, что-ли, слава, кровью пахнутъ... Богъ съ ними!» («Дымъ» V).

«..... Вы спрашивали меня, какого я мнѣнія о Европѣ: я удивляюсь ей и преданъ ея началамъ до чрезвычайности и нисколько не считаю нужнымъ это скрывать.....» (Тамъ-же).

Какъ извѣстно, въ «Дымѣ» есть слѣды или отголоски той размолвки, которая возникла между Тургеневымъ и Герценомъ въ 1863 году и продолжалась, кажется, до 1866 года. Къ 1867-му году, когда былъ напечатанъ «Дымъ», друзья-противники почти примирились, и Тургеневъ, посылая Герцену экземпляръ «Дыма», между прочимъ писалъ ему: «... посылаю тебѣ свое новое произведеніе. Сколько мнѣ извѣстно, оно возстановило противъ меня въ Россіи людей религіозныхъ, придворныхъ, славянофиловъ и патріотовъ. Ты не религіозный человѣкъ и не придворный; но ты славянофилъ и патріотъ, и, пожалуй, прогнѣваешься тоже; да сверхъ того и Гейдельбергскія мои арабески тебѣ, вѣроятно, не понравятся, — какъ бы то ни было, дѣло сдѣлано». (Письмо отъ 17 мая 1867 г., изъ Баденъ-Бадена).

Въ другомъ письмѣ Тургенева къ Герцену (22 мая 1867) читаемъ: «Тебѣ наскучилъ Потугинъ, и ты сожалѣешь, что я не выкинулъ половину его рѣчей. Но добавь: я нахожу, что онъ еще не достаточно говоритъ, и въ этомъ мнѣніи утверждаетъ меня всеобщая ярость, которую возбудило противъ меня это лицо. Іосифъ II говорилъ Моцарту, что въ его операхъ слишкомъ много нотъ.—«Keine zu viel», отвѣчалъ тотъ. Я не Моцартъ, еще гораздо меньше, чѣмъ ты не Іосифъ II, но и я осмѣлюсь думать, что тутъ «Kein Wort zu viel». То, что за границей избито какъ общее мѣсто, у насъ можетъ приводить въ бѣшенство своей новизной».

Digitized by Google

Въ слѣдующемъ письмѣ (отъ 4 іюня 1867 г.) Тургеневъ говоритъ о впечатлѣніи, произведенномъ «Дымомъ»: «...знаю, что меня ругаютъ всѣ—и красные, и бѣлые, и сверху, и снизу, и сбоку—особенно сбоку. Даже негодующіе стихи появились. Но я что-то не конфужусь и не потому, что воображаю себя непогрѣшимымъ; а такъ какъ-то—словно съ гуся вода. Представь себѣ, я даже радуюсь, что мой ограниченный западникъ Потугинъ появился въ самое время этой всеславянской пляски съ присядкой, гдѣ Погодинъ такъ лихо вывертываетъ па съ гармошкой...» *).

Такимъ образомъ въ «Дымѣ» Тургеневъ, такъ сказать, бросилъ перчатку всѣмъ націоналистамъ, славянофиламъ, патріотамъ всѣхъ оттѣнковъ, начиная отъ идеалистическаго славянофильства, представителями котораго тогда были И. С. Аксаковъ, Н. Н. Страховъ, Н. Соловьевъ, и кончая радикальнымъ народничествомъ, наиболѣе яркимъ въ то время направленіемъ нашей общественной мысли, основы котораго были установлены Герценомъ еще въ 50-хъ годахъ и потомъ разработаны Н. Г. Чернышевскимъ и его сподвижниками. Это радикальное народничество, какъ и идеалистическое славянофильство, основывалось на идеализаціи извѣстныхъ сторонъ или «основъ» русской жизни, на которыя представители этихъ направленій возлагали извѣстныя упованія, видя въ нихъ залогъ лучшаго будущаго. Въ ряду этихъ «основъ» на первый планъ выдвигались «община» и «артель», въ которыхъ видѣли исконныя русскія учрежденія, созданныя народнымъ творчествомъ, прогрессивное развитіе которыхъ открывало заманчивыя перспективы будущаго.

Тургеневъ рѣшительно не вѣрилъ ни въ «общину», ни въ «артель», ни въ «будущность Россіи», на нихъ построенную. Вотъ что читаемъ въ его письмѣ къ Герцену (отъ 13 дек. 1867 г.): «Отъ общины Россія не знаетъ какъ отчураться, а что до артели—я никогда не забуду выраженія лица, съ которымъ мнѣ сказалъ въ нынѣшнемъ году одинъ мѣщанинъ: «кто артели не знавалъ, не знаетъ петли». Не дай Богъ, чтобъ безчеловѣчно эксплуататорскія начала, на которыхъ дѣйствуютъ наши артели, когда-нибудь примѣнились въ болѣе широкихъ размѣрахъ! «Намъ въ артель его не надыть: человѣкъ онъ хоша не воръ, безде-

*) Дѣло идетъ о славянскомъ съѣздѣ въ Москвѣ, во время выставки лѣтомъ 1867 г.

Digitized by Google

нежный и поручителевъ за себя не имѣетъ, да и здоровьемъ не надеженъ—на кой его намъ лядъ!» Эти слова можно услыхать сплошь да рядомъ: далеко, какъ изволишь видѣть, до fraternité или хоть до Шульце-Деличевской ассоціаціи».—

Съ тѣхъ поръ много воды утекло, и много было пережито, передумано и переиспытано, благодаря чему въ настоящее время мы имѣемъ возможность увѣреннѣе смотрѣть на будущее, не связывая его съ идеализированною «общиною» и «артелью». Ореолъ и идеологія этихъ «народныхъ основъ» нашей культуры уже развѣнчаны, и стало ясно, что не на нихъ слѣдуетъ строить виды на лучшее—историческое—будущее. Выяснилось, что Россія въ своемъ историческомъ движеніи идетъ по европейскимъ, а не по какимъ либо инымъ путямъ,—и нынѣ всякій, кто стоитъ на сторонѣ прогресса, поневолѣ является въ извѣстномъ смыслѣ «западникомъ», хотя бы и не называлъ себя этимъ устарѣлымъ терминомъ; на сторонѣ застоя и регресса оказались наслѣдники славянофильства—націоналисты. И теперь болѣе чѣмъ когда-либо пригодна формула Потугина, указывающая на ци-ви-ли-за-цію, какъ на идеалъ, при чемъ, разумѣется, мы еще болѣе «растягиваемъ» это слово, чѣмъ «растягивалъ» его Потугинъ: мы понимаемъ подъ нимъ не одинъ какой-либо фазисъ или преходящій моментъ, пережитый или переживаемый западно-европейскими народами, а тѣ живыя и творческія силы европейской культуры, которыя созидаютъ будущую—высшаго порядка—культуру. Весь вопросъ въ томъ, могутъ ли эти силы, которыя называются свобода, просвѣщеніе, наука, демократизація всѣхъ благъ культуры и всѣхъ учрежденій, приняться и дѣйствовать у насъ. Есть основанія думать, что могутъ...

Мы не меньше Тургенева разочаровались въ «общинѣ» и во всѣхъ прочихъ «устояхъ» нашей народной жизни, но отъ этого мы не стали пессимистами,—и, сходясь въ основной точкѣ зрѣнія съ Потугинымъ, т. е. Тургеневымъ, рѣшительно расходимся съ нимъ во взглядѣ на русскій народъ, на «мужика», на рабочаго. И слѣдующія слова Тургенева (въ томъ же письмѣ къ Герцену отъ 13 дек. 1867 г.) звучатъ въ нашихъ ушахъ почти дико, какъ странное мнѣніе, явно не соотвѣтствующее дѣйствительности: «...изо всѣхъ европейскихъ народовъ именно русскій менѣе всѣхъ другихъ нуждается въ свободѣ. Русскій человѣкъ, самому себѣ предоставленный, неминуемо выростаетъ въ старообрядца,—вотъ куда его гнетъ, его претъ, а вы сами лично до-

Digitized by Google

статочно обожглись на этомъ вопросѣ, чтобы не знать, какая тамъ глушь, и темь, и тиранія».—

Любопытно отмѣтить аналогичное сужденіе Тургенева въ другомъ, болѣе раннемъ письмѣ къ тому же лицу (отъ 8 окт. 1862 г.): «народъ, передъ которымъ вы поклоняетесь, консерваторъ par excellence и даже носитъ въ себѣ зародыши такой буржуазіи въ дубленомъ тулупѣ, теплой и грязной избѣ, съ вѣчно набитымъ до изжога брюхомъ и отвращеніемъ ко всякой гражданской отвѣтственности и самодѣятельности, что далеко оставитъ за собою всѣ мѣтко—вѣрныя черты, которыми ты изобразилъ западную буржуазію въ своихъ письмахъ...»—

Что тутъ есть доля правды, это мы теперь знаемъ гораздо лучше, чѣмъ могли знать это наблюдатели народной жизни въ началѣ 60-хъ годовъ. Народное кулачество, мелкая «нео-буржуазія», возникающая въ самомъ народѣ, консервативность массъ—все это обнаружилось съ достаточною очевидностью и давно стало даже предметомъ художественнаго изученія (Салтыковъ, Глѣбъ Успенскій, Саловъ и др., потомъ Чеховъ, напр. въ повѣсти «Въ оврагѣ»). Но этого рода явленія, подрывая «культъ» народа, идеалистическое народничество, вовсе не могутъ насъ обезкуражить. Они только даютъ лишнее подтвержденіе тому, что Россія идетъ по западно-европейскому историческому пути и — въ томъ же направленіи. Важно одно: чтобы въ этомъ — историческомъ — движеніи не было остановки. Остановки не будетъ, если народъ окажется воспріимчивымъ къ свѣту знанія, къ новымъ понятіямъ, если у него выработаются новыя, болѣе культурныя потребности, привычки, вкусы. Уже теперь набросанная Тургеневымъ картинка «буржуазіи въ дубленомъ тулупѣ, теплой и грязной избѣ, съ вѣчно набитымъ до изжога брюхомъ» и т. д.—оказывается старомодною и вовсе не характерною для «народной буржуазіи» въ цѣломъ. Эта «буржуазія» отнюдь не прочь отъ болѣе приличной обстановки и даже выписываетъ «Ниву». Въ концѣ концовъ это—вопросъ просвѣщенія, «цивилизованія». Въ возможность же привитія народу «цивилизаціи» вѣрилъ даже самъ Тургеневъ, при всемъ своемъ пессимизмѣ,—онъ утверждалъ (въ томъ же письмѣ), что роль или призваніе «образованнаго класса въ Россіи» состоитъ въ томъ, чтобы «быть преподавателемъ цивилизаціи народу». И позже, въ письмѣ отъ 13 дек. 1867 г., онъ пишетъ: «...возьмите науку, цивилизацію и лѣчите (т. е. народъ) этой гомеопатіей мало по малу».—

Digitized by Google

Народъ рисовался Тургеневу какъ темная масса, больная застарѣлыми—историческими—недугами («отвращеніе къ гражданской отвѣтственности и самодѣятельности») и подлежащая лѣченію «цивилизаціею»,—хотя бы и гомеопатическому.

Вотъ именно въ этомъ-то и состояла практическая программа Тургенева, которую онъ рекомендовалъ друзьямъ народа,—всякому, кто хотѣлъ прійти на помощь народу. Такъ онъ писалъ Философовой (22 февр. 1875): «позвольте васъ пожурить немного...: вы начинаете съ того, что увѣдомляете меня объ окончаніи вашей постройки, о заведеніи школы и т. п., и черезъ нѣсколько строкъ говорите объ отчаяніи, которое овладѣваетъ вами. Помилуйте, дѣятельность ваша достигла хотя маленькаго результата—слѣдов. небезплодна—чего больше? Пусть каждый въ своей средѣ сдѣлаетъ столько-же, и выйдетъ дѣло большое и хорошее. Вспомните старика Шиллера:

Die Thätigkeit die nie ermattet...
Die Sandkorn nur an Sandkorn reicht...

Пора у насъ въ Россіи бросить мысль о «сдвиженіи горъ съ мѣста»—о крупныхъ, громкихъ и красивыхъ результатахъ; болѣе чѣмъ когда-либо и гдѣ-либо слѣдуетъ у насъ удовлетворяться малымъ, назначать себѣ тѣсный кругъ дѣйствія: мы умремъ—и ничего громаднаго не увидимъ...»—Ту-же мысль высказалъ Тургеневъ и въ другомъ письмѣ къ Философовой (отъ 11 сент. 1874 г.), выдержку изъ котораго я привожу въ главѣ III-ей, разбирая типъ Соломина. Здѣсь-же приведу изъ того-же письма другое мѣсто: «Народная жизнь переживаетъ воспитательный періодъ хорового развитія, разложенія и сложенія; ей нужны помощники—не вожаки, и лишь только тогда, когда этотъ періодъ кончится, снова появятся крупныя, оригинальныя личности...»—

«Воспитательный періодъ хорового развитія»—это, повидимому, только другое выраженіе все той-же мысли, гласящей, что народъ долженъ учиться цивилизаціи или гомеопатически лечиться ею,—помощниками его въ этомъ дѣлѣ и должны явиться дѣятели—народолюбцы. Но тутъ же находятся термины: «сложеніе», и «разложеніе», которые, пожалуй, могутъ дать поводъ подумать, что Тургеневъ предвидѣлъ процессъ дифференцированія народной массы, образованія новыхъ группъ, напримѣръ, выдѣленія и сложенія рабочаго класса и т. д. Если такъ, то въ

Digitized by Google

лицѣ Соломина мы имѣемъ образецъ дѣятеля, который является «помощникомъ» народа и въ этомъ трудномъ дѣлѣ — организаціи. Пусть Соломинъ — человѣкъ «сѣрый» и обыкновенный, а не крупная и оригинальная личность, но вѣдь и онъ, въ своемъ родѣ, не только «помощникъ», но и вожакъ. И гдѣ та граница, которая отдѣляетъ «помощника» отъ «вожака»? Я думаю, мысли, Тургенева на этотъ счетъ были не совсѣмъ ясны,— какъ не ясно выраженіе «періодъ развитія, разложенія и сложенія», какъ не вполнѣ ясна «программа» и практическая дѣятельность Соломина.

Это приводитъ насъ къ разсмотрѣнію той стороны воззрѣній Тургенева, которою ближайше опредѣляется его «западничество» и его «либерализмъ». Намъ кажется, этотъ пунктъ заслуживаетъ особаго вниманія. Разъяснить его значитъ охарактеризовать Тургенева какъ представителя своего времени, своего класса и, въ особенности, «идеологіи» этого класса. А это существенно необходимо и для надлежащаго пониманія Тургенева— какъ художника: это прямо вводитъ насъ, такъ сказать, въ «лабораторію его творчества». Гете говорилъ, что кто хочетъ понять поэта, долженъ отправиться въ его страну. Это, конечно, весьма важно, но, я думаю, еще важнѣе для пониманія поэта— освоиться съ психологіею того общественнаго класса, къ которому принадлежитъ поэтъ, и уяснить себѣ характерную складку его воззрѣній, его понятій—складку, своеобразно отразившую безсознательныя внушенія все той-же классовой психологіи.

Здѣсь также поможетъ намъ сопоставленіе Тургенева съ другими представителями того-же класса,—съ славянофилами, съ Герценомъ и другими. Такое сопоставленіе укажетъ намъ на «родовыя черты» извѣстнаго «общественнаго типа», — черты, остающіяся неизмѣнными (въ существенномъ) при самыхъ различныхъ, даже прямо противоположныхъ индивидуальныхъ признакахъ, при всемъ возможномъ развитіи идей, направленія, вѣрованій, идеаловъ.

2.

Въ «доброе старое время» (о которомъ скажемъ словами Тургенева: «хороша старина—да и Богъ съ ней!») на Руси было много маленькихъ культурныхъ уголковъ—въ имѣніяхъ помѣщиковъ-дворянъ, какъ крупныхъ, такъ и «средней руки»,—и въ этихъ уютныхъ уголкахъ росли, развивались и проживали доб-

Digitized by Google

рые господа, интересовавшіеся всѣмъ на свѣтѣ, читавшіе умныя книги на иностранныхъ языкахъ и толстые русскіе журналы. Это былъ цвѣтъ тогдашней «интеллигенціи».

Разносторонне-образованные, съ широкими общечеловѣческими интересами, истинные «европейцы»—въ русскомъ смыслѣ этого слова, они были лучшими представителями просвѣщенія, мысли и совѣсти своего времени. А такъ какъ они по своему соціальному положенію, воспитанію и образу жизни были—б а р ы, г о с п о д а, то просвѣщеніе, мысль и совѣсть, ими представляемыя, носили на себѣ нѣкоторый отпечатокъ б а р с т в е н н о с т и. Крайне-разнообразны были ихъ характеры, умы, темпераменты и самыя идеи или идеалы, но черты б а р с т в а объединяли ихъ въ одну группу, въ одинъ соціально-психологическій типъ. Эти черты, разумѣется, проявлялись у разныхъ лицъ различно, у однихъ—ярче, у другихъ—слабѣе; одинъ и тотъ-же человѣкъ въ различныя эпохи своей жизни обнаруживаетъ ихъ неодинаково. У иныхъ могли выдвигаться отрицательныя стороны сильнѣе, чѣмъ положительныя,—у другихъ—наоборотъ. Но такъ или иначе черты, привычки, повадка дворянина-барина всегда сказывалась то нѣкоторою лѣнью («обломовщиною»), то пассивностью, то диллетантизмомъ, то особою воспитанностью, не только внѣшнею, но и внутреннею,—воспитанностью мысли, воспріимчивостью чувства, щепетильностью совѣсти, «прекраснодушіемъ» (какъ выражались въ 30-хъ годахъ), мечтательностью, наконецъ—однимъ специфическимъ душевнымъ состояніемъ или настроеніемъ, которое потомъ все шло на убыль, а теперь, кажется, совсѣмъ уже исчезло.

Объ этомъ-то настроеніи мы здѣсь и поведемъ рѣчь, такъ какъ оно въ классовой психологіи «м ы с л я щ а г о б а р с т в а» играло первостепенную роль. Оно же, какъ я думаю, и было главною психическою пружиною въ образованіи и раздѣленіи двухъ «школъ» или «партій»—«западнической» и «славянофильской», поскольку обѣ были продуктомъ все той-же дворянской, барской мысли и совѣсти.

Для большей ясности изложенія, заглянемъ въ исторію, наведемъ (не претендуя на полноту) нѣкоторыя «историческія справки», исходя изъ мысли, что чѣмъ больше было барства, тѣмъ и то «настроеніе», которое мы имѣемъ въ виду, проявлялось ярче, явственнѣе, хотя и грубѣе. Посмотримъ на него въ этомъ грубомъ видѣ—у баръ конца XVIII-го и начала XIX-го

Digitized by Google

вѣка, а затѣмъ уже внимательнѣе приглядимся къ нему въ томъ болѣе утонченномъ, развитомъ и осложненномъ видѣ, какой оно приняло въ эпоху 40-хъ—30-хъ годовъ.

Уже Герценъ, разсказывая о своемъ отцѣ, вспоминалъ этихъ «великолѣпныхъ» баръ XVIII-го вѣка, въ которыхъ просвѣщеніе и «вольтеріанство» порождали родъ враждебнаго и презрительнаго чувства ко всему русскому или, по крайней мѣрѣ, ко многому въ Россіи. Это были первые у насъ «западники» и «отщепенцы». «Иностранцы дома, иностранцы нъ чужихъ краяхъ»—писалъ Герценъ («Былое и Думы» гл. V)—«праздные зрители, испорченные для Россіи западными предразсудками, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ». Какъ на яркій образецъ этого типа, Герценъ указываетъ на извѣстнаго князя Юсупова, которому Пушкинъ посвятилъ посланіе «Къ вельможѣ», гдѣ такъ мѣтко очерчена эта своеобразная фигура, этотъ выходецъ изъ XVIII-го вѣка, esprit fort, вольтеріанецъ, «русскій европеецъ», просвѣщенный цѣнитель искусства, эпикуреецъ и сибаритъ.—Подобно Юсупову, большинство этихъ баръ вело широкую, открытую жизнь, блескъ и шумъ которой мѣшали имъ почувствовать, какъ слѣдуетъ свое умственное и моральное одиночество въ Россіи; къ тому же умственные интересы ихъ были не глубоки, а моральное чувство — еще очень грубо. Эти люди были, какъ выразился Герценъ о Юсуповѣ, «европейскіе grands seigneurs и татарскіе князья». Они едва-едва догадывались, и то въ исключительныя минуты, что они въ Россіи—чужіе,—«умная ненужность». Не догадывались напримѣръ и тѣ тузы московскаго общества, бѣглую характеристику которыхъ даетъ кн. П. А. Вяземскій въ статьѣ «Допотопная или допожарная Москва» (Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго», С.-Петерб. 1882 г., т. VII, стр. 80 и сл.), гдѣ авторъ заднимъ числомъ наивно полемизируетъ съ Грибоѣдовымъ и старается показать, что эти бары были люди просвѣщенные и гуманные и вовсе не походили на Фамусовыхъ.

Ложь и фальшь этого «просвѣщенія» и вмѣстѣ съ тѣмъ обезоруживающая критику наивность автора ярко сказались въ слѣдующемъ мѣстѣ статьи: «Иные вельможи, на собственномъ своемъ иждивеніи, устраивали для меньшихъ братьевъ больницы и страннопріемные дома, а другіе—почему и въ этомъ не при-

Digitized by Google

знаться—содержали хоры крѣпостныхъ пѣвчихъ, крѣпостные оркестры и крѣпостныхъ актеровъ. Если по существующимъ тогда узаконеніямъ помѣщики могли имѣть для фабрикъ и заводовъ своихъ крѣпостныхъ фабрикантовъ и мастеровыхъ, то почему же оскорбительнѣе было для человѣчества образовать художниковъ изъ подвѣдомственныхъ имъ людей. Эти явленія приводятъ нынѣ *) въ ретроспективный ужасъ жеманную филантропію и пошлый либерализмъ, но тогда эти полубарскія затѣи, какъ иногда онѣ ни были неудачны и смѣшны, съ другой стороны развивали въ крѣпостномъ состояніи хотя и невольныя и темныя, но не менѣе того нѣкоторыя понятія и чувства изящныя. Эта все-таки была кое-какая образованность и распространяла грамотность въ грубыхъ слояхъ общества, обреченнаго невѣжеству и безграмотности. Имена Сумарокова, Княжнина, фонъ-Визина, Бортнянскаго, Мольера, Коцебу и творенія ихъ становились имъ доступны... Если крѣпостное владѣніе въ Россіи не имѣло бы другихъ упрековъ и грѣховъ на совѣсти своей, а только эти полубарскія затѣи, то можно бы еще примириться съ нимъ и даже отчасти сказать ему спасибо. Нынѣ много толкуютъ въ Европѣ объ обязательномъ и даровомъ обученіи народномъ; вотъ вамъ въ нашихъ Москвичахъ живой примѣръ ужъ подлинно обязательнаго и дарового обученія» (стр. 85). Это не иронія, авторъ говоритъ совершенно серьезно! И отсюда видно, до какой степени все это «просвѣщеніе» и этотъ европеизмъ высшаго класса былъ чужеяднымъ растеніемъ, наноснымъ элементомъ въ Россіи. И по необходимости онъ оказывался нравственно-безпомощнымъ и жалкимъ въ тѣхъ случаяхъ, когда почему бы то ни было, его представители переставали вести открытую, шумную жизнь, исполненную всяческихъ утѣхъ, и уединялись въ своихъ помѣстьяхъ, въ своихъ «подмосковныхъ», въ своихъ барскихъ домахъ, вдали отъ «свѣта». Ими овладѣвало тогда какое-то стихійное чувство своей ненужности, угрюмаго одиночества, отчужденности отъ окружающей русской среды, которую они презирали, отъ народа, который былъ въ рабствѣ у нихъ. Они превращались въ мрачныхъ мизантроповъ, въ капризныхъ тирановъ, въ озлобленныхъ деспотовъ, которые вымещали на окружающихъ угнетавшее ихъ чувство душевнаго одиночества, пустоты и эгоизма.

*) Статья написана въ 1865 г.

Digitized by Google

Таковъ былъ и Яковлевъ, отецъ Герцена, охарактеризованный въ слѣдующемъ мѣстѣ «Былого и Думъ» (гл. V): Онъ хотѣлъ себѣ устроить жизнь одинокую, въ ней его ждала смертельная скука, тѣмъ болѣе, что онъ только для себя хотѣлъ ее устроить... Когда онъ воспитывался, европейская цивилизація была еще такъ нова въ Россіи, что быть образованнымъ значило быть наименѣе Русскимъ. Онъ до конца жизни писалъ свободнѣе и правильнѣе по-французски, нежели по-русски, онъ à la lettre не читалъ ни одной русской книги, ни даже библіи. Впрочемъ, библіи онъ и на другихъ языкахъ не читалъ, онъ зналъ по наслышкѣ и по отрывкамъ, о чемъ идетъ рѣчь вообще въ Св. писаніи, и дальше не полюбопытствовалъ заглянуть. Онъ уважалъ правда, Державина и Крылова: Державина за то, что написалъ оду на смерть его дяди, князя Мещерскаго, Крылова за то, что вмѣстѣ съ нимъ былъ секундантомъ на дуэли Н. Н. Бахметева. Какъ-то мой отецъ принялся за Карамзина Исторію Государства Россійскаго, узнавши, что императоръ Александръ ее читалъ, но положилъ въ сторону съ пренебреженіемъ, говоря: «все Изяславичи да Ольговичи,—кому это можетъ быть интересно? Людей онъ презиралъ откровенно, открыто—всѣхъ...»

Въ этой мѣткой характеристикѣ бросается въ глаза сочетаніе презрѣнія ко всему вообще, къ русскому въ особенности, съ тяготѣніемъ къ тому, что А. Н. Пыпинъ такъ удачно назвалъ «оффиціальной народностью». Эту черту подмѣтилъ Тургеневъ, рисуя въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» типичную фигуру барина-европейца конца XVIII и начала XIX-го вѣка въ лицѣ Ивана Петровича Лаврецкаго (отца героя романа, славянофила Ѳедора Ив. Лаврецкаго). Иванъ Петровичъ Лаврецкій долго жилъ заграницей,—въ особенности въ Англіи, и вернулся въ Россію англоманомъ, «...все въ немъ такъ и вѣяло Великобританіей; весь онъ казался пропитанъ ея духами» — «Но, чудное дѣло! превратившись въ англомана, Иванъ Петровичъ сталъ въ то же время патріотомъ, по крайней мѣрѣ онъ называлъ себя патріотомъ, хотя Россію зналъ плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно: въ обыкновенной бесѣдѣ рѣчь его, неповоротливая и вялая, вся пестрѣла галлицизмами; но чуть разговоръ касался предметовъ важныхъ, у Ивана Петровича тотчасъ являлись выраженія въ родѣ: «оказать новые опыты самоусердія», «сіе не согласуется съ самою натурою обстоятельства» и т. д. Иванъ Петровичъ привезъ съ собою нѣ-

Digitized by Google

сколько рукописныхъ плановъ, касавшихся до устройства и улучшенія государства...» («Двор. Гн.», гл. X).—Въ 1825 году, когда «близкіе знакомые и пріятели Ивана Петровича подвергались тяжкимъ испытаніямъ»,—онъ «поспѣшилъ удалиться въ деревню и заперся въ своемъ домѣ. Прошелъ еще годъ, и Иванъ Петровичъ вдругъ захилѣлъ, ослабѣлъ, опустился; здоровье ему измѣнило. Вольнодумецъ—онъ началъ ходить въ церковь и заказывать молебны; европеецъ—сталъ париться въ банѣ, обѣдать въ два часа, ложиться въ девять, засыпать подъ болтовню стараго дворецкаго; государственный человѣкъ—сжегъ всѣ свои планы, всю переписку, трепеталъ передъ губернаторомъ, егозилъ передъ исправникомъ...» (гл. XI)

Можно было бы составить (частью изъ документальныхъ, данныхъ, частью изъ художественныхъ воспроизведеній, основанныхъ на фактахъ дѣйствительности) цѣлую галлерею умственныхъ и нравственныхъ уродовъ, типовъ русскаго офранцуженнаго барства второй половины XVIII-го вѣка и начала XIX-го. И поистинѣ изумительно, какимъ образомъ отъ нихъ могли произойти Герценъ, Тургеневъ, «Лаврецкіе». Психологъ ожидалъ бы поколѣніе выродковъ. Выродки, разумѣется, встрѣчались въ новомъ поколѣніи, но, въ общемъ, оно оказалось настолько душевно-здоровымъ, что могло выдвинуть цѣлый рядъ первостепенныхъ умовъ и дарованій. Мало того: у людей новаго поколѣнія мы находимъ такіе нравственные запросы и такую чуткость совѣсти, что намъ волей-неволей приходится нѣсколько измѣнить свой взглядъ на отцовъ и предположить у нихъ нѣкоторые хорошіе задатки въ скрытомъ видѣ, не уничтоженные, а только искаженные вліяніемъ крѣпостного права, нелѣпаго воспитанія, грубыхъ нравовъ. Повидимому, душевная порча и признаки вырожденія были и даже увеличивались; безъ сомнѣнія, совершалась и передача ихъ наслѣдственнымъ путемъ, но только зачастую они передавались въ измѣненномъ или смягченномъ видѣ. И если вглядѣться въ психологію многихъ представителей поколѣнія 30-хъ годовъ, то не трудно замѣтить у нихъ слабости, недостатки, нѣкоторую неуравновѣшенность и другіе не вполнѣ нормальныя черты, которыя и слѣдуетъ понимать,—какъ психологическое наслѣдіе, доставшееся имъ отъ отцовъ. Что касается ума и дарованій, то они могли быть у многихъ изъ „отцовъ“, только не проявлялись, не находили себѣ должнаго упражненія и выраженія. Но болѣе несомнѣнно другое: начитанность, образованность въ европей-

Digitized by Google

скомъ смыслѣ, извѣстная культура ума, накопленіе впечатлѣній во время жизни заграницей—все это, вѣдь, не пустяки, не мертвый капиталъ: въ дѣтяхъ этотъ капиталъ принесъ свои проценты—силу мысли и силу таланта.

Но насъ интересуетъ здѣсь другое наслѣдіе. Дѣти «русскихъ иностранцевъ» уже не были иностранцами и по-русски знали лучше отцовъ, но у нихь осталось душевное предрасположеніе къ тому, чтобы чувствовать или воображать себя отчужденными отъ русской стихіи, какъ бы посторонними ей, и—не уважать или, по крайней мѣрѣ, недостаточно цѣнить ее. Презрѣніе отцовъ ко всему русскому—народному, историческому—передалось дѣтямъ въ формѣ смягченной и видоизмѣненной.

Одну изъ наиболѣе рѣзкихъ формъ этого н е у в а ж е н і я, этого о т р и ц а н і я мы находимъ въ знаменитыхъ «философическихъ письмахъ» Чаадаева, который, сопоставляя русское историческое прошлое съ исторіею западно-европейскихъ народовъ, сводилъ его «на нѣтъ»,—къ какому то историческому нулю, а наше будущее представлялъ себѣ темнымъ и проблематическимъ. Пушкинъ, въ качествѣ великаго національнаго поэта живо чувствовавшій свое „кровное“ психологическое родство съ русскою національною стихіею, возражалъ Чаадаеву и опровергалъ его точку зрѣнія довольно-сильными аргументами, но и онъ въ сущности понималъ и чувствовалъ психологическую возможность этой безотрадной точки зрѣнія. Вотъ прочтемъ хотя бы эти строки изъ его извѣстнаго (чернового) письма къ Чаадаеву (1836 г.): «Послѣ столькихъ возраженій я долженъ вамъ сказать, что въ вашемъ посланіи есть много вещей глубокой правды. Нужно признаться, что наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствіе общественнаго мнѣнія, это равнодушіе ко всякому долгу, къ справедливости и правдѣ, это циническое презрѣніе къ мысли и къ человѣческому достоинству дѣйствительно приводятъ въ отчаяніе. Вы хорошо сдѣлали, что громко это высказали».

Какъ легко было въ то глухое время русскому мыслящему и чувствующему человѣку—вдругъ почувствовать, что у него нѣтъ никакихъ связей съ русской «стихіею», и что сама эта «стихія»—исторически ничтожна, это видно, между прочимъ, на примѣрѣ С. Н. Г л и н к и, удивительнаго чудака и добряка и въ своемъ родѣ знаменитаго цензора. Въ 1812 году онъ былъ ярымъ патріотомъ и ненавистникомъ французовъ. Его братъ Ѳ. Н.

Digitized by Google

Глинка, разсказываетъ, какъ онъ засталъ его истребляющимъ, въ пылу ненависти къ врагамъ отечества, свою французскую библіотеку. Но потомъ этотъ пылъ прошелъ, и въ 1827 году, когда Глинка былъ уже цензоромъ въ Москвѣ, отъ его патріотическихъ увлеченій не оставалось и слѣда. По свидѣтельству Ксен. Полевого, онъ опять сдѣлался «обожателемъ французовъ». Кс. Полевой разсказываетъ объ этомъ симпатичномъ чудакѣ удивительныя вещи, а именно: «Я филантропъ, а не патріотъ, говаривалъ онъ и доказывалъ, что слово патріотъ означаетъ понятіе узкое, что патріотомъ можно быть временно, а филантропомъ должно быть всегда»... Казалось бы, эта гуманная и широкая точка зрѣнія нисколько не обязывала бы презирать или отрицать все русское. Однако, вышло слѣдующее: «...онъ даже закаивался писать по-русски и хотѣлъ писать не иначе, какъ на языкѣ всемірномъ (la langue universelle),—такъ онъ называлъ французскій языкъ»... Когда Кашинъ (музыкантъ) «разыгрывалъ свои русскія пѣсни,—Глинка, слушая ихъ, сердился...»—«оттого, что не понималъ, будто бы, откуда берутся эти русскіе звуки и напѣвы, отъ которыхъ «плакать хочется»? Онъ утверждалъ, что въ Россіи ничего нѣтъ; что даже нѣтъ самой Россіи, «а русскіе звуки есть»! Скептицизмъ его доходитъ до того, что онъ почиталъ въ Россіи все призракомъ, не вѣрилъ подлинности русскихъ лѣтописей, и со смѣхомъ восклицалъ: «Да какія лѣтописи: все выдумано»! («Записки» Ксен. Полевого, стр. 237—238).

У эксцентрическаго чудака и добрѣйшей души человѣка это «націоналистическое отрицаніе» получило чудаковатое и крайнее выраженіе. Но оно, оставляя въ сторонѣ крайности,—типично и полно глубокаго смысла. Оно въ высокой степени симпатично и, скажу съ нѣкоторою «національною гордостью», дѣлаетъ намъ, русскимъ, честь. Характерно и типично здѣсь и то, что этотъ «отрицатель», С. Н. Глинка, былъ, несмотря на французское образованіе, вполнѣ «русскій человѣкъ», и, мало того, представитель лучшихъ сторонъ русскаго національнаго и классового (дворянскаго) склада. Взрослый младенецъ, «прекрасная душа», человѣкъ безкорыстный и полный истинной любви къ людямъ, къ человѣчеству, «филантропъ», и къ тому же натура глубоко—религіозная, онъ сталъ «отрицателемъ русской національности и русской исторіи» просто потому, что унаслѣдовалъ, подобно Чаадаеву, неуваженіе къ нимъ, и еще потому, что

Digitized by Google

въ тѣ годы наша дѣйствительность и наша національная дѣятельность не могла внушить «у в а ж е н і я».

Отрицаніе своей національности есть самое невинное изо всѣхъ отрицаній: національность есть форма, психологическая физіономія,—и она не пропадетъ отъ того только, что вы ее «отрицаете»,—все равно какъ не измѣнятся же и не исчезнутъ черты моего лица отъ того, что я, будучи ими недоволенъ, начну «отрицать» ихъ. Можно даже утверждать, что національный укладъ, при критическомъ и даже рѣзко-отрицательномъ отношеніи къ нему, только облагораживается. Какъ бы то ни было, но вреда отъ этого «отрицанія» быть не можетъ, и по большей части «отрицатели» остаются въ существѣ настоящими русскими людьми, а многіе изъ нихъ (какъ напр. Тургеневъ) могущественно содѣйствовали развитію русской національной формы, укрѣпленію нашего національнаго самосознанія.

Но вернемся къ Глинкѣ. Онъ утверждалъ, что въ Россіи «ничего нѣтъ», и даже «нѣтъ самой Россіи», т. е. Россіи какъ національно-культурнаго цѣлаго съ великимъ прошлымъ, съ обезпеченнымъ историческимъ будущимъ, съ ясной исторической миссіей. Оставляя въ сторонѣ чудаковатость выраженія, это—все та же Чаадаевская точка зрѣнія, да и—Потугинская, т. е. Тургеневская.

Это тѣмъ несомнѣннѣе, что, какъ мы знаемъ, Глинка признавалъ, что, хотя въ Россіи «ничего нѣтъ», и «нѣтъ самой Россіи», но однако есть русскія пѣсни, «отъ которыхъ плакать хочется». Потугинъ, правда, не признаетъ русскаго искусства и вышучиваетъ русскую народную поэзію, но это онъ уже «черезъ край хватилъ». И Тургеневъ, раздѣляя нѣкоторыя мнѣнія Потугина (напр. о русской музыкѣ и живописи), не могъ же однако отрицать русской поэзіи, какъ народной, такъ и «искусственной», не могъ отрицать нашей художественной литературы. Наконецъ, извѣстно, какъ цѣнилъ онъ русскій языкъ, «могучій, правдивый и свободный», и писалъ, въ извѣстномъ «стихотвореніи въ прозѣ», этой лебединой пѣснѣ своей (1882 г.), что «нельзя вѣрить, чтобы такой языкъ не былъ данъ великому народу»!

Антитеза Глинки: «ничего нѣтъ, но есть напѣвы, отъ которыхъ плакать хочется»—становится еще болѣе яркою, когда, вмѣсто «русскихъ пѣсенъ», мы возьмемъ, какъ это сдѣлалъ Тургеневъ, «русскій языкъ», а потомъ и—всю нашу поэзію, всю

Digitized by Google

нашу художественную литературу и наше искусство, ставшія нынѣ общечеловѣческими, получившія всемірное значеніе. Какіе мощные, какіе чарующіе «звуки», какая роскошь творчества и—рядомъ—какая у насъ немощь творчества культурнаго, какая,—и матеріальная, и правовая,—«бѣдность да бѣдность». Антитеза—поразительная,—и отъ нея, а не только отъ однихъ «напѣвовъ», истинному патріоту, въ прежнее время, захотѣлось бы плакать—слезали оскорбленнаго національнаго чувства,—но время сентиментальнаго патріотизма и ненужныхъ слезъ прошло или проходитъ.

3.

Національное самоотрицаніе есть родъ, если можно такъ выразиться, «душевной фикціи», и любопытно вникнуть въ ея психологію и ея происхожденіе. Послѣднее намѣчено на предыдущихъ страницахъ: по моему крайнему разумѣнію, оно — дворянскаго, «барственнаго» происхожденія,—въ концѣ концовъ его источникъ—крѣпостное право съ его деморализующимъ воздѣйствіемъ на психическое благополучіе «господъ». «Господа» презирали народъ, который былъ ихъ рабомъ, и за одно презирали русскую національность, носителями которой были тотъ же народъ и другіе «низшіе» классы; купцы, мѣщане, разночинцы, также презираемые барами. Дѣти и внуки баръ—крѣпостниковъ, великолѣпныхъ вельможъ XVIII вѣка, унаслѣдовали это презрѣніе въ измѣненной и смягченной формѣ, съ нѣкоторыми обращиками которой мы познакомились выше.

Этого національнаго самоотрицанія мы не найдемъ у нашихъ самыхъ послѣдовательныхъ отрицателей изъ «разночинцевъ»,—ни у Чернышевскаго, ни у Добролюбова, ни у ихъ преемниковъ. Они не были «націоналистами», но были народниками или, если не народниками, то народолюбцами,—демократами въ европейскомъ смыслѣ этого слова. Этому демократизму чуждо національное самомнѣніе, но равно несвойственно и національное самоуничтоженіе.

У Тургенева — Потугина мы видимъ именно національное самоуничиженіе. Приписывая ему классовое, дворянско-барское происхожденіе, мы понимаемъ его у самого Тургенева. Но какъ понять его у «разночинца» Потугина?

Это, я думаю, одинъ изъ Тургеневскихъ художническихъ «капризовъ». Тургеневъ любилъ приписывать свои мысли и мнѣ-

Digitized by Google

нія лицамъ, которыя, во всемъ остальномъ, ничего общаго съ нимъ не имѣли. Такъ, какъ увидимъ ниже, въ главахъ II-ой и III-ей, онъ влагаетъ свои мысли и сужденія въ уста Базарову, кое-что заставляетъ говорить за себя даже Соломина, а также (и больше) Паклина.

Но ни одно изъ созданныхъ имъ лицъ не выражаетъ такъ полно воззрѣній Тургенева и въ особенности его отношенія къ національному вопросу въ Россіи, какъ именно Потугинъ.

Приписавъ ему с в о е отрицательное отношеніе къ русской національности и свое крайнее западничество, Тургеневъ, конечно, долженъ былъ, вмѣстѣ съ ними, передать Потугину и ихъ психологію. Присмотримся къ ней нѣсколько ближе.

Прочтемъ сперва слѣдующее мѣсто.

«— Ну, а Россію, Созонтъ Иванычъ, свою родину, вы любите? (Спрашиваетъ Литвиновъ)

Потугинъ провелъ рукой по лицу.

— Я ее страстно люблю, и страстно ее ненавижу.

Литвиновъ пожалъ плечами.

— Это старо, Созонтъ Иванычъ, это общее мѣсто.

— Такъ что же такое? Что за бѣда? Вотъ чего испугались! Общее мѣсто! Я знаю много хорошихъ общихъ мѣстъ. Да вотъ, напримѣръ: свобода и порядокъ—извѣстное общее мѣсто. Что-жъ, по вашему, лучше какъ у насъ: чиноначаліе и безурядица?... Да-съ; я и люблю и ненавижу свою Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину...» («Дымъ», гл. V).

Итакъ, это—п а т р і о т и з м ъ, и при томъ патріотизмъ того высшаго порядка, которымъ были одушевлены всѣ выдающіеся наши писатели, начиная Новиковымъ и Радищевымъ. Это — патріотизмъ не націоналистическій, и онъ можетъ легко мириться съ критическимъ и даже рѣзко-отрицательнымъ отношеніемъ къ національности. Это — любовь гражданина къ своей родинѣ, недостатки которой вызываютъ въ немъ и глубокую скорбь, и мучительное чувство стыда. Излишне распространяться здѣсь о томъ, какъ цѣнна, какъ необходима именно э т о г о р о д а любовь къ родинѣ, — въ противуположность той слѣпой любви къ ней, которая основывается на стихійномъ тяготѣніи ко всему «своему», родному и не различаетъ въ этомъ «своемъ» и родномъ хорошаго отъ дурного, вреднаго отъ полезнаго, прогрессивнаго отъ ретроградnаго. Патріотизмъ высшаго порядка неразлученъ съ ненавистью къ отрицательнымъ сторонамъ оте-

чества и самой національности и приводитъ къ критикѣ этихъ сторонъ. Онъ исходитъ изъ убѣжденія, что онѣ составляютъ временное, историческое зло и подлежатъ исправленію или устраненію, — и что само отечество, какъ и сама національность, ничуть отъ этого не пострадаютъ. Такимъ образомъ, здѣсь присутствуетъ, явно или скрыто, увѣренность въ силѣ и живучести отечества и національности. Потугинъ прямо выражаетъ эту увѣреннность: «Вы только предлагайте нищу добрую, а народный желудокъ ее переваритъ по своему... Возьмите примѣръ хоть съ нашего языка. Петръ Великій наводнилъ его тысячами чужеземныхъ словъ, голландскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ: слова эти выражали понятія, съ которыми нужно было познакомить русскій народъ; не мудрствуя и не церемонясь, Петръ вливалъ эти слова цѣликомъ, ушатами, бочками въ нашу утробу. Сперва, точно, вышло нѣчто чудовищное, а потомъ — началось именно то перевариванье, о которомъ я вамъ докладывалъ. Понятія привились и усвоились; чужія формы постепенно испарились, языкъ въ собственныхъ нѣдрахъ нашелъ, чѣмъ ихъ замѣнить — и теперь вашъ покорный слуга, стилистъ весьма посредственный, берется перевести любую страницу изъ Гегеля,— да-съ, да-съ, изъ Гегеля, — не употребивъ ни одного не-славянскаго слова. Что произошло съ языкомъ, то, должно надѣяться, произойдетъ и въ другихъ сферахъ. Весь вопросъ въ томъ— крѣпка-ли натура? а наша натура—ничего, выдержитъ: не въ такихъ была передрягахъ. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные, да слабые народы; точно такъ-же какъ восторгаться до пѣны у рта тому, что мы-молъ русскіе — способны одни праздные люди.....» («Дымъ», V).

Эти мысли и соображенія Потугина, какъ извѣстно, вполнѣ раздѣлялись и нерѣдко высказывались самимъ Тургеневымъ. Но есть существенная разница между Потугинымъ и Тургеневымъ: первый, при всемъ своемъ отрицательномъ отношеніи къ Россіи и русской національности, въ сущности — б о л ь ш о й о п т и м и с т ъ, — онъ вѣритъ въ то, что русскій народъ молодецки справится съ предстоящей ему исторической задачей, что «наша натура — ничего, выдержитъ», — Тургеневъ же, какъ извѣстно, былъ въ этомъ отношеніи скептикъ и пессимистъ. Въ особое, исключительное предназначеніе Россіи, о которомъ мечтали славянофилы и Герценъ, онъ совсѣмъ не вѣрилъ (какъ и

Digitized by Google

Потугинъ) и считалъ эту идею — вздоромъ. Что-же касается увѣренности въ крѣпости нашей «натуры», то онъ, разумѣется, раздѣлялъ съ Потугинымъ эту увѣренность, но только у него какъ-то не выходило отсюда оптимистическаго, бодраго, смѣлаго воззрѣнія или упованія на будущее. Отрицая особое, великое призваніе Россіи, миссію русскаго народа, онъ незамѣтно въ своей критикѣ переходилъ къ нѣкоторому сомнѣнію въ способности русскаго народа воспринять, какъ слѣдуетъ. и переработать общечеловѣческія начала для себя, для своего лучшаго будущаго. Настроеніе и точку зрѣнія Тургенева можно выразить такъ: наша историческая миссія, о которой говорятъ славянофилы, — просто пустяки, — дай Богъ намъ хоть сколько нибудь по человѣчески устроиться у себя дома, и пока даже нельзя и предугадать, когда и какъ удастся намъ это, да и кто знаетъ,— пожалуй и къ этому мы не очень-то способны....

Здѣсь то и выдвигается то «національное самоотрицаніе» и то «неуваженіе» къ русской «стихіи», о которыхъ мы говорили выше, какъ о наслѣдіи «барской» классовой психологіи. Неудивительно, что у Потугина этого оттѣнка нѣтъ.

Приведу два-три мѣста изъ писемъ къ Герцену, гдѣ яснѣе выражается этотъ оттѣнокъ воззрѣнія, свойственный Тургеневу.

Въ 1862 г. (отъ 8 ноября) Тургеневъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ критикуетъ «славянофильство» Герцена: «Ты съ необыкновенною тонкостью и чуткостью произносишь діагнозу современнаго человѣчества, но почему же это непремѣнно западное человѣчество—а не «bipedes» вообще? Ты точно медикъ, который, разобравъ всѣ признаки хронической болѣзни, объявляетъ, что вся бѣда происходитъ оттого, что паціентъ—французъ. Врагъ мистицизма и абсолютизма ты мистически преклоняешься передъ русскимъ тулупомъ и въ немъ то видишь великую благодать и новизну и оригинальность будущихъ общественныхъ формъ—das Absolute, однимъ словомъ—то самое Absolute—надъ которымъ ты такъ смѣешься въ философіи. Всѣ твои идолы разбиты, а безъ идола жить нельзя,—такъ давай воздвигать алтарь этому новому невѣдомому богу, благо о немъ почти ничего не извѣстно—и опять можно молиться, и вѣрить, и ждать. Богъ этотъ дѣлаетъ совсѣмъ не то, что вы отъ него ждете,—это, по вашему, временно, случайно, насильно привитому внѣшней властью; богъ вашъ любитъ до обожанія то, что вы ненавидите, и ненавидитъ то, что вы любите... Исторія, фило-

логія, статистика—вамъ все ни по чемъ; ни по чемъ вамъ факты, хотя бы, напримѣръ, тотъ несомнѣнный фактъ, что мы, русскіе, принадлежимъ и по языку и по породѣ къ европейской семьѣ, «genus Europaeum» и, слѣдовательно, по самымъ неизмѣннымъ законамъ физіологіи должны итти по той же дорогѣ. Я не слыхалъ еще объ уткѣ, которая, принадлежа къ породѣ утокъ, дышала бы жабрами, какъ рыба... Одно изъ двухъ: либо служи революціи, европейскимъ идеаламъ по-прежнему, либо, если ужъ дошелъ до убѣжденія въ ихъ несостоятельности, имѣй духъ и смѣлость посмотрѣть чорту въ оба глаза, скажи: guilty *) — въ лицо всему европейскому человѣчеству, — и не дѣлай явныхъ или подразумѣваемыхъ исключеній въ пользу ново-долженствующаго притти Рассейскаго Мессіи»...

Въ другомъ письмѣ (4 ноября 1862): «Мнѣ начинаетъ сдаваться, что въ столь часто повторяемой антитезѣ Запада, прекраснаго снаружи и безобразнаго внутри,—и Востока, безобразнаго снаружи и прекраснаго внутри,—лежитъ фальшь... Горе, которое ты чувствуешь при мысли о ней (о Россіи), горько; но повѣрь, оно въ сущности еще горьше, чѣмъ ты предполагаешь, и я на этотъ счетъ больше мизантропъ, чѣмъ ты. Россія—не Венера Милосская въ черномъ тѣлѣ и въ узахъ; это—такая же дѣвица, какъ и старшія ея сестры... Ну—рыломъ-то она въ нихъ не вышла, говоря языкомъ Островскаго. Шопенгауэра, братъ, надо читать поприлежнѣе, Шопенгауэра» **).

Въ письмѣ отъ 12 декабря 1867 г.: «...это между нами старый споръ: по моему понятію, ни Европа не такъ стара, ни Россія не такъ молода, какъ ты ихъ представляешь, мы сидимъ въ одномъ мѣшкѣ и никакого за нами спеціально-новаго слова не предвидится...»

Въ письмѣ отъ 13 декабря 1867 г.: «Сынъ твой ***), какъ человѣкъ положительный и практическій, вѣритъ только въ науку, т. е. разсчитываетъ только на нее; а ты, романтикъ и художникъ... вѣришь въ народъ, въ особую породу людей, въ извѣстную расу... И все это по милости придуманныхъ господами **) и навязанныхъ этому народу совер-

---

*) Виновенъ.
**) Курсивъ мой.
***) А. А. Герценъ, извѣстный ученый—физіологъ.

Digitized by Google

шенно чуждыхъ ему демократическихъ соціальныхъ тенденцій въ родѣ «общины» и «артели»...

Начнемъ съ послѣдняго: идеализація народа, по признанію самого Тургенева, есть нѣчто «господское»: «господа» «придумали» и «навязали» народу чуждыя ему высокія тенденціи. Эти «господа», славянофилы, Герценъ, Огаревъ и др., были, по духу, по классовой психологіи и идеологіи, «родные братья» тѣхъ «господъ», которые, какъ Чаадаевъ, Глинка, а потомъ и Тургеневъ, не идеализировали народа, не вѣрили въ особую миссію Россіи и вообще относились критически и, можетъ быть, слишкомъ ужъ «трезво» и «реально» къ вопросамъ нашей внутренней жизни и политики.

Какъ отрицательное отношеніе къ своей національности, такъ и чрезмѣрная приверженность къ ней, ея «культъ» могутъ быть разсматриваемы какъ «одного поля ягоды»: и то, и другое—«національнализмъ», только первое—«національнализмъ отрицательный», а второе—«положительный». Разсматриваемый съ чисто-психологической стороны, «національнализмъ» есть ничто иное, какъ чрезмѣрное оживленіе въ сознаніи людей ихъ національной формы, которая, при нормальныхъ условіяхъ, должна таиться въ сферѣ безсознательной, лишь изрѣдка, на время, проникая въ сознаніе. Все равно, превозношу-ли я свою національную форму, горжусь ею, или, напротивъ, критикую и порицаю ее,—въ томъ, и другомъ случаѣ я занятъ ею, «ношусь» съ нею, мое сознаніе заполонено мыслью о ней. Прибѣгаемъ и здѣсь къ сравненію національной физіономіи съ физическою. Я могу быть очень доволенъ чертами своего лица и находить ихъ, правильно или направильно, интересными, красивыми и т. д. и постоянно думать о нихъ и смотрѣться въ зеркало; или же, я могу находить ихъ пошлыми, неинтересными, безобразными и—также постоянно думать о нихъ, смотрѣться въ зеркало. То и другое—ненормально и отвлекаетъ меня отъ настоящаго дѣла, а кромѣ того пріучаетъ слишкомъ много думать о себѣ. Своей внѣшностью нужно заниматься въ мѣру, настолько, чтобы держать ее въ чистотѣ и порядкѣ. Вотъ такъ и «національная физіономія»: она, при нормальныхъ условіяхъ, должна привлекать къ себѣ наше вниманіе настолько, насколько это нужно—для содержанія ея въ чистотѣ и порядкѣ.

Нашъ «положительный національнализмъ» впервые возникъ—

Digitized by Google

какъ реакція противъ чрезмѣрнаго небреженія и презрѣнія ко всему русскому, достигавшихъ очень ужъ уродливыхъ проявленій въ высшемъ классѣ общества второй половины XVIII и начала XIX вѣка. Таково было происхожденіе націонализма Грибоѣдова, который говорилъ о «поврежденномъ классѣ полуевропейцевъ» и устами Чацкаго громилъ слѣпое пристрастіе ко всему иноземному, доходя даже до восхваленія «китайщины». Грибоѣдовъ въ этомъ отношеніи не былъ одинокъ: поворотъ въ сторону національности замѣчается у многихъ декабристовъ, довольно явственно обнаруживается въ литературной дѣятельности Бестужева-Марлинскаго, наконецъ находитъ себѣ выраженіе въ нѣкоторыхъ взглядахъ Пушкина (въ формѣ интереса къ русской исторіи и народности) и въ самой его поэтической дѣятельности, какъ поэта національнаго. Этотъ націонализмъ 10-хъ и 20-хъ годовъ было явленіемъ вполнѣ законнымъ и, въ общемъ, нормальнымъ. Тѣмъ не менѣе его классовое, дворянско-барское, происхожденіе—очевидно, и, стало быть, столь же очевидно и его внутреннее, психологическое сродство съ противуположнымъ настроеніемъ или направленіемъ, съ излишне-отрицательнымъ отношеніемъ къ русской національности, какое мы видѣли у Чаадаева, у С. Н. Глинки и др.

Это внутреннее сродство обнаруживается также и въ той легкости, съ которою мыслящіе «господа» той эпохи переходили отъ одного къ другому,—отъ крайняго увлеченія иноземнымъ къ крайнему «патріотизму» и наоборотъ. Мы видѣли это выше—на примѣрѣ Глинки. Пушкинъ, повидимому, хотѣлъ художественно изобразить это явленіе въ «Онѣгинѣ», но успѣлъ только набросать чернювую строфу, гдѣ разсказывается, какъ Онѣгинъ отъ скуки чуть было не сдѣлался патріотомъ, и отъ-нечего-дѣлать принялся, для разнообразія, ненавидѣть Европу. Барское происхожденіе нашего націонализма схвачено здѣсь очень мѣтко и зло.

Позже, въ 30-хъ годахъ, такіе переходы совершались уже не такъ легко и внезапно. «Націонализмъ положительный» перерабатывался въ славянофильство Кирѣевскихъ, Аксаковыхъ и Хомякова, «націонализмъ отрицательный» — въ западничество Бѣлинскаго, Грановскаго и др.,—посреди нѣ стоялъ Герценъ, западническіе идеалы котораго сочетались съ нѣкоторыми націоналистическими предпочтеніями, сближавшими его съ славянофильствомъ.

Digitized by Google

Это была серьезная работа серьезныхъ людей, глубокихъ натуръ, большихъ умовъ и дарованій. Но классовой, барскій, отпечатокъ, конечно, оставался на ней,—и его можно уловить—сличая напр. славянофильство Кирѣевскихъ, Аксаковыхъ и др., вообще—господъ, съ кваснымъ патріотизмомъ и наивнымъ націонализмомъ «разночинцевъ» въ родѣ Погодина, или—на противуположной сторонѣ—сопоставляя западничество барское (хотя бы Чаадаевское, позже Тургеневское) съ западничествомъ Бѣлинскаго, который началъ патріотизмомъ и націонализмомъ, близкими къ наивности, и кончилъ тѣмъ направленіемъ, прямыми продолжателями котораго были Чернышевскій и Добролюбовъ, и которое характеризуется именно устраненіемъ всякой излишней «возни» съ національностью, какъ таковой. Вообще участіе Бѣлинскаго сильно содѣйствовало тому, что въ западническомъ движеніи 40-хъ годовъ черты барства какъ-бы затемнялись или отходили на второй планъ. Зато тѣмъ ярче выступили онѣ позже въ настроеніи и мнѣніяхъ Тургенева съ одной стороны и Герцена—съ другой, и ихъ столкновеніе, ихъ споръ былъ послѣднимъ актомъ въ развитіи нашего классоваго, «дворянскаго», націонализма, положительнаго и отрицательнаго.

Классовыя черты барской психологіи въ старомъ славянофильствѣ, придававшія ему симпатичный оттѣнокъ мечтательности, идеализма, а равно и соотвѣтственныя черты въ народническихъ воззрѣніяхъ Герцена не могутъ быть предметомъ нашего разсмотрѣнія на этихъ страницахъ. Мы только бѣгло указываемъ на нихъ и спѣшимъ перейти къ разсмотрѣнію аналогичныхъ чертъ въ «отрицательномъ націонализмѣ», т. е. въ «западничествѣ» Тургенева, несомнѣнно отразившихся на всемъ его міросозерцаніи и на его художественномъ творчествѣ.

4.

Читатель отмѣтилъ, конечно, въ вышеприведенныхъ выдержкахъ изъ писемъ Тургенева признаки нѣкотораго «барства» прежде всего въ тонѣ, въ какомъ Тургеневъ говоритъ о мужикѣ, о народѣ, о Россіи, о русской національности.

По этому тону нельзя, разумѣется, заключить, что Тургеневъ презиралъ мужика, ненавидѣлъ Россію и т. п. Это было бы грубѣйшею ошибкою. Мы достаточно—хорошо знаемъ, что великій писатель любилъ и народъ, и отечество, что тому и

Digitized by Google

другому онъ оказалъ неоцѣненныя услуги прежде всего «Записками охотника», а потомъ и всею своею литературною дѣятельностью. Изъ біографіи Тургенева мы знаемъ, какъ гуманно относился онъ къ своимъ крестьянамъ, какъ старался онъ устроить ихъ матеріальное благосостояніе и содѣйствовать ихъ просвѣщенію. Изъ того, чтб онъ говоритъ о народѣ въ письмахъ, и изъ самого тона, какимъ это сказано, вытекаетъ только одно,— что Тургеневъ былъ б а р и н ъ и любилъ народъ и скорбѣлъ о немъ п о б а р с к и. Есть два способа любить и скорбѣть по барски: 1) сентиментально — мечтательно, идеалистически и 2) трезво—критически, брезгливо—реалистически. По складу ума и натуры, Тургеневъ былъ психологически предрасположенъ ко второму способу. Вотъ и все.

Но отсюда-же съ психологическою закономѣрностью вытекаетъ и кое-что другое.

Это, во-первыхъ, умѣренный либерализмъ Тургенева и его программа «гомеопатическаго лѣченія народа (и вообще Россіи) цивилизаціею»,—программа, которую иначе можно назвать «политикою малыхъ дѣлъ и большого терпѣнія».

Нетрудно видѣть, что эта «программа» предполагаетъ очень ужъ пессимистическій и скептическій взглядъ на народъ, на Россію,—недовѣріе къ силамъ и способностамъ этого народа, и что этотъ взглядъ находится въ нѣкоторомъ противорѣчіи съ настойчивыми указаніями Тургенева на наше рассовое, этнографическое и культурно-психологическое родство съ остальными европейскими народами. Вѣдь, если мы принадлежимъ къ той же европейской семьѣ, изъ того же тѣста сдѣланы, «въ томъ же мѣшкѣ сидимъ», то почему же не быть увѣреннымъ въ томъ, что мы способны воспріять европейское просвѣщеніе и соотвѣтственныя—очередныя—формы быта тѣмъ же способомъ, какимъ были восприняты они повсюду въ Европѣ, т. е. пробужденіемъ общественной и народной самодѣятельности и иниціативы, классовою организаціею и т. д.

Въ этомъ вся суть дѣла. Но Тургеневъ плохо вѣрилъ въ нашу самодѣятельность и иниціативу, и ему русскій человѣкъ, въ особенности крестьянинъ, рабочій, какъ видно изъ приведенныхъ выдержекъ, рисовался скорѣе азіатомъ, чѣмъ европейцемъ. Онъ не вѣрилъ также въ подвижность русской жизни, она представлялась ему гораздо болѣе косною, чѣмъ была и есть на самомъ дѣлѣ,—иллюзія, опять-таки объясняемая вліяніемъ крѣ-

Digitized by Google

постного права и психологически связаннаго съ нимъ барскаго отношенія къ вещамъ. Вообще можно сказать (даже оставляя въ сторонѣ крѣпостное право), что барское положеніе въ обществѣ предрасполагаетъ къ иллюзіи неподвижности, консервативности жизни, и чѣмъ баринъ выше по своему положенію на соціальной лѣстницѣ, тѣмъ эта иллюзія сильнѣе и навязчивѣе. Обычная повсюду консервативность аристократіи основывается далеко не на одномъ расчетѣ или на сознаніи необходимости охранять свои права и привиллегіи, но также и на унаслѣдованномъ, врожденномъ, вѣками воспитанномъ убѣжденіи въ косности всего строя жизни, въ природной консервативности народныхъ массъ. У насъ это проявлялось далеко не такъ ярко, какъ въ Зап. Европѣ съ ея феодально-аристократическимъ прошлымъ, но и у насъ сказывался—въ различныхъ формахъ — этотъ психологическій мотивъ, свойственный высшему, привиллегированному классу,—думать, что исторія неподвижна, не замѣчать прозябанія новой жизни, представлять себѣ низшіе классы неспособными къ исторической роли и фатально безмолвствующими. Чѣмъ привиллегированные слои мельче, чѣмъ они ближе къ массѣ, тѣмъ меньше у нихъ этой иллюзіи.

Разумѣется, у Тургенева ея не было—въ натуральномъ видѣ. Но, несомнѣнно, была тѣнь ея, было какъ бы наслѣдственное предрасположеніе—смотрѣть на народъ скептически, не вѣрить ни въ него, ни въ то національное цѣлое, которое на немъ зиждется.

Это «невѣріе» принимало у него размѣры настоящаго пессимизма. Вспомнимъ ту выдержку изъ письма отъ 4 нояб. 1862 г., которая оканчивается фразой: «Шопенгауэра, братъ, надо читать поприлежнѣе, Шопенгауэра!»—

Это, повидимому, намекаетъ на одинъ изъ источниковъ Тургеневскаго пессимизма, именно на его пессимистическое отношеніе къ Россіи, къ русскому народу, къ будущности Россіи, къ самой нашей національности. Отсюда-то онъ и пришелъ къ Шопенгауэру, къ мрачному философскому пессимизму вообще, къ которому его предрасполагали также (мы увидимъ это ниже, въ гл. II-ой) нѣкоторыя свойства его ума, привычки его мысли, присущая ему точка зрѣнія на вещи.

Но пойдемъ дальше. «Барское» и при томъ «барски-доброжелательное», гуманное отношеніе Тургенева къ народу имѣло своимъ слѣдствіемъ то, что онъ сталъ внимательно изучать на-

Digitized by Google

родъ, присматриваться къ нему и отыскивать въ немъ какъ разъ тѣ черты и стороны, которыя противорѣчили и даже въ извѣстной мѣрѣ опровергали понятіе о мужикѣ, выраженное въ письмахъ. Еще въ началѣ своей поэтической дѣятельности онъ далъ рядъ народныхъ типовъ въ «Запискахъ охотника»,— и это были въ своемъ родѣ великія художественныя открытія, убѣждавшія въ томъ, что мужикъ—такой самый человѣкъ, какъ и прочіе смертные, и что въ народѣ есть много хорошаго, и ума и здраваго смысла, и характера, и энергіи. Такое же значеніе имѣлъ, гораздо позже, и типъ Соломина, о чемъ будетъ рѣчь въ гл. III-ей.—«Барская» потребность идеализировать народъ, которую мы отмѣтили у славянофиловъ и у Герцена, сказывалась и у Тургенева, но у него она выразилась иначе и привела къ другому результату: скептикъ и реалистъ, художникъ, по преимуществу интересующійся «живою правдою человѣческой физіономіи», онъ художественно открылъ и воспроизвелъ положительные народные типы.

Достаточно извѣстна выдающаяся роль, которую сыграли «Записки охотника» въ дѣлѣ развитія нашего общественнаго сознанія—по коренному вопросу русской жизни—освобожденія крестьянъ, и въ этомъ огромная заслуга Тургенева передъ народомъ и передъ обществомъ. *)

5.

Но настоящимъ и главнымъ поэтическимъ призваніемъ Тургенева было созданіе художественныхъ образовъ—типовъ, воспроизводящихъ образованную и мыслящую часть русскаго общества отъ 40-хъ до 70-хъ годовъ.

Въ эпоху дореформенную эта часть общества, состоявшая главнымъ образомъ изъ дворянъ—помѣщиковъ, съ небольшою сравнительною примѣсью «разночинцевъ», представляла любопытное зрѣлище интенсивной духовной культуры, широкихъ умственныхъ интересовъ, сложной и изысканной духовной жизни.

---

*) Недавно «Запискамъ охотника» былъ посвященъ превосходный этюдъ г. Грузинскимъ, гдѣ изслѣдована литературная и, такъ сказать, «цензурная» исторія знаменитой книги и вмѣстѣ съ тѣмъ выясняется обстоятельнѣе ея общественное значеніе («Къ исторіи «Записокъ охотника» Тургенева» въ «Научномъ словѣ» 1903 г.).

Digitized by Google

Здѣсь складывались натуры и вырабатывались характеры и умы, какихъ впослѣдствіи русская жизнь уже не производила. Никто изъ нашихъ художниковъ не умѣлъ такъ мѣтко и полно воспроизводить характерную душевную складку «людей 40-хъ годовъ», какъ умѣлъ дѣлать это Тургеневъ. И его произведенія, рисующія дореформенную эпоху и лучшихъ людей ея, имѣютъ значеніе историческаго документа: по нимъ, какъ по мемуарамъ и письмамъ, можно изучать эпоху.

Но они же представляютъ и другой, болѣе долговѣчный, интересъ. Я указалъ на большую сложность и изысканность душевной жизни «людей 40-хъ годовъ». Занятые по преимуществу своимъ внутреннимъ міромъ, саморазвитіемъ, разработкою вопросовъ самосознанія и совѣсти, эти люди переживали такія—сложныя и человѣчески-интересныя—душевныя состоянія, которыя невольно привлекаютъ къ себѣ пытливость психолога.

Человѣческая психика развивается своеобразно и прихотливо въ зависимости отъ условій времени, мѣста, класса и т. д. Такія-то условія благопріятствуютъ появленію и процвѣтанію такихъ-то натуръ, умовъ, чувствъ, настроеній, страстей и т. д., другія, напротивъ, приводятъ ихъ въ упадокъ или совсѣмъ устраняютъ, а вызываютъ къ жизни совсѣмъ иные уклады и процессы душевной жизни. Исторія человѣчества, съ этой точки зрѣнія, уподобляется какъ бы цѣлому ряду психическихъ лабораторій, гдѣ вырабатываются различные виды, сорты, типы душевныхъ явленій. Души человѣческія и качественно, и количественно различны, и психологу, какъ и художнику, приходится обращаться спеціально къ такой-то эпохѣ, такому-то народу, классу или иному общественному слою, чтобы найти ярко-выраженные образчики интересующаго его психическаго явленія. Иные душевные процессы, какъ въ сферѣ мысли, такъ и—чувства, навсегда исчезли вмѣстѣ, напр., съ античнымъ міромъ и средними вѣками. Другія исчезаютъ на нашихъ глазахъ вмѣстѣ съ остатками былой европейской аристократіи. Буржуазія принесла съ собою много новыхъ психическихъ процессовъ, разнаго значенія и достоинства; ея разложеніе сопровождается опять-таки душевною перестройкою людей. Восходящая демократія создаетъ новый дотолѣ невѣдомый, строй души, новый укладъ мысли, чувства и воли.

Дореформенная мыслящая Россія создавала, какъ я уже сказалъ, своеобразныя душевныя явленія, въ ряду которыхъ на пер-

Digitized by Google

вый планъ выдвигаются умственная жизнь и нравственныя томленія «мыслящихъ господъ», психологія «лишнихъ людей», тонкая и изящная разработка чувствъ, слабость дѣйствующей воли, особый видъ «обломовщины», наконецъ утонченное развитіе женской психологіи.

Въ произведеніяхъ Тургенева все это художественно увѣковѣчено и, въ поэтической переработкѣ, получило интересъ общечеловѣческій. И его лучшія созданія представляютъ собою опытъ постановки и рѣшенія извѣстныхъ психологическихъ задачъ, имѣющихъ значеніе общечеловѣческое, но изучаемыхъ на матеріалѣ, представляемомъ русскою жизнью. Таковы въ особенности его женскіе типы.

Въ предлагаемой книгѣ я не задавался цѣлью обозрѣть всю художественную дѣятельность Тургенева,—я ограничилъ свою задачу психологическимъ анализомъ немногихъ изъ созданныхъ имъ образовъ-типовъ, именно тѣхъ, въ которыхъ я вижу постановку извѣстныхъ, наиболѣе значительныхъ общечеловѣческихъ проблеммъ. Таковы, на мой взглядъ, образы Базарова и Соломина и рядъ женскихъ типовъ.

Обойдя мужскіе типы «людей 40-хъ годовъ», я остановился на подробномъ анализѣ Базарова и Соломина именно потому, что это—«любимыя дѣтища» Тургенева. Художникъ-баринъ, либералъ, скептикъ, и натура недѣятельная, созерцательная, Тургеневъ искалъ—въ самой жизни—указаній на возможность появленія иныхъ натуръ, характеровъ и умовъ. Онъ искалъ сильнаго человѣка», демократа, дѣятеля, вышедшаго на нѣдръ народныхъ и означающаго наступленіе новой исторической эпохи. Базаровъ—блестящій предтеча грядущей демократіи. Соломинъ—скромный труженикъ въ великомъ дѣлѣ ея организаціи. Здѣсь сдѣлана попытка постановки огромной общечеловѣческой проблеммы. Любопытно присмотрѣться къ ней ближе въ томъ видѣ, какъ она сдѣлана художникомъ—скептикомъ, мыслителемъ—пессимистомъ.

Никакая общечеловѣческая проблемма не обходится безъ участья женщинъ, и всѣ поступательныя движенія въ исторической жизни человѣчества тѣсно связаны съ «женскимъ вопросомъ». Въ этомъ вопросѣ, взятомъ широко, на первый планъ

Digitized by Google

выступаетъ развитіе самой «женственности», т. е. женской натуры и ума. И оно, очевидно, идетъ въ направленіи къ усиленію раціональности и сближенія съ психологіей мущинъ, въ ея лучшихъ и сильнѣйшихъ сторонахъ. Женскіе типы Тургенева даютъ богатый матеріалъ для психологическаго анализа въ этой области и хотя бы нѣкоторыхъ—посильныхъ—выводовъ философскаго характера, что я попытался сдѣлать въ этой книгѣ.

Digitized by Google

ГЛАВА I.

Художественное творчество, по своему внутреннему «механизму» или характеру, можетъ быть двоякое: объективное и субъективное. Объективнымъ я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д., болѣе или менѣе чуждыхъ или даже противуположныхъ личности художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется не отъ себя. Субъективнымъ я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д. болѣе или менѣе близкихъ, родственныхъ или даже тождественныхъ личности самого художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется отъ себя.

Геніальнымъ представителемъ такого субъективнаго творчества служитъ Левъ Толстой. Однимъ же изъ величайшихъ представителей творчества объективнаго является Тургеневъ.

I.

Пользуясь біографическими данными, воспоминаніями лицъ, близко знавшихъ Тургенева, основываясь также на нѣкоторыхъ его произведеніяхъ, завѣдомо субъективнаго происхожденія, наконецъ матеріаломъ, представляемымъ его письмами,—мы можемъ составить себѣ довольно вѣрное понятіе о натурѣ, характерѣ, складѣ ума покойнаго романиста.

Это понятіе въ общихъ чертахъ сводится къ слѣдующему.

Тургеневъ прежде всего былъ человѣкъ необыкновеннаго ума—очень широкаго и глубокаго, очень вдумчиваго и созерцательнаго. По складу ума, по типу мышленія, Тургеневъ принадлежалъ къ числу тѣхъ избранниковъ, которые съ серьезностью

Digitized by Google

и глубиною, съ широтою умственнаго захвата соединяютъ необыкновенную тонкость, чуткость и изящество мысли. Это—тотъ типъ умовъ, къ которому относятся напр. Ренанъ, Тэнъ, Герценъ. Изучая такихъ писателей, мы сосредоточиваемъ свое заинтересованное вниманіе не столько на положительныхъ результатахъ ихъ мысли, сколько на самомъ ея процессѣ, дѣйствующемъ на насъ обаятельно. Мы можемъ не соглашаться съ ихъ выводами, не раздѣлять тѣхъ или другихъ идей, проводимыхъ ими, но мы невольно подчиняемся обаянію ихъ глубокаго анализа, ихъ тонкой критики, ихъ изящнаго синтеза. Конечно, умы человѣческіе, въ особенности большіе, крайне разнообразны и часто представляютъ самую причудливую смѣсь противуположныхъ качествъ, разнообразныхъ даровъ, сильныхъ и слабыхъ сторонъ, такъ что едва ли возможно подвести ихъ подъ опредѣленныя, строго разграниченныя рубрики. Но все-таки мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что умы, о которыхъ идетъ рѣчь, суть умы по преимуществу созерцательные, съ сильно-выраженнымъ даромъ анализа, въ большей или меньшей мѣрѣ скептическіе, не безъ грустной иронiи и—въ общемъ—уравновѣшенные, очень гармоническіе. Въ нихъ также нѣтъ или мало того, что можно назвать «дѣловымъ» направленіемъ мысли. Не думаю, чтобы такой умъ былъ свойственъ напр. изобрѣтателямъ,—да и въ самой теоретической наукѣ рѣдко дѣятели этого типа совершаютъ крупныя и—если можно такъ выразиться—осязательныя открытія. Было бы крайне затруднительно отвѣтить категорически на въ упоръ поставленный вопросъ: что собственно открылъ Ренанъ или Тэнъ? Да и ставить его не слѣдуетъ. И вопросъ и вполнѣ категорическій отвѣтъ на него возможны по отношенію къ умамъ другого рода, для которыхъ не умѣю подобрать лучшаго термина—какъ «дѣловые», съ большимъ или меньшимъ даромъ «геніальной отгадки». Таковы напр. Ньютонъ, Лейбницъ, Кантъ, Дарвинъ, Пастеръ, Гельмгольцъ, Лобачевскій, Марксъ, Боппъ, Потебня и много другихъ, съ именами которыхъ связаны положительныя открытія, формулировка новыхъ законовъ, установленіе новыхъ точекъ зрѣнія, созданіе новыхъ методовъ. Это умы—въ сферѣ научной или философской—прогрессивные, завоевательные, революціонные, смѣлые. Умы перваго типа скорѣе консервативны (въ смыслѣ научномъ и философскомъ). Само собой разумѣется, дары тонкаго анализа, изящества мысли и т. д. могутъ быть не чужды и умамъ «дѣловымъ»

Digitized by Google

и прогрессивнымъ (въ большинствѣ случаевъ такъ и бываетъ), но—не въ этомъ пунктѣ сосредоточена ихъ главная сила.

Что Тургеневъ, какъ умъ, принадлежалъ къ первому—«ренановскому»—типу, съ этимъ, полагаю, согласится всякій, кто хорошо знакомъ съ его творчествомъ, кто доступенъ обаянію его генія. Ниже намъ придется не разъ останавливаться на тѣхъ мѣстахъ въ произведеніяхъ Тургенева, которыя характеризуютъ его умъ съ указанной стороны.

Какъ человѣкъ, Тургеневъ, это извѣстно—отличался большой добротою сердца, мягкостью души, доброжелательностью къ людямъ. Это былъ очень добрый, очень гуманный, хорошій человѣкъ.

Какъ характеръ, это былъ человѣкъ довольно слабый, съ малымъ развитіемъ дѣйствующей воли, лишенный всякихъ качествъ и стремленій авторитарности и иниціативы, неспособный къ дѣятельности напр. публициста, человѣка партіи, организатора. Это была натура пассивная, недѣятельная. Со стороны этихъ чертъ его душевный укладъ былъ весьма типиченъ для классовой психологіи «мыслящихъ господъ», о которой мы говорили во «введеніи».

Отмѣтимъ еще одну очень важную для пониманія Тургенева и его творчества черту, къ которой намъ придется неоднократно возвращаться въ этихъ этюдахъ. Это именно стремленіе, и что особенно важно, способность къ внутренней свободѣ. Въ чемъ она состоитъ, это не трудно уразумѣть изъ слѣдующаго.

Въ «Литературныхъ воспоминаніяхъ» Тургеневъ, обращаясь къ молодымъ беллетристамъ, напоминаетъ имъ извѣстные стихи Гете:

Greift nur hinein in's volle Menschenleben!
Ein jeder lebt's,—nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ihr's packt—da ist's interessant!

И затѣмъ даетъ такіе совѣты и поясненія: «Силу этого схватыванія, этого уловленія жизни даетъ только талантъ, а талантъ дать себѣ нельзя;—но и одного таланта не достаточно. Нужно постоянное общеніе съ средою, которую берешься воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неумолимая въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій—и, наконецъ, нужна образованность, нужно знаніе... Ничто такъ не освобождаетъ человѣка, какъ знаніе, — и нигдѣ такъ свобода не нужна,

Digitized by Google

какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи... Можетъ-ли человѣкъ «схватывать», «уловлять» то, что его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ; не даромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ... онъ сказалъ:

. . . . . дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ...

Отсутствіемъ подобной свободы объясняется между прочимъ, и то, почему ни одинъ изъ славянофиловъ, несмотря на ихъ несомнѣнныя дарованія, не создалъ никогда ничего живого, ни одинъ изъ нихъ не сумѣлъ снять съ себя—хоть на мгновеніе—своихъ окрашенныхъ очковъ... Нѣтъ безъ образованія, безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ — въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи,—немыслимъ истинный художникъ; безъ этого воздуха дышать нельзя». (Сочиненія, т. X, изданіе 3-е, стр. 110—111).

Признаки такой внутренней свободы въ себѣ самомъ Тургеневъ отмѣчаетъ въ письмѣ къ Милютиной (1875 г.): «.....скажу вкратцѣ, что я преимущественно реалистъ и болѣе всего интересуюсь живою правдою людской физіономіи; ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не вѣрю, люблю больще всего свободу и, сколько могу судить, — доступенъ поэзіи. Все человѣческое мнѣ дорого, славянофильство чуждо, такъ же какъ и всякая ортодоксія...» (Письма, стр. 252, № 199).

Чтобы понять Тургенева, какъ поэта-художника, чтобы проникнуть въ психологію его творчества, необходимо постоянно имѣть въ виду, только-что указанное, основное свойство его натуры.

Постараемся прежде всего показать, въ какихъ отношеніяхъ находится эта «внутренняя свобода» къ преобладающему у Тургенева объективному направленію творчества.

II.

Сперва прочтемъ слѣдующія строки изъ письма Тургенева къ г. Кигну (1876 г.):

«... Если васъ изученіе человѣческой физіономіи, чужой жизни, интересуетъ больше, чѣмъ изложеніе собственныхъ

Digitized by Google

чувствъ и мыслей; если напр. вамъ пріятнѣе вѣрно и точно передать наружный видъ не только человѣка, но простой вещи, чѣмъ красиво и горячо высказать то, что вы ощущаете при видѣ этой вещи или этого человѣка, значитъ вы объективный писатель и можете взяться за повѣсть или романъ...» (Письма, стр. 295, № 234).

Едва-ли нужно доказывать, что можно писать превосходныя повѣсти и романы и не будучи писателемъ въ строгомъ смыслѣ объективнымъ. Романъ можетъ быть продуктомъ творчества субъективнаго не меньше любого лирическаго стихотворенія, воспроизводящаго личныя чувства и мысли автора. За вычетомъ этого пункта, мы не находимъ препятствій принять опредѣленіе объективнаго творчества, данное Тургеневымъ въ приведенномъ отрывкѣ. Да, объективно то творчество, при которомъ писатель, насколько возможно, забываетъ себя и прежде всего обращаетъ взоры на вещи, лица, характеры не только посторонніе, внѣшніе, но, что еще важнѣе, въ большей или меньшей степени противорѣчащіе тому, что онъ находитъ въ самомъ себѣ. Объективенъ тотъ, кто способенъ заинтересоваться, понять, оцѣнить, полюбить натуру, совершенно противуположную себѣ самому.

Въ этомъ объективизмѣ я усматриваю дѣйствіе особаго психическаго ритма.

Присматриваясь къ проявленіямъ—весьма нерѣдкимъ—такой объективности въ самой жизни, въ отношеніяхъ между людьми, нетрудно уловить въ нихъ дѣйствіе той душевной пружины, которую можно назвать стремленіемъ къ ритму контрастовъ. Усматривая въ другомъ извѣстныя черты, противуположныя своимъ, человѣкъ невольно тяготѣетъ къ этому другому, ища восполненія того, чего ему самому недостаетъ, но такого восполненія, которое въ результатѣ давало бы гармоническое цѣлое. Оттуда нерѣдко, напр., тяготѣніе людей съ слабымъ характеромъ къ людямъ съ сильнымъ характеромъ и наоборотъ. Но, развивая эту мысль, слѣдуетъ быть осторожнымъ; было бы рисковано проводить ее такъ далеко, какъ это дѣлалъ Шопенгауэръ, указывавшій, напр., на любовь брюнетовъ къ блондинкамъ и т. д. Тутъ легко дойти до абсурда и утверждать напр., что дураки должны любить умныхъ, и умные тяготѣть къ дуракамъ. Вся суть дѣла сводится къ стремленію достичь гармоніи, но вѣдь далеко не всѣ контрасты ритмуютъ между собою, и умъ не нуждается въ глупости для своего ритмическаго восполненія. Гармо-

ническій эффектъ осуществляется въ процессѣ общенія умовъ различнаго типа, натуръ съ противуположными темпераментами, характеровъ съ различно выраженнымъ волевымъ началомъ.

Принимая съ этими оговорками теорію контрастовъ и сводя ее къ стремленію осуществить гармонію духа, я въ этомъ именно явленіи и ищу источника того, что выше я назвалъ объективизмомъ въ отношеніяхъ между людьми. Стремясь дополнить себя, человѣкъ пріучается интересоваться другими, сперва тѣми, которые могутъ его дополнить, а потомъ и иными; онъ съ любопытствомъ всматривается въ чужія лица, и (говоря словами Тургенева) «изученіе человѣческой физіономіи, чужой жизни» привлекаетъ его въ большей степени, чѣмъ «изложеніе собственныхъ чувствъ и мыслей». Это—человѣкъ объективнаго склада или направленія. Но есть люди иного рода, которые интересуются другими постольку, поскольку они могутъ изложить передъ послѣдними «свои собственныя чувства и мысли», т. е. обнаружить свое душевное содержаніе, и вы, встрѣтя такого человѣка, сейчасъ-же замѣчаете, что онъ не ищетъ «дополненія» себѣ и живъ собственнымъ своимъ нутромъ. Это человѣкъ субъективнаго склада или направленія. Различны могутъ быть причины, обусловливающія такой субъективизмъ, но въ числѣ ихъ бросается въ глаза одна: это именно отсутствіе того, что Тургеневъ называетъ «внутреннею свободою». Человѣкъ, находящійся подъ властью какой-нибудь idée fixe, фанатикъ, доктринеръ, сектантъ, утопистъ — всѣ они слишкомъ исключительно заняты своими мыслями, чувствами, стремленіями, слишкомъ переполнены собою, чтобы интересоваться «живою правдою человѣческой физіономіи», и общеніе съ людьми иныхъ мыслей, чувствъ, стремленій производитъ въ ихъ душѣ эффектъ не гармоніи, а диссонанса. Наоборотъ люди внутренно свободные, не порабощенные излюбленной идеей или мечтою, ищутъ дополненія, рады встрѣтить контрасты, — ихъ душа открыта для объективнаго отношенія къ вещамъ и людямъ.

Таковъ именно и былъ Тургеневъ, какъ въ жизни, такъ и въ творчествѣ.

Художникъ (если онъ въ самомъ дѣлѣ художникъ, а не сочинитель) остается въ сферѣ творчества самимъ собою; творя, онъ продолжаетъ жить, вступаетъ, въ такое-же живое общеніе съ создаваемыми имъ образами, какое ему свойственно въ отношеніи къ живымъ людямъ. Онъ будетъ объективенъ или субъ-

Digitized by Google

ективенъ въ творчествѣ, смотря по тому и приблизительно въ той-же мѣрѣ, какимъ онъ является въ своей личной жизни. *).

Вотъ и обратимся теперь къ изученію Тургеневскаго творчества съ указанной точки зрѣнія. Постараемся прослѣдить, какъ «живетъ» Тургеневъ въ своихъ повѣстяхъ и романахъ, въ какихъ типахъ ищетъ онъ дополненія себѣ, и гдѣ тотъ спеціальный душевный ритмъ, котораго осуществленія онъ искалъ въ своемъ творчествѣ.

III.

Въ числѣ мужскихъ фигуръ у Тургенева есть нѣсколько такихъ, къ которымъ авторъ относится съ явной симпатіей, доходящей порою до своего рода «влюбленности«. Вотъ именно эти то образы и оказываются въ большей или меньшей степени противуположными самому Тургеневу. Изъ нихъ на первомъ планѣ нужно поставить Базарова («Отцы и Дѣти») и Соломина («Новь»).

Извѣстно, что къ Базарову Тургеневъ чувствовалъ «влеченіе, родъ недуга»**). Вспомнимъ, напримѣръ, слѣдующія мѣста изъ писемъ: «Вы (пишетъ Тургеневъ г-жѣ Ф—вой, 1874 г.) повторяете этотъ... извините безцеремонность выраженія—безсмысленный упрекъ! Базаровъ, это мое любимое дѣтище, изъ-за котораго я разсорился съ Катковымъ, на котораго я потратилъ всѣ находящіяся въ моемъ распоряженіи краски, Базаровъ,—этотъ умница—этотъ герой—каррикатура?!?...» (№ 190).

«Не удивляюсь (пишетъ Тургеневъ Салтыкову, 1876 г.), что Базаровъ остался для многихъ загадкой; я самъ не могу хорошенько себѣ представить, какъ я его написалъ. Тутъ былъ—не смѣйтесь, пожалуйста,—какой то фатумъ, что-то сильнѣе самого

---

*) Весьма возможно. что у нѣкоторыхъ художниковъ ихъ душевный укладъ, — субъективный у одного, объективный у другого,—проявляется въ ихъ творчествѣ съ большею выдержкою и послѣдовательностью, чѣмъ въ жизни, гдѣ различныя внѣшнія вліянія, обстоятельства, случайности искажаютъ или затемняютъ основныя черты личности. Въ творческой работѣ легче оставаться самимъ собою, чѣмъ въ сутолокѣ жизни.

**) Такъ самъ онъ выражается въ письмѣ къ Герцену отъ 28 апрѣля 1862 г. «... при сочиненіи Базарова я не только не сердился на него, но чувствовалъ къ нему «влеченіе, родъ недуга»,—такъ что Катковъ на первыхъ порахъ ужаснулся и увидалъ въ немъ апоѳеозу Современника...»

Digitized by Google

автора, что-то независимое отъ него. Знаю одно: никакой предвзятой мысли, никакой тенденціи во мнѣ тогда не было; я писалъ наивно, словно самъ дивясь тому, что у меня выходило... Скажите по совѣсти, развѣ кому-нибудь можетъ быть обидно сравненіе его съ Базаровымъ? Не сами-ли вы замѣчаете, что это самая симпатичная изъ всѣхъ моихъ фигуръ?...» (№ 217).

Симпатія или скорѣе любовь Тургенева къ Базарову сказывается во многихъ мѣстахъ романа. Его наружность, манера, обхожденіе, душевныя состоянія и т. д. изображаются такъ, что читатель чувствуетъ, какъ этотъ человѣкъ нравится Тургеневу. При первомъ же появленіи Базарова, читателю невольно навязывается мысль, что это любимецъ автора и человѣкъ необыкновенный. Его наружность тщательно описана: «длинное и худое лицо съ широкимъ лбомъ... и т. д.—оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоувѣренность и умъ». Въ отношеніяхъ Базарова къ Павлу Петровичу и Аркадію (не говоря уже о Кукшиной и Ситниковѣ) Тургеневъ какъ бы нарочито желаетъ показать превосходство своего героя, значительность и своеобразность его душевнаго содержанія, выставляя на видъ его спокойствіе, уваженіе къ самому себѣ, и самъ невольно любуясь имъ. Вспомнимъ хотя бы сцену объясненія съ Павломъ Петровичемъ (вызовъ на дуэль, гл. XXIV), сцену дуэли, бесѣды съ Аркадіемъ, смерть Базарова и мн. др.,—вездѣ Базаровъ является то «умницею», то «героемъ», и нигдѣ не показанъ съ той повседневно-пошлой стороны, которая есть у всякаго, даже самаго необыкновеннаго человѣка.

Отмѣтимъ еще двѣ-три черты, какъ бы вскользь брошенныя. «Однажды онъ, гуляя съ ней (Одинцовой) по саду, внезапно промолвилъ угрюмымъ голосомъ, что намѣренъ скоро уѣхать въ деревню къ отцу... Она поблѣднѣла... Базаровъ объявилъ ей о своемъ отъѣздѣ не съ мыслью испытать ее, посмотрѣть, что изъ этого выйдетъ: онъ никогда не «сочинялъ»...» (гл. XVII). И въ самомъ дѣлѣ: Базаровъ—какимъ мы его знаемъ на всемъ протяженіи романа—это натура глубокоправдивая: всѣ его поступки, всѣ его слова, серьезныя или шутливыя,—одинаково являются подлиннымъ выраженіемъ его личности. Онъ никогда не симулируетъ, не прикидывается, даже прямо не въ силахъ надѣть маску и изобразить то, чего не чувствуетъ (какъ, напр., въ отношеніяхъ къ отцу и матери, которымъ онъ и хотѣлъ бы показать больше нѣжно-

Digitized by Google

сти, чтобы утѣшить стариковъ—да не можетъ: нѣтъ ея у него). Описывая сцену у Одинцовой (въ городѣ), когда Базаровъ и Аркадій въ первый разъ пришли къ ней съ визитомъ, и Базаровъ, желая скрыть свое смущеніе, сталъ «ломаться» и говорить съ преувеличенной развязностью, Тургеневъ заставляетъ Одинцову отлично понять, что подъ этой обманчивой манерою скрывается натура, которой именно-то и чуждо всякое «ломаніе», что Базаровъ—человѣкъ, неумѣющій «напускать» на себя. Заставляя Одинцову понимать это, Тургеневъ хочетъ, чтобы и читатель такъ понималъ и не перетолковалъ бы поведенія Базарова въ какомъ-нибудь пошломъ смыслѣ. «Одно пошлое ее (Одинцову) отталкивало, а въ пошлости никто бы не упрекнулъ Базарова».

Этотъ человѣкъ, столь симпатичный Тургенену, изображенный съ такой любовью, почти пристрастной, представляетъ собою натуру, прямо противуположную натурѣ самого Тургенева. Базаровъ, какъ извѣстно, человѣкъ необычайно сильной воли, желѣзнаго характера. Съ этой стороны онъ служитъ настоящимъ контрастомъ Тургеневу, и, повидимому, здѣсь-то и нужно искать объясненія того невольнаго влеченія, которое сразу почувствовалъ нашъ художникъ къ лицу, послужившему «оригиналомъ» Базарова, и потомъ—къ его художественному воспроизведенію, герою «Отцовъ и дѣтей». Напомню читателю извѣстное мѣсто въ «Литературныхъ воспоминаніяхъ», гдѣ Тургеневъ говоритъ: «...въ основаніе главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинціальнаго врача... Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось — на мои глаза—то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и въ то же время не совсѣмъ ясно...» (X, 101). Въ этюдѣ о Базаровѣ *) я, цитируя это мѣсто, высказалъ между прочимъ соображеніе, что едва ли «молодой провинціальный врачъ» могъ поразить воображеніе Тургенева однимъ лишь содержаніемъ и рѣзкостью своихъ отрицательныхъ идей: онъ долженъ былъ импонировать чѣмъ-нибудь другимъ. Очевидно, это былъ человѣкъ базаровскаго закала,—сильный, властный, сдержательный, умный, злой. Тургеневъ не принадлежалъ, конечно,

*) „Харьков. Губ. Вѣдом." (подъ ред. А. Я. Ефимовича) 1894 г.

Digitized by Google

къ числу людей, которыхъ можно удивить и плѣнить «новыми словами», рѣзкостью сужденій, смѣлостью взглядовъ. Его всегда интересовала прежде всего личность, натура человѣка, его внутреннее содержаніе, и самые удивительные «взгляды», самыя новыя и смѣлыя слова, высказанныя человѣкомъ пустымъ, ничтожнымъ, бездарнымъ, не производили на Тургенева ровно никакого впечатлѣнія (кромѣ, развѣ, совершенно отрицательнаго, см., напр., письмо къ г-жѣ Ф—ой, «Письма», № 190).

Въ «молодомъ провинціальномъ врачѣ» Тургеневъ прозрѣвалъ присутствіе какой-то необыкновенной силы, быть можетъ,— недоброй, но дѣйствующей обаятельно на такія натуры, какъ тургеневская. Въ основѣ этой силы лежала необычайная крѣпость воли, какъ задерживающей, такъ и дѣятельной. Вспомнимъ здѣсь тѣ мѣста въ «Отцахъ и Дѣтяхъ», гдѣ съ особливой яркостью выставлена на видъ эта сторона у Базарова. Вотъ, напр., страница, изображающая отношеніе Базарова къ своему собственному чувству, внушенному Одинцовою. Это чувство его «мучило и бѣсило», и отъ него «онъ тотчасъ отказался бы съ презрительнымъ хохотомъ и циническою бранью, если-бы кто-нибудь, хотя отдаленно, намекнулъ ему на возможность того, что въ немъ происходило... Онъ съ негодованіемъ сознавалъ романтика въ самомъ себѣ. Тогда онъ отправлялся въ лѣсъ и ходилъ по немъ большими шагами, ломая попадавшіяся вѣтки и браня въ полголоса и ее, и себя... Онъ ловилъ самого себя на всякаго рода «постыдныхъ» мысляхъ, точно бѣсъ его дразнилъ. Ему казалось иногда, что и въ Одинцовой происходитъ перемѣна, что въ выраженіи ея лица проявлялось что-то особенное, что можетъ-быть... Но тутъ онъ обыкновенно топалъ ногою или скрежеталъ зубами и грозилъ себѣ кулакомъ» (XVII).

Прочитавъ эти выдержки отдѣльно, читатель, незнакомый съ личностью Базарова, могъ-бы пожалуй подумать, что дѣло идетъ объ аскетѣ, смущаемомъ бѣсовскими навожденіями, для борьбы съ которыми онъ пускаетъ въ ходъ всю силу своей задерживающей воли.

Но аскету, фанатику «личной святости», сравнительно нетрудно бороться со своими страстями и разными соблазнами: въ его распоряженіи излюбленная идея, которой подчинена вся его личность; вся духовная жизнь стянута у него къ одному пункту, гдѣ движущею силою являются обаяніе религіознаго экстаза, чувство самоуслажденія своими собственными подвигами, вѣра

Digitized by Google

въ загробное воздаяніе, чары молитвеннаго умиленія. Все это—страстныя состоянія души, которыя сами по себѣ дѣйствуютъ подавляющимъ и даже уничтожающимъ образомъ на другія страсти или чувства, напр., на любовь, какъ чувственную, такъ и идеальную, на увлеченіе земными благами, славой, честолюбіемъ и т. д. Такому человѣку, знающему «одной лишь думы власть», какъ и всякому человѣку, одержимому идеею, сравнительно не такъ ужъ трудно орудовать аппаратомъ задерживающей воли. Другое дѣло—Базаровъ. У него нѣтъ тѣхъ высшихъ страстей, религіозныхъ или иныхъ, которыя однимъ фактомъ своей наличности, укрѣпляютъ волю, устраняя или парализируя дѣйствіе низшихъ страстей. Что касается спеціально любви къ женщинѣ, то, какъ мы знаемъ, Базаровъ въ этомъ отношеніи—циникъ и не признаетъ въ любви ничего чистаго, идеальнаго. «Нравится тебѣ женщина — говаривалъ онъ — старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись, земля не клиномъ сошлась» (XVII). Къ самой Одинцовой онъ подходилъ съ мыслями нечистыми. «Но онъ скоро понялъ, что съ ней «не добьешься толку», «а отвернуться отъ нея онъ, къ изумленію своему, не имѣлъ силъ» (XVII). Это изумленіе и также то негодованіе, съ которымъ онъ «сознавалъ романтика въ самомъ себѣ», и потомъ страшная внутренняя борьба и ломка, описанныя въ вышеприведенной выдержкѣ и въ сущности длящіяся до конца романа, свидѣтельствуютъ намъ, что въ душѣ этого человѣка есть нѣчто положительное, во имя чего оно борется съ возникшею страстью, но что въ то-же время это нѣчто, каково бы оно ни было, не даетъ для воли той опоры, какую даютъ ей излюбленныя страсти аскета, фанатика, вообще человѣка, одержимаго идеей. Рядомъ цитатъ можно показать (я это сдѣлалъ въ этюдѣ о Базаровѣ), что «нигилистъ», радикалъ—отрицатель, демократъ Базаровъ не принадлежитъ однако къ числу фанатиковъ идеи,—въ немъ нѣтъ и тѣни фанатическаго, некритическаго отношенія къ своимъ воззрѣніямъ, направленію, дѣлу. Если-бы таковое у него было, и его идеи захватывали бы его цѣликомъ, внутренняя борьба не обошлась бы ему такъ дорого. Противъ новой страсти выступила бы старая; онъ не былъ бы такъ безоруженъ въ борьбѣ со страстью къ Одинцовой и съ тѣмъ вмѣстѣ не придавалъ бы, конечно, такой важности, такого трагическаго значенія тому обыкновенному и неизбѣжному, какъ корь, душевному заболѣванію, которое называется влюбленностью

Digitized by Google

Вотъ тутъ-то и возникаютъ вопросы: откуда это негодованіе, это возмущеніе, эта борьба? Во имя чего ведется она? Что̀ именно, какое сокровище, оберегаетъ въ себѣ Базаровъ, борясь со своимъ чувствомъ къ Одинцовой? Почему, наконецъ, эта любовь и борьба такъ трагичны?

IV.

За отвѣтами ходить недалеко. Не только въ исторіи этой любви, но и во всемъ, что мы знаемъ о Базаровѣ, на всемъ протяженіи романа, отчетливо сказывается одна капитальная черта, придающая особую значительность и высокій интересъ фигурѣ героя и въ то же время чрезвычайно важная для правильнаго пониманія той любви, которую питалъ Тургеневъ къ этому своему «дѣтищу». Эта черта и есть та «внутренняя свобода», о которой мы говорили выше, цитируя совѣты Тургенева молодымъ беллетристамъ. Базаровъ—человѣкъ внутренно свободный не хуже самого Тургенева. Во всемъ противуположенъ онъ своему автору—и характеромъ, и складомъ ума, сухого, дѣлового, положительнаго, и своимъ отношеніемъ къ искусству и поэзіи, которыхъ онъ органически не понимаетъ, и укладомъ воли,—въ одномъ только пунктѣ Тургеневъ и Базаровъ сходятся—въ способности къ внутренней свободѣ. Послѣдняя и есть то сокровище, которое такъ ревниво оберегаетъ Базаровъ и ради котораго онъ такъ возмущается противъ чувства къ Одинцовой.

Во избѣжаніе недоразумѣній, здѣсь слѣдуетъ пояснить, что̀ собственно понимаю я подъ внутренней свободою.

Она не есть нѣчто отрицательное, она—не отсутствіе идей, не безпринципность; она также—не отсутствіе высшихъ чувствъ (напр., чувства долга); она не есть даже отсутствіе страстей. Можно быть адептомъ идеи, чуждымъ оппортюнизма, можно руководиться чувствомъ долга, быть доступнымъ увлеченіямъ и страстямъ—и въ то же время оставаться внутренно свободнымъ. Для этого необходимо, кромѣ идей, принциповъ, чувства долга, страстей, обладать еще нѣкоторымъ положительнымъ душевнымъ даромъ. О природѣ этого дара можно составить себѣ понятіе по слѣдующимъ примѣрамъ:

Пироговъ былъ человѣкъ глубоко-религіозный, вѣрующій, христіанинъ, но онъ былъ чуждъ всякаго фанатизма и въ дѣлѣ

Digitized by Google

религіи, какъ и во всемъ, руководился духомъ широкой гуманности, терпимости, человѣколюбія: онъ былъ въ религіи, какъ и во всемъ, внутренно свободенъ. А вотъ, напр., протопопъ Аввакумъ—такъ тотъ внутренней свободою не обладалъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ Пироговъ былъ послѣдователенъ и принципіаленъ не меньше протопопа Аввакума, — только на другой ладъ. Первый былъ человѣкъ идеи, второй былъ ея рабъ и мученикъ. Кантъ, всю жизнь работавшій въ тиши кабинета съ самоотверженіемъ отшельника и, какъ извѣстно, отличавшійся необыкновеннымъ богатствомъ идей философскихъ, научныхъ и нравственныхъ, былъ человѣкъ внутренно свободный: онъ въ своихъ изысканіяхъ, построеніяхъ, жизни руководился не буквою, не догмою системы, а критикой, духомъ изслѣдованія и—въ связи съ этимъ—былъ широкъ и гуманенъ. За то же онъ и создалъ критическую философію, ознаменовавшую наступленіе новой эры въ исторіи мысли, и его имя стоитъ на рубежѣ двухъ эпохъ,—о чемъ, впрочемъ, онъ совсѣмъ не заботился. Другое дѣло, напр., Шопенгауэръ: этотъ геніальный мыслитель создалъ еще въ молодости догматическую систему и такъ и остался на всю жизнь, до глубокой старости, очарованнымъ этимъ своимъ произведеніемъ и воображалъ, что исторія мысли дѣлится отъ Платона до Шопенгауэра и отъ Шопенгауэра впредь, да кромѣ того всегда былъ подъ властью своего дурного характера и страстей: онъ не былъ внутренно свободенъ. Къ числу мыслителей геніальныхъ, но не свободныхъ относится и Огюстъ Контъ, который и въ позитивизмѣ, и въ особенности въ контизмѣ былъ догматикомъ, да еще проникнутымъ духомъ католической авторитарности, и, кромѣ того, находился подъ давленіемъ idée fixe своего призванія. Въ сферѣ политики, общественной дѣятельности и борьбы образцомъ дѣятеля внутренно свободнаго, но стойкаго и непреклоннаго, является Гладстонъ. Таковымъ же представляется мнѣ и Бебель: принадлежность къ опредѣленной партіи не мѣшаетъ ему быть человѣкомъ широкихъ общечеловѣческихъ идей и дѣятелемъ, чуждымъ узкой шаблонности доктрины. Замѣтный даръ свободы духа мы видимъ у Гете *) и

*) Гете по натурѣ былъ далеко не «свободенъ внутренно», но онъ добивался внутренней свободы и достигъ ея во вторую половину своей жизни. Объ этомъ см. въ моей статьѣ «Геній Гете» («Вопросы психологіи творчества», Спб. 1902).

Digitized by Google

Пушкина, и только по недоразумѣнію или въ силу запальчивости можно было смѣшивать этотъ чудный даръ съ индифферентизмомъ или безпринципностью. Таковъ же былъ и Тургеневъ.

Изъ этихъ и подобныхъ примѣровъ можно видѣть, что внутренняя свобода есть такая «идейность», которой чужды фанатизмъ, догматизмъ, шаблонъ, доктринерство, исключительность и т. п., и которая просвѣтлена духомъ критики, изслѣдованія, терпимости, гуманности. Если человѣкъ идеи не теряетъ способности выслушивать другихъ, понимать и оцѣнивать иныя точки зрѣнія, иныя убѣжденія; если его излюбленная идея, система, программа, страсть, вѣра не являются въ видѣ завѣсы, заслоняющей отъ его глазъ дѣйствительность, подлиннаго человѣка и человѣчество; если онъ сознаетъ и чувствуетъ, что, положимъ, его «я» и его идеи—это нѣчто превосходное, ну а всетаки эта дѣйствительность, этотъ громадный міръ, это человѣчество сами по себѣ подлежатъ объективному изученію, пониманію и любви (да кромѣ того отлично могутъ обойтись безъ него и его идей);— то такой человѣкъ имѣетъ шансы возвыситься до той высоты душевнаго подъема, которая и есть внутренняя свобода духа.

Само собою разумѣется, внутренняя свобода, какъ и все на свѣтѣ вообще и въ психикѣ человѣка въ особенности, можетъ быть только относительной. Немыслимъ такой геній, который обладалъ бы безусловной свободой духа. И Пироговъ, и Кантъ, и Гладстонъ, и самъ Гете представляются внутренно свободными только относительно,—ихъ духъ, ихъ воля, ихъ умъ далеко не такъ связаны, какъ у натуръ другого рода (Шопенгауэръ, Контъ, Толстой). Они свободны во многомъ, въ чемъ другіе связаны; они вообще свободнѣе другихъ. Но у каждаго изъ нихъ найдутся свои слабыя стороны, такія черты характера, темперамента, ума, которыхъ дѣйствіе ограничиваетъ ихъ внутреннюю свободу въ тѣхъ или другихъ отношеніяхъ.

Обращаясь къ Базарову, мы скажемъ такъ:

Это человѣкъ, который имѣетъ много шансовъ стать внутренно-свободнымъ, но по молодости лѣтъ, по недостатку жизненнаго опыта, онъ далеко еще не осуществилъ этой свободы и не оправдалъ своихъ правъ на нее. Видно только, что, не умри Базаровъ такъ рано, онъ сумѣлъ бы ихъ оправдать. Задатки внутренней свободы въ немъ основаны на свойствахъ его большого ума и на необычайной силѣ воли. Объ этой послѣдней мы

Digitized by Google

говорили выше. Что же касается ума, то всякій, прочитавшій и понявшій «Отцы и Дѣти», отлично знаетъ, какъ уменъ Базаровъ. Было бы излишне распространяться на эту тему и доказывать цитатами, что у Базарова сильный аналитическій и критическій умъ, нѣсколько сухой и холодный, нечуждый иронiи и скептицизма, «научно-дѣловой». Такія свойства ума много содѣйствуютъ освобожденію духа. Если не во всѣхъ сферахъ, то по крайней мѣрѣ въ области идей, идеаловъ, общественныхъ стремленій такой умъ всегда предохранитъ человѣка отъ узкости, односторонности, фанатизма, не позволитъ ему стать рабомъ идеи, мономаномъ. И въ самомъ дѣлѣ, Базаровъ обращается со своими идеями совершенно свободно, и самый «нигилизмъ», отрицаніе «принциповъ» и авторитетовъ, въ существѣ дѣла, являются у него только своеобразнымъ, юношески-незрѣлымъ, непродуманнымъ выраженіемъ этой внутренней свободы. Несомнѣнно, съ годами и опытомъ такой способъ выраженія свободы замѣнился бы у него другимъ—болѣе зрѣлымъ, болѣе совершеннымъ ея проявленіемъ. Вполнѣ созрѣвшій, обогащенный опытомъ жизни, расширившій кругъ своихъ идей, Базаровъ уже не станетъ утверждать, что напр. «порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта», что «Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ», что «принциповъ нѣтъ, а есть только ощущенія», и т. д. Чтобы правильно понять Базарова, къ этому нигилизму его нужно относиться такъ, какъ отнесся къ нему самъ Тургеневъ,—благодушно, безъ той горячности, какую проявляетъ Павелъ Петровичъ Кирсановъ. Тургеневъ ясно показалъ намъ неумѣстность этой горячности и далъ понять, что—не будь ея—самъ Базаровъ выражался бы не такъ рѣзко. Лично Тургеневу было крайне несимпатично отрицаніе искусства, авторитетовъ, глумленіе надъ Рафаэлемъ и Пушкинымъ и т. д., но онъ умѣлъ глубоко проникать взоромъ художника и мыслителя въ душевное нутро людей, умѣлъ взвѣшивать и оцѣнивать ихъ внутреннее содержаніе, чего не умѣетъ Павелъ Петровичъ. Послѣдній органически неспособенъ понять Базарова—какъ натуру, умъ, характеръ, и, въ своей оцѣнкѣ человѣка, держится на поверхности, не идетъ дальше «взглядовъ», словъ, случайныхъ проявленій личности. Не нравятся ему эти слова и проявленія,—и онъ отворачивается отъ человѣка, выноситъ ему безаппеляціонный приговоръ. Ему и въ голову не приходитъ простая мысль, что есть вѣдь въ человѣкѣ нѣчто болѣе существенное, чѣмъ слова и «взгляды», нѣчто

Digitized by Google

глубже лежащее, есть характеръ, воля, складъ ума, внутренніе запросы, есть сложная личность въ процессѣ развитія, ищущая выраженія и самоопредѣленія.

Для Павла Петровича Кирсанова Базаровъ никоимъ образомъ не можетъ служить «дополнительной личностью». Онъ и Базаровъ—это два контраста, но такіе, которые другъ друга не дополняютъ, не способны къ гармоническому сочетанію.

Но Тургеневъ—не Павелъ Петровичъ Кирсановъ, и отношенія его къ Базарову поэтому совсѣмъ иныя. Другое дѣло—Николай Петровичъ Кирсановъ: въ немъ воплощены нѣкоторыя типичныя черты передового дворянства эпохи 40—60-хъ годовъ, между прочимъ тѣ, которыя Тургеневъ находилъ въ самомъ себѣ. «Николай Петровичъ (говоритъ Тургеневъ въ письмѣ къ Случевскому, 1862 г., № 81) это—я, Огаревъ и тысячи другихъ». Мягкость характера, слабость воли, прекраснодушіе, литературные вкусы, сочувствіе къ молодежи, культъ Пушкина и природы, недостатокъ практическаго смысла, неспособность къ дѣйствію и т. д.—таковы характерные признаки этого типа, совершенно противуположнаго базаровскому. Эта противуположность однако вовсе не предполагаетъ той враждебности, той невозможности соглашенія, которыя образуютъ основу отношеній между Павломъ Петровичемъ и Базаровымъ. Николай Петровичъ едва ли вполнѣ понимаетъ и едва-ли могъ бы полюбить Базарова, но въ то же время въ немъ нѣтъ той затаенной, предвзятой, инстинктивной вражды къ нему и того почти физическаго отвращенія, какія проявляетъ его братъ. Между отцомъ Аркадія и Базаровымъ при другихъ обстоятельствахъ, могли бы установиться очень хорошія отношенія. И самъ Базаровъ, какъ извѣстно, по своему цѣнитъ и понимаетъ Николая Петровича; въ немъ нѣтъ никакой антипатіи къ послѣднему.—«Базаровъ уменъ и знающъ», говоритъ Николай Петровичъ.—«Твой отецъ добрый малый», говоритъ Базаровъ Аркадію,—«но онъ человѣкъ отставной, его пѣсенка спѣта».

При всемъ томъ, предполагая даже наилучшія отношенія между Николаемъ Петровичемъ и Базаровымъ, все-таки они никогда не могли бы служить другъ для друга «дополнительными личностями». Гармоническое соотношеніе между ихъ умами и натурами немыслимо. Базаровъ для Кирсанова-отца—слишкомъ большая сила; Николай Петровичъ для Базарова—слишкомъ слабъ и зауряденъ. Въ немъ нѣтъ ничего такого, что могло-бы

Digitized by Google

уравновѣсить базаровскую силу духа. То же самое приходится сказать и объ Аркадіи. Юный другъ Базарова, какъ умъ, характеръ, темпераментъ,—весь въ отца. Уравновѣсить другъ друга Базаровъ и Аркадій не могутъ. Ихъ отношенія таковы: взаимная симпатія и дружба, восторженное поклоненіе со стороны Аркадія, снисходительное расположеніе со стороны Базарова, но отсутствіе и невозможность настоящей гармоніи. Аркадій, какъ и его отецъ, слабъ и заурядень; Базаровъ слишкомъ силенъ и содержателенъ. Они не могутъ быть другъ для друга настоящей душевной потребностью. Отсюда въ концѣ концовъ взаимное охлажденіе и разрывъ.

V.

Теперь возьмемъ эту самую натуру, этотъ дворянскій типъ, воплощенные въ образахъ Николая Петровича и Аркадія, и, не нарушая основныхъ чертъ, начнемъ понемногу усиливать качества ума и таланта. Николай Петровичъ далеко не глупъ, Аркадій вовсе не ограниченный человѣкъ. Но легко можно представить себѣ человѣка того-же дворянскаго типа и той же натуры, только одареннаго выдающимся умомъ—мыслителя, художника, съ несравненно большимъ діапазономъ духа, съ тою душевною чуткостью, которая рѣдко выпадаетъ на долю натурамъ заурядным, наконецъ—съ даромъ творчества, все равно какого—художественнаго, публицистическаго, философскаго, научнаго. Въ результатѣ получится тотъ-же «дворянинъ», но только именуемый, напр., Пушкинымъ, Герценомъ, Тургеневымъ и т. д. Мы получимъ большую душевную силу, которая уже не спасуетъ передъ Базаровымъ и можетъ его уравновѣсить. Между этими двумя силами становится возможнымъ гармоническое соотношеніе; онѣ способны дополнить одна другую.—Вотъ и посмотримъ, какъ Базаровъ дополняетъ Тургенева.

Нѣкоторыя данныя для рѣшенія этого вопроса были приведены выше. Мы видѣли, какъ Тургеневъ любитъ Базарова; мы указали на тѣ черты базаровской натуры, которыхъ недоставало Тургеневу и которыя потому и служили для него «дополненіемъ». Наконецъ мы отмѣтили общую у нихъ черту—внутреннюю свободу, присутствіе которой дѣлаетъ личность Базарова особенно симпатичной и дорогой Тургеневу. Но всего этого все еще недостаточно,—попытаемся заглянуть глубже въ эти сложныя душевныя отношенія художника къ его созданію.

Digitized by Google

Сперва прочтемъ слѣдующія строки изъ письма къ Случевскому (1862 г., № 18): «...если читатель не полюбитъ Базарова со всею его грубостью, безсердечностью, безжалостной сухостью и рѣзкостью,—если онъ его не полюбитъ, повторяю я,—я виноватъ, и не достигъ своей цѣли... Мнѣ мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая изъ почвы, сильная, злобная, и честная и все-таки обреченная на погибель, потому что она все-таки стоитъ еще въ предверіи будущаго,—мнѣ мечтался какой-то странный pendant съ Пугачевымъ...»—«Базаровъ подавляетъ всѣ остальныя лица романа... Приданныя ему качества не случайны. Я хотѣлъ сдѣлать изъ него лицо трагическое—тутъ было не до нѣжностей. Онъ честенъ, правдивъ и демократъ до конца ногтей... Базаровъ, по моему, постоянно разбиваетъ Павла Петровича, а не наоборотъ, и если онъ называется нигилистомъ, то надо читать: революціонеромъ».—«Вся моя повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передового класса...»—«Базаровъ въ одномъ мѣстѣ у меня говорилъ (я это выкинулъ для цензуры) Аркадію: твой отецъ честный малый, но будь онъ расперевзяточникъ—ты все-таки дальше благороднаго смиренія или кипѣнія не дошелъ-бы, потому что ты дворянинъ» *).

Эти признанія Тургенева для насъ драгоцѣнны, тѣмъ болѣе, что они были сдѣланы, такъ сказать, по горячимъ слѣдамъ, очень скоро послѣ появленія «Отцовъ и Дѣтей». Ихъ искренность не можетъ быть заподозрѣна. Но они требуютъ поясненій. Не нужно забывать, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ частнымъ письмомъ, не предназначавшимся для печати, да еще обращеннымъ къ молодому (тогда) человѣку, гейдельбергскому студенту. Оно было написано спеціально для разъясненія возникшихъ недоразумѣній по поводу «Отцовъ и Дѣтей», и на всѣ эти недоразумѣнія Тургеневъ отвѣчаетъ по пунктамъ. Оттуда, кромѣ сжатости и краткости, и еще и та особенность, что весь вопросъ сводится къ авторскимъ намѣреніямъ и къ разъясненію внутренняго смысла выведенныхъ образовъ. Наша же задача—иная; мы ста-

*) Въ письмѣ къ Герцену отъ 28 апрѣля 1862 г. Тургеневъ говоритъ: «Еще бы онъ (Базаровъ) не подавилъ собою «человѣка съ душистыми усами» и другихъ! Это торжество демократизма надъ аристократіей... Штука была бы не важная представить его идеаломъ; а сдѣлать его волкомъ и всетаки оправдать его, это было трудно; и въ этомъ я, вѣроятно, не успѣлъ...»—Тургеневъ отлично зналъ, что «успѣлъ въ этомъ».

Digitized by Google

вимъ себѣ цѣлью прослѣдить внутренній процессъ творчества, въ которомъ всегда, кромѣ преднамѣренности, есть много вдохновенія и наивности. Вспомнимъ здѣсь то мѣсто изъ письма къ Салтыкову, гдѣ Тургеневъ говоритъ, что писалъ Базарова «наивно, словно самъ дивясь тому, что у него выходило, что тутъ былъ какой-то фатумъ, что-то сильнѣе самого автора, что-то независимое отъ него, и никакой тенденціи, никакой предвзятой мысли у него тогда не было». (Цитировано выше, № 217). Между этими признаніями и тѣмъ, что писалъ Тургеневъ Случевскому, въ существѣ нѣтъ противорѣчія. Въ процессѣ творчества элементы сознательнаго и безсознательнаго, наивности и осмысленности, непосредственности и преднамѣренности такъ причудливо перепутываются, такъ чередуются и совмѣщаются, что самъ художникъ часто не въ состояніи разобраться, гдѣ кончается одно, гдѣ начинается другое, когда дѣйствовало вдохновеніе, когда являлась сознательная работа мысли. По счастью, именно въ созданіи Базарова мы имѣемъ возможность, благодаря письмамъ и другимъ даннымъ, съ большимъ вѣроятіемъ опредѣлить относительную долю участья того и другого фактора. «Преднамѣренность», сознательность, очевидно, играли большую роль въ самомъ началѣ, въ первомъ замыслѣ Базарова. Сильное впечатлѣніе, произведенное на Тургенева «молодымъ провинціальнымъ врачемъ», прототипомъ Базарова, вызвало сознательную работу мысли, направленную на апперцепцію натуръ и умовъ этого рода и на уясненіе духа отрицательныхъ идей, смысла революціонныхъ стремленій. Затѣмъ, вынырнулъ образъ Пугачева. Могли припоминаться и другіе. Въ этюдѣ о Базаровѣ («Харьк. Губ. Вѣд.» 1894 г.) я старался показать, что фигура отца разсказчика въ «Первой любви» (написанной, какъ извѣстно, непосредственно передъ «Отцами и Дѣтьми» и послѣ знакомства Тургенева съ «молодымъ провинціальнымъ врачемъ») была какъ-бы подготовкой Базарова: это та-же натура, сильная, властная, покоряющая, холодная, умная, недобрая. Это былъ какъ-бы этюдъ, набросанный въ виду замысла большой картины. Тургеневу могъ также припоминаться, напр., Инсаровъ, и—предполагаю—напрашивалась мысль создать образъ «русскаго Инсарова» *). Во всемъ этомъ было много сознательной работы

*) Недавно было указано, что образъ Н. А. Добролюбова, котораго Тургеневъ не любилъ, но огромная душевная мощь и высокій умъ,

Digitized by Google

мысли. Но затѣмъ должны были выступить на авансцену процессы безсознательные, та «наивность» и тотъ «фатумъ», о которыхъ говоритъ Тургеневъ въ письмѣ къ Салтыкову. Эту «наивность» и «фатумъ», это безсознательное въ творчествѣ, я свожу къ ритмическому движенію души, къ стремленію создать дополнительную личность и достичь гармоніи. Эти волны душевнаго ритма, поднявшись изъ глубины встревоженной творческимъ вдохновеніемъ души, разметали и унесли и Пугачева, и Инсарова, и героя «Первой любви»,—и на поверхность вынырнулъ иной образъ, иная мечта. Это были еще неясныя очертанія фигуры «сумрачной, наполовину выросшей изъ почвы», умной, злой, правдивой, честной. И вотъ тутъ-то произошло то, что всегда возникаетъ въ творчествѣ истинныхъ большихъ художниковъ. Назрѣвающій образъ, всплывающая мечта получила очертанія общей идеи, или лучше—обобщеннаго образа, въ которомъ ищетъ воплотиться не что-нибудь случайное, исключительное, индивидуальное, а нѣчто общее, человѣческое, характерное для человѣчества, важное для познанія и пониманія той или другой стороны духа, каковъ онъ есть или какимъ онъ можетъ быть въ statu quo или въ развитіи.

И вотъ въ отвѣтъ и въ унисонъ съ этимъ расширеніемъ образа расширяется душа самого художника,—онъ самъ становится типомъ, «образомъ обобщающимъ», и въ этомъ видѣ онъ ищетъ себѣ дополненія въ томъ, что создается. Базарова написалъ не индивидуальный, такъ сказать, Ив. Серг. Тургеневъ, а Тургеневъ—типъ и представитель лучшихъ людей дворянства 40—60-хъ гг., западникъ, идеалистъ. Когда онъ создавалъ Базарова, онъ чувствовалъ въ себѣ русскаго дворянина добраго стараго времени, онъ сознавалъ свою—дворянскую—общественную и политическую несостоятельность и жаждалъ образа, въ которомъ даны были бы задатки иного призванія; онъ лелѣялъ и облюбовывалъ черты силы, практическаго, дѣловаго ума, черты натуры мощной, «наполовину выросшей изъ почвы», «можетъ быть—недоброй». Онъ какъ бы собралъ въ себѣ въ эту минуту всю сумму дворянской мягкости, доброты, эстетики, прекраснодушія, оторванности отъ почвы и т. д., и ощущалъ душевную

котораго не могли не произвести глубокаго впечатлѣнія на него, отчасти долженъ былъ отразиться на замыслѣ Базарова. (А. Н. Пыпинъ, «Н. А. Некрасовъ», «Вѣстн. Европы», 1903, ноябрь, стр. 89).

Digitized by Google

потребность—увидѣть и полюбить воплощеніе противуположныхъ чертъ—базаровскихъ. Поскольку эти движенія души проникали въ сознаніе, постольку они могли быть переведены терминами письма къ Случевскому; поскольку они оставались безсознательными,—они должны были подсказать то, что писалъ Тургеневъ Салтыкову.

Психическій ритмъ, осуществлявшійся въ процессѣ созданія Базарова, былъ очень сложенъ. Тургеневъ, обобщающій въ себѣ множество дворянскихъ натуръ и создающій такимъ путемъ образы Николая Петровича и Аркадія,—это одна волна, и это творчество по преимуществу субъективное — отъ себя. Еще волна—противуположеніе себя этому обобщенію: Кирсановы, отецъ и сынъ, это—одно я, Тургеневъ—типъ, но есть еще другое его я—Тургеневъ—художникъ и мыслитель. Это— какъ бы раздвоеніе личности. Воплотивъ одну половину себя въ Николаѣ Петровичѣ, Тургеневъ другою, своимъ «я» мыслителя и художника, незримо, но ощутительно присутствуетъ въ романѣ для уравновѣшенія базаровской силы, для гармоническаго созвучія съ нею. И эта гармонія дѣйствительно осуществляется. На Базарова Тургеневъ въ самомъ дѣлѣ потратилъ свои лучшія краски. Онъ любуется своимъ «дѣтищемъ». Онъ въ восторгѣ, что «нашелъ» Базарова. «Отцы и дѣти»—это, можно сказать, романъ Тургенева и Базарова, это повѣсть о томъ, какъ великій объективный художникъ сталъ выше своего типа, класса, эпохи и съ этой высоты мысли устремилъ очарованный взоръ въ величественный фантомъ, вдругъ выросшій передъ нимъ.

Базаровъ—это въ нѣкоторомъ родѣ фантомъ, видѣніе художника. Это не типъ въ тѣсномъ смыслѣ слова. И въ самомъ дѣлѣ.

Смотрѣть на Базарова, какъ на типъ нашихъ «нигилистовъ» или «мыслящихъ реалистовъ» 60-хъ гг.—нѣтъ никакой возможности. Къ этому «движенію», въ сущности безобидному, Базаровъ примыкаетъ чисто внѣшнимъ образомъ. Отрицаніе искусства, глумленіе надъ Пушкинымъ, культъ естественныхъ наукъ, матеріалистическое міровоззрѣніе—все это только «механически» связываетъ Базарова съ извѣстными кругами молодежи того времени. Но вѣдь Базаровъ интересенъ и такъ значителенъ вовсе не этими «взглядами», не «направленіемъ», а внутренней содержательностью и сложностью натуры, въ самомъ дѣлѣ «су-

Digitized by Google

мрачной», «наполовину выросшей изъ почвы», огромной силою духа, наконецъ—при демократизмѣ «до конца ногтей»—такой независимостью мысли и такими задатками внутренней свободы, какихъ дай Богъ настоящему философу. Это-ли тѣ черты, которыя могутъ быть названы типичными для молодежи 60-хъ годовъ, Писаревскаго направленія? Въ письмѣ къ Случевскому, Тургеневъ говоритъ, что вмѣсто «нигилистъ» нужно читать «революціонеръ». Примемъ такое «чтеніе» и постараемся понять Базарова—какъ типъ уже не «нигилиста» 60-хъ гг., а «революціонера». Если даже будемъ имѣть въ виду не только русскихъ революціонеровъ 60-хъ и послѣдующихъ годовъ, но и западноевропейскихъ, то и въ такомъ случаѣ типичность Базарова будетъ очень сомнительною. Его натура, правда, въ основѣ своей, представляется «революціонной», но съ тѣмъ вмѣстѣ въ немъ слишкомъ много внутренней свободы и скептицизма, чтобы онъ могъ быть признанъ истиннымъ, типичнымъ представителемъ революціоннаго духа и умонастроенія. Настоящіе революціонеры большею частью фанатики, т. е. люди внутренно-несвободные. Революціонеру не подобаетъ также быть скептикомъ. Въ извѣстномъ смыслѣ, онъ—вѣрующій и исповѣдующій. Гдѣ же у Базарова признаки фанатизма, вѣры, слѣпой преданности идеѣ? Если онъ и говоритъ Аркадію: «вы, напримѣръ, не деретесь — и ужъ воображаете себя молодцами,—а мы драться хотимъ... намъ другихъ ломать надо», и т. д. (гл. XXVI), то это свидѣтельствуетъ только о томъ, что натура Базарова, какъ сказано выше, въ основѣ своей, революціонная, буйная, склонная къ насилію, къ активному протесту. Но это только задатки, и отъ нихъ еще далеко до настоящаго революціоннаго уклада мысли и чувства. Не всякій желающій драться и «ломать» другихъ, eo ipso есть революціонеръ,—къ этимъ задаткамъ нужно еще присоединить вѣру въ людей, въ свое дѣло, слѣпую преданность идеѣ. Эта «прибавка» такъ важна, что исторія являетъ намъ нерѣдкіе примѣры революціонныхъ дѣятелей, которые были таковыми только въ силу этой вѣры и преданности, а вовсе не по натурѣ, часто мягкой и пассивной.—Далѣе, у Базарова нѣтъ и того духа пропаганды и прозелитизма, который такъ свойственъ заправскимъ революціонерамъ. Развивая свои взгляды Одинцовой, онъ «говорилъ все это съ такимъ видомъ, какъ будто въ то же время думалъ про себя: вѣрь мнѣ или не вѣрь, это мнѣ все едино» (XVI). Въ бесѣдахъ съ Аркадіемъ

Digitized by Google

онъ скорѣе напоминаетъ философа—матеріалиста, бесѣдующаго съ ученикомъ своимъ, чѣмъ пропагандиста, вербующаго себѣ адепта.

Но что особенно характерно для Базарова и въ то-же время является признакомъ рѣзкаго отличія его внутренняго міра отъ натуръ и умовъ заправски-революціонныхъ, это та вѣчная неудовлетворенность и невозможность найти удовлетвореніе, то отсутствіе равновѣсія духа, которыя съ особливой наглядностью сказались въ слѣдующей тирадѣ: «я думаю,—говоритъ онъ Аркадію,—хорошо моимъ родителямъ жить на свѣтѣ! Отецъ въ 60 лѣтъ хлопочетъ, толкуетъ о «палліативныхъ» средствахъ, лѣчитъ людей, великодушничаетъ съ крестьянами,—кутитъ, однимъ словомъ; и матери моей хорошо: день ея до того напичканъ всякими заботами, охами да ахами, что ей и опомниться некогда; а я... А я думаю: я вотъ лежу здѣсь подъ стогомъ... Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ; и часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ... А въ этомъ атомѣ, въ этой математической точкѣ, кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже... Что за безобразіе! Что за пустяки!.. Я хотѣлъ сказать, что они вотъ, мои родители то-есть, заняты и не безпокоятся о собственномъ ничтожествѣ, оно имъ не смердитъ... а я... я чувствую только скуку да злость» (XXI).

Вотъ именно то, что Базаровъ говоритъ здѣсь о своихъ родителяхъ, можетъ быть, mutatis mutandis, съ большимъ правомъ сказано о революціонерахъ: они заняты и не безпокоятся о собственномъ «ничтожествѣ». И въ самомъ дѣлѣ. Простые и смирные люди, въ родѣ родителей Базарова,—тѣ скорѣе въ минуту напр., горя, могутъ почувствовать свое ничтожество. Революціонеръ преисполненъ сознаніемъ своей миссіи, иллюзіей великаго, историческаго дѣла, которому онъ призванъ служить, и скорѣе склоненъ преувеличивать свою значительность, свою цѣнность—общественную, національную, международную,—чѣмъ чувствовать свое ничтожество. Въ смыслѣ психологическомъ, нѣтъ людей болѣе занятыхъ, какъ имено революціоннеры; и нѣтъ людей болѣе уравновѣшенныхъ, болѣе ясныхъ, всѣ вопросы разрѣшившихъ, чуждыхъ скептицизма, колебанія, сомнѣній. Тѣ мысли о безконечности, вѣчности, о ничтожествѣ человѣка,

Digitized by Google

которымъ такъ доступенъ Базаровъ, имъ и въ голову не приходятъ. Это люди жизни, текущаго историческаго момента, интересами и иллюзіями котораго переполнена ихъ душа,—имъ некогда философствовать о суетѣ суетъ, и человѣческое ничтожество «имъ не смердитъ».

Одного этого ужъ достаточно для заключенія, что Базаровъ не есть представитель революціоннаго типа. Что-жъ онъ такое?.

Что онъ такое самъ по себѣ и что онъ для Тургенева? На этотъ вопросъ я постараюсь отвѣтить въ слѣдующей главѣ, гдѣ, подведя итогъ всему вышесказанному, я вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлаю попытку освѣтить этотъ итогъ нѣкоторыми соображеніями, извлеченными изъ анализа такихъ—очень субъективныхъ—вещей Тургенева, какъ «Призраки» и «Довольно».

Digitized by Google

ГЛАВА II.

I.

Едва-ли найдется такой объективный художникъ, въ творчествѣ котораго не было бы никакой примѣси субъективнаго элемента. Этотъ послѣдній не чуждъ и Тургеневу, и въ нѣкоторой долѣ можетъ быть усмотрѣнъ даже въ такихъ, по преимуществу объективныхъ, созданіяхъ его, какъ фигура Базарова.

Анализируя этотъ образъ, мы пришли къ заключенію, что Базаровъ не есть ни представитель «нигилизма» 60-хъ годовъ, ни воспроизведеніе революціоннаго типа, что это—личность sui generis, сотканная изъ весьма разнообразныхъ элементовъ, нѣчто въ родѣ «видѣнія» художника, и ея созданіемъ Тургеневъ стремился удовлетворить какой-то настоятельной и очень интимной потребности своего ума и своей души.

Вотъ тутъ-то и скрывается субъективная сторона въ созданіи этой столь объективной фигуры. Чтобы уловить и правильно оцѣнить эту сторону, нужно обратиться къ тѣмъ даннымъ, которыя мы найдемъ въ такихъ произведеніяхъ Тургенева, какъ «Призраки» и «Довольно».

Начнемъ съ послѣдняго.

«Довольно» (1864 г.) можетъ быть причислено къ разряду «стихотвореній въ прозѣ». Это очень изящная лирическая вещь, блещущая всѣми красотами поэтической рѣчи Тургенева. Въ тоже время это—очень искреннее, прямо вылившееся изъ души, яркое выраженіе нѣкоторыхъ мучительныхъ чувствъ и думъ, во власти которыхъ былъ Тургеневъ въ разные періоды своей жизни и между прочимъ—во время созданія «Отцовъ и Дѣтей». Въ «Довольно» Тургеневъ какъ бы договорилъ—и уже прямо отъ себя—то, что въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» затронуто въ формѣ объективнаго воспроизведенія.

Digitized by Google

Здѣсь нужно припомнить тѣ черты базаровской натуры, на которыя я уже указывалъ раньше,—именно его «самоломанность» и то, что «ему смердитъ», какъ онъ выражается, «его собственное ничтожество», — мысли о вѣчности, передъ которой такъ ничтоженъ человѣкъ, грозный призракъ смерти, возмущающій гордость Базарова, наконецъ, вообще пессимистическій взглядъ на вещи, на людей, казалось бы не идущій къ столь сильному, полному жизни и стремленій человѣку.

Все это—mutatis mutandis выражено въ «Довольно» такъ, какъ будто герой, отъ лица котораго ведется рѣчь, есть самъ Тургеневъ.

И прежде всего мы встрѣчаемся здѣсь съ мыслью или точкой зрѣнія на вещи, которая неизмѣнно повторяется у всѣхъ пессимистовъ или вообще у людей, когда они пессимистически настроены. Одно изъ древнѣйшихъ выраженій этого взгляда, сдѣлавшееся классическимъ и вошедшее въ поговорку, мы находимъ у Экклезіаста, этого Шопенгауэра древности: «ничто не ново подъ луною,—суета суетъ и всяческая суета».

Вотъ повтореніе этого мотива у Тургенева въ «Довольно»: «...Что мнѣ въ томъ, что въ это самое мгновеніе заря все шире, все ярче разливается по небу, словно распаленная какою-то всепобѣдною страстью? Что въ томъ, что въ двухъ шагахъ отъ меня, среди тишины и нѣги и блеска вечера, въ росистой глубинѣ неподвижнаго куста, соловей вдругъ сказался такими волшебными звуками, точно до него на свѣтѣ не водилось соловьевъ, и онъ первый запѣлъ первую пѣснь о первой любви? Все это было,—было, повторялось, повторяется тысячу разъ—и какъ вспомнишь, что все это будетъ продолжаться такъ цѣлую вѣчность—словно по указу, по закону—даже досадно станетъ!...» (гл. III). «...Если бы вновь народился Шекспиръ, ему не изъ чего было бы отказаться отъ своего Гамлета, отъ своего Лира. Его проницательный взоръ не открылъ бы ничего новаго въ человѣческомъ быту: все та-же пестрая и въ сущности несложная картина развернулась бы передъ нимъ въ своемъ тревожномъ однообразіи...» и т. д. (гл. XIV).

Всякому человѣку могутъ приходить въ голову подобнаго рода мысли,—въ особенности тому, кто имѣетъ основаніе сказать о себѣ словами Тургенева въ «Довольно»: «все извѣдано—все перечувствовано много разъ... усталъ я...», или еще яснѣе: «Эхъ состарился я! Прежде подобныя мысли и въ голову бы мнѣ

Digitized by Google

не пришли—прежде, въ тѣ счастливые дни, когда я самъ разгорался, какъ заря, и пѣлъ, какъ соловей. Надо признаться: все потускнѣло вокругъ, вся жизнь поблекла. Свѣтъ, который даетъ ея краскамъ и значеніе, и силу,—тотъ свѣтъ, который исходитъ изъ сердца человѣка,—погасъ во мнѣ...» (гл. IV).

Душевная усталость, изношенность, одряхлѣніе, притупленіе живыхъ силъ ума и сердца—вотъ обычные источники того безотраднаго міровоззрѣнія, которое такъ поэтически выражено въ «Довольно». Разумѣется, совершенно невѣроятно, чтобы въ такомъ именно состояніи душевнаго упадка находился Тургеневъ въ 1864 г., когда онъ написалъ разсматриваемый очеркъ. Все, что могло случиться, это только нѣкоторая умственная усталость послѣ почти непрерывнаго творчества второй половины 50-хъ гг. и начала 60-хъ *), да, пожалуй, еще упадокъ духа вслѣдствіе тѣхъ разочарованій, обидъ, нареканій, которыя выпали на долю Тургенева послѣ появленія «Отцовъ и Дѣтей». Все это, конечно, не могло служить достаточнымъ основаніемъ тому, чтобы еще не старый, полный силъ и творческихъ замысловъ поэтъ сказалъ о себѣ то, что говорится въ только-что приведенной выдержкѣ изъ IV-й главы «Довольно». Но, быть можетъ, «Довольно»—это не болѣе, какъ выраженіе мимолетнаго настроенія, капризъ художника? Едва-ли: это вещь слишкомъ продуманная,—какъ сказано выше, изъ души вылившаяся, да кромѣ того, по укладу мысли и настроенію, тѣсно примыкающая къ другимъ, предшествующимъ произведеніямъ, «Призракамъ» и «Отцамъ и Дѣтямъ». По всему видно, что это былъ порядокъ мыслей и чувствъ, занимавшихъ умъ и волновавшихъ воображеніе Тургенева въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, а вовсе не случайное умонастроеніе, не мимолетный капризъ. Если все это такъ, то, казалось бы, остается одно—признать, что «Довольно», «Призраки» и соотвѣтственныя стороны въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» были продуктами не субъективнаго, а объективнаго творчества: самъ Тургеневъ (такъ можно подумать) подобнаго состоянія не испытывалъ, и такое безотрадное міровоззрѣніе не было ему присуще, но онъ наблюдалъ явленія этого рода, постигъ ихъ воображеніемъ великаго художника и воспроизвелъ,—какъ постигъ и воспроизвелъ онъ

*) 1855—«Рудинъ», 1855—«Фаустъ», 1858—«Дворянское гнѣздо», 1859—«Наканунѣ», 1860—«Первая любовь», 1861—«Отцы и Дѣти»,—есть отчего немного утомиться.

Digitized by Google

столь чуждую себѣ натуру Базарова, раньше—Инсарова и т. д. Но вникая въ дѣло глубже, мы принуждены будемъ отказаться отъ такого предположенія. Пессимизмъ «Довольно», «Призраковъ» и соотвѣтственныхъ мѣстъ въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» безспорно субъективнаго происхожденія,—но только онъ вытекаетъ не изъ душевнаго одряхлѣнія, на которое указывается въ «Довольно», а изъ другого источника.

Онъ, такъ сказать,—«головного» происхожденія и вытекаетъ изъ свойствъ тургеневскаго ума. Основныя черты или типъ послѣдняго мы намѣтили въ началѣ этого этюда. Теперь необходимо вернуться къ этому вопросу и дополнить нашу характеристику еще нѣкоторыми существенными чертами. Кстати сказать, обыкновенно при анализѣ и оцѣнкѣ произведеній художественнаго творчества слишкомъ мало удѣляютъ мѣста изученію самого ума, создавшаго данное произведеніе, опредѣленію его свойствъ, его характерныхъ чертъ. А между тѣмъ художественное творчество есть дѣятельность чисто-умственная—не меньше ученаго изслѣдованія или философскаго построенія *). И въ дѣлѣ анализа и критики произведеній искусства на первомъ планѣ долженъ быть поставленъ вопросъ о томъ, какъ работаетъ данный умъ, къ какому типу или укладу мысли относятся его умственныя операціи.

II.

И прежде всего я попрошу читателя не упускать изъ вида, что умъ человѣческій (въ особенности — большой, созидающій) есть аппаратъ чрезвычайно сложный, въ которомъ совмѣщаются кажущіяся противорѣчія, и въ которомъ, кромѣ процесса созданія и развитія идей, кромѣ анализа и синтеза, дѣйствуютъ особаго рода чувствованія, пристрастія, расположенія, даже радости и печали,— дѣйствуютъ, какъ элементъ, сопутствующій работѣ чистой мысли, ее окрашивающій, но не случайный, а вытекающій изъ основныхъ свойствъ даннаго ума. Вотъ именно эти свойства и связанный съ ними порядокъ умственныхъ чувствъ легче всего наблюдать, когда они обнаруживаются подъ воздѣйствіемъ извѣстной идеи, могущей служить для ума своего рода

*) Объ этомъ подробнѣе—въ «Вопросахъ психологіи творчества», стр. 3 и слѣдующія.

Digitized by Google

реактивомъ. Наблюдайте, какъ такая идея дѣйствуетъ въ изслѣдуемомъ умѣ, — можетъ ли она глубоко пустить корни въ немъ, или держится на его поверхности, — есть ли внутреннее сродство (Wahlverwandschaft) между ними, или же его нѣтъ, и идея усвоится лишь внѣшнимъ образомъ, — наконецъ, какой порядокъ интеллектуальныхъ чувствъ вызывается ею. Для ума Тургенева, который—читатель помнитъ—мы отнесли къ разряду «недѣловыхъ», созерцательныхъ, философски-консервативныхъ умовъ, «ренановскаго» типа, такой пробной, реагирующей идеей можетъ служить идея развитія (эволюціи), мысль трансформизма. Есть умы, внутренно къ ней предрасположенные, — имъ особенно удобно, привольно и радостно мыслить въ этомъ направленіи, двигаться по этой колеѣ; есть другіе умы, которымъ она прямо-таки претитъ; есть третьи, охотно ее принимающіе, но не задѣваемые ею за живое, равнодушно, разсудочно относящіеся къ ней. Вотъ именно къ этому то послѣднему разряду и принадлежитъ Тургеневъ вмѣстѣ съ Ренаномъ и другими мыслителями того же типа.

Мыслитель, умъ котораго внутренно предрасположенъ къ эволюціонизму и трансформизму, который глубоко чувствуетъ величіе и плодотворность этой идеи, провидитъ ея великое будущее, никогда не скажетъ, что ничто не ново подъ луною. Напротивъ, для него—все ново, ничто не повторяется. Вмѣстѣ съ Потебнею, онъ не только скажетъ, но всѣми фибрами своего ума будетъ чувствовать, что «интересъ исторіи именно въ томъ, что она не есть лишь безконечная тавтологія» *).

Для умовъ практическихъ, житейскихъ (напр. для общественнаго или политическаго дѣятеля, для государственнаго человѣка) идея эволюціи долго еще не будетъ имѣть большого значенія. Для нихъ она можетъ быть только предметомъ любознательности. Человѣкъ жизненной борьбы имѣетъ дѣло съ существующими формами жизни, которыя кажутся ему, въ своихъ основныхъ чертахъ, неподвижными. Его дѣятельность ограничена этой кажущейся неподвижностью. Раздвигать горизонтъ и устремлять взоръ въ безконечную даль вѣковъ—ему, какъ практическому дѣятелю, нѣтъ никакой надобности, и, пожалуй, это могло бы даже повредить его дѣлу. Ему совсѣмъ и не нужно знать и чувствовать, что, помимо тѣхъ маленькихъ измѣненій

*) А. Потебня. «Изъ записокъ по русск. грамм.», изд. 2-е, стр. 77.

въ предѣлахъ существующихъ формъ, которыя онъ производитъ или стремится произвести и которыя кажутся ему очень большими, совершаются незамѣтно, по каплямъ, колоссальныя измѣненія самихъ формъ жизни, — измѣненія, результаты которыхъ обнаружатся вѣками. И, въ сравненіи съ этой стихійной работой вѣковъ, его личныя усилія, его излюбленное дѣло представятся микроскопическими: лучше ему не смотрѣть въ даль и не сравнивать.

Другое дѣло умы созерцательные,—тѣ, которые свойственны ученымъ-мыслителямъ и большимъ художникамъ. Ихъ не можетъ удовлетворить міръ конкретнаго, отъ факта они стремятся сейчасъ же перейти къ общей идеѣ, отъ индивидуума къ типу, отъ явленія къ закону. Фактическая дѣйствительность, которая вотъ сейчасъ существуетъ и подлежитъ пользованію, отрицанію, отстаиванію, реформированію, незамѣтно исчезаетъ изъ ихъ кругозора, уступая мѣсто иной «дѣйствительности»,—отвлеченной дѣйствительности общихъ идей и законовъ міра, которая не подлежитъ ни пользованію, ни воздѣйствію. Она подлежитъ только созерцанію. Было бы ошибкою думать, что это созерцаніе непремѣнно есть процессъ холодный, безрадостный, безпечальный. Напротивъ, съ нимъ сопряжены своеобразныя радости и скорби мыслителя, которыя только выигрываютъ отъ того, что онѣ — не личныя, не эгоистичны, что онѣ—міровыя. И безспорно: эти скорби и радости и ихъ взаимныя соотношенія будутъ весьма различны, смотря по тому, *какъ* созерцаетъ тотъ или другой умъ. Если онъ созерцаетъ природу и человѣчество, какъ нѣчто неподвижное, неизмѣнное въ своей основѣ, если вселенная и исторія для него — одна лишь безконечная тавтологія, то его міровая скорбь и міровая радость и ихъ взаимныя соотношенія будутъ не тѣ и не такія, какъ для ума, созерцающаго космосъ въ формѣ зрѣлища вѣчнаго, непрерывнаго развитія, недопускающаго никакой тавтологіи. И мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что первый умъ будетъ склоненъ къ отвлеченному, интеллектуальному *пессимизму*, второй же будетъ скорѣе *оптимистиченъ*. Этимъ я вовсе не хочу сказать, что первый непремѣнно долженъ смотрѣть на все сквозь темныя очки, а второй сквозь розовыя. Я говорю только о предрасположеніи, объ относительномъ сочетаніи радости и скорби мыслителя. Съ тѣмъ вмѣстѣ я предлагаю въ данномъ вопросѣ различать мыслителя и человѣка. Какъ человѣкъ,

Digitized by Google

такой-то можетъ быть въ своей личной жизни или въ качествѣ гражданина даннаго государства или же современника извѣстной эпохи большимъ пессимистомъ и очень мрачно смотрѣть на вещи; но это нисколько не мѣшаетъ ему въ сферѣ отвлеченной мысли и въ большихъ созерцаніяхъ быть мыслителемъ скорѣе жизнерадостнымъ, чѣмъ скорбящимъ. Вотъ именно съ этими оговорками я и нахожу возможнымъ поддерживать свой тезисъ о предрасположенности къ философскому пессимизму тѣхъ умовъ, которымъ несродни или чужда идея развитія, и наоборотъ — о склонности къ философскому оптимизму тѣхъ, для которыхъ она служитъ привычной и удобной формой мышленія. И, если не ошибаюсь, этотъ тезисъ можно было бы подтвердить фактами изъ исторіи философіи и науки. Такъ напр. въ системѣ Шопенгауэра идеѣ развитія нѣтъ мѣста, — и это самая пессимистическая изо всѣхъ системъ. Напротивъ, гегельянизмъ, доктрина эволюціонная («три фазиса»), проникнутъ духомъ бодрой жизнерадостности и оптимизма, и именно этой своей стороною онъ повліялъ такъ могущественно на развитіе историческихъ и экономическихъ ученій, одушевленныхъ животворной вѣрой въ идеалъ и возможность его осуществленія (напр. ученіе Карла Маркса и его дальнѣйшее развитіе — въ соціалъ-демократіи). Вспомнимъ далѣе жизнерадостный оптимизмъ эволюціониста и трансформиста Гете. Вспомнимъ тотъ «духъ живъ», которымъ вѣетъ отъ всей современной науки; едва ли можно оспаривать связь этого «духа» съ эволюціонной точкой зрѣнія, составляющей основу современнаго научнаго мышленія.

Обращаясь къ Тургеневу, мы скажемъ, что ему, какъ напр. и Ренану, идея развитія, конечно, не была недоступна или непонятна, но она не составляла необходимой пружины его мышленія. Въ этомъ отношеніи его большой умъ былъ такъ-же консервативенъ, какъ и блестящій и глубокій умъ Ренана — мыслителя, который, въ качествѣ историка, разумѣется, старался и умѣлъ держаться исторической точки зрѣнія, соблюдать перспективу, вникать въ условія мѣста и времени, а все-таки написалъ лишь прагматическую исторію первыхъ вѣковъ христіанства, и ни одного явленія эпохи (учрежденія, вѣрованія, этическаго начала и пр.) не изслѣдовалъ со стороны его развитія и относительнаго значенія въ эволюціонномъ порядкѣ. «Не такъ нужно писать эти вещи», сказалъ однажды о «Vie de Jésus» покойный А. А. Потебня, для котораго употребленіе граммати-

Digitized by Google

ческихъ формъ въ старыхъ памятникахъ, отличное отъ ихъ роли въ современномъ языкѣ, было указаніемъ и мѣриломъ пройденнаго съ тѣхъ поръ пути въ развитіи способовъ и пріемовъ мышленія. Съ точки зрѣнія настоящей науки, какую мы находимъ въ трудахъ напр. Потебни, историческій трудъ Ренана представляется блестящимъ романомъ, а не наукой.

Если-бы Тургеневъ былъ историкъ,—онъ написалъ бы великолѣпныя историческія сочиненія — въ родѣ ренановскихъ. Онъ былъ бы историкъ-художникъ, не болѣе. Не случайно и другое совпаденіе—благополучно-незлобиваго, грустно-ироническаго пессимизма Ренана съ таковымъ же у Тургенева. И то и другое сходство является результатомъ общности у нихъ основныхъ свойствъ ума, — консервативно-мыслящаго (въ смыслѣ типа и формъ мысли).

Послѣ этихъ замѣчаній мы можемъ обратиться къ разбору отдѣльныхъ мѣстъ въ «Довольно», и прежде всего разсмотримъ знаменитую XV-ю главу.

III.

«Но искусство?... Красота?... Да, это сильныя слова; они, пожалуй, сильнѣе другихъ, мною выше упомянутыхъ словъ (народность, право, свобода, человѣчество). Венера Милосская, пожалуй, несомнѣннѣе римскаго права или принциповъ 89-го года. Мнѣ могутъ возразить... что и сама красота дѣло условное... Но не условность искусства меня смущаетъ; его бренность, опять-таки его бренность, его тлѣнъ и прахъ—вотъ что лишаетъ меня бодрости и вѣры. Искусство, въ данный мигъ, пожалуй сильнѣе самой природы, потому что въ ней нѣтъ ни симфоніи Бетховена, ни картины Рюисдаля, ни поемы Гете, и одни лишь тупые педанты или недобросовѣстные болтуны могутъ еще толковать объ искусствѣ, какъ о подражаніи природѣ; но въ концѣ концовъ природа неотразима: ей спѣшить нечего и рано или поздно она возьметъ свое. Безсознательно и неуклонно покорная законамъ, она не знаетъ искусства, какъ не знаетъ свободы, какъ не знаетъ добра; отъ вѣка движущаяся, отъ вѣка преходящая, она не терпитъ ничего безсмертнаго, ничего неизмѣннаго... Человѣкъ—ея дитя; но человѣческое—искусственное—ей враждебно именно потому, что оно силится быть неизмѣннымъ и безсмертнымъ»... (XV).

Digitized by Google

Остановимся пока на этомъ. Не только стилю и языку, но и самимъ мыслямъ, которыя тутъ выражены, нельзя отказать въ большомъ блескѣ, въ тонкой изящности. Онѣ по своему—также очень глубоки и сдѣлали бы честь настоящему философу. Если хотите, въ нихъ много правды (въ особенности—тамъ, гдѣ говорится объ искусствѣ въ его отношеніяхъ къ природѣ). При всемъ томъ, мыслитель прогрессивно-научнаго типа не подписался бы подъ этими строками Тургенева. Въ нихъ все, даже сама правда, отмѣчено несомнѣнной консервативностью пріемовъ мысли,—я готовъ сказать: архаичностью ея формъ. Начать съ того, что понятія искусства, красоты, природы, которыми орудуетъ здѣсь Тургеневъ, могутъ быть разсматриваемы—какъ прямое наслѣдіе старой миѳологіи, какъ переживанія миѳологическаго способа мышленія. Ибо они, очевидно, отливались въ умѣ Тургенева въ форму какихъ-то объективныхъ, самобытныхъ началъ. Конечно, эти начала уже не мыслились миѳологически, какъ конкретныя существа, одаренныя жизнью, волею, желаніями, а понимались отвлеченно и фиктивно, но вѣдь все-таки эти отвлеченія и фикціи, какъ видно изъ всего отрывка, не выходятъ у Тургенева за предѣлы той категоріи мысли, которою впечатлѣнія отливаются въ форму субстанціи. А между тѣмъ для современной мысли—это не субстанціи, а процессы. Природа—это совокупность извѣстныхъ силъ, искусство—особый процессъ мышленія, красота—ощущеніе, чувство (т. е. опять-таки психическій процессъ). Иначе эти термины и нельзя понимать—подъ опасеніемъ впасть въ скрытую или явную миѳологію. Но—скажутъ—«Довольно» не философскій трактатъ, а поэтическое произведеніе, а въ поэзіи дозволительно прибѣгать къ разнымъ олицетвореніямъ, метафорамъ, даже прямо—миѳологическимъ образамъ. Положимъ. Но дѣло въ томъ, что въ данномъ случаѣ Тургеневъ прибѣгъ къ этимъ метафорамъ не въ качествѣ поэта, а въ качествѣ философа,—и все тѣ-же и такія-же природу, искусство, красоту, въ томъ-же смыслѣ и духѣ, какъ у Тургенева, мы найдемъ у заправскихъ философовъ, въ трактатахъ, ничего общаго съ поэзіей не имѣющихъ.

Приведенная выдержка изъ XV главы «Довольно» принадлежитъ къ области—не поэзіи, а настоящей философіи, но только—той, которая выростаетъ на почвѣ уже отживающихъ нормъ мысли и характеризуется стремленіемъ апперцепировать явленія,

Digitized by Google

сущность которыхъ образуютъ силы, процессы, — категоріею субстанціи. Попробуемъ же въ данномъ случаѣ отдѣлаться отъ этой категоріи и будемъ мыслить соотвѣтственныя явленія—природу, искусство, красоту и проч.—какъ процессы, и такимъ образомъ сдѣлаемъ какъ бы переводъ разбираемаго отрывка съ языка одного типа мысли на языкъ другого. Мы увидимъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ исчезнетъ тотъ духъ унылаго пессимизма, которымъ проникнуты созерцанія Тургенева.

Тургеневъ начинаетъ сопоставленіемъ искусства и красоты съ другими «сильными словами», каковы народность, право, свобода, человѣчество, и находитъ, что въ нѣкоторомъ смыслѣ («пожалуй») искусство и красота могутъ быть поставлены выше послѣднихъ. Попробуемъ однако схватить мыслью самыя явленія, прикрытыя этими терминами. Искусство какъ мы знаемъ, есть извѣстный процессъ мышленія, именно говоря кратко, возникновеніе въ умѣ конкретныхъ образовъ, надѣленныхъ обобщающей силою и служащихъ для апперцепированія различныхъ общечеловѣческихъ идей. Красота – чувство, въ данномъ случаѣ именно то, которое сопутствуетъ процессу художественному, потому что Тургеневъ, очевидно, говоритъ здѣсь не о красотѣ вообще, а спеціально о красотѣ въ искусствѣ. Эта послѣдняя принадлежитъ къ числу чувствъ интеллектуальныхъ и сродни напримѣръ ощущенію красоты въ философскихъ построеніяхъ и научныхъ открытіяхъ. И такъ, говоря «искусство», «красота», мы находимся въ сферѣ умственныхъ процессовъ, въ области чистой мысли, и спеціально—въ ея художественномъ отдѣлѣ (въ противоположность научному и философскому). Вотъ то явленіе, съ которымъ мы имѣемъ дѣло, и оно—процессъ, а не субстанція. Тургеневъ находитъ, что этотъ процессъ «несомнѣннѣе» другихъ, обозначаемыхъ словами народность, право и т. д., но скорбитъ о томъ, что даже онъ—при всей своей «несомнѣнности»—все-таки «тлѣнъ и прахъ». Замѣтимъ мимоходомъ, что «тлѣнъ и прахъ» процесса, да еще умственнаго,—само по себѣ есть явленіе прискорбное, и однако же фраза звучитъ не такъ «жалостно», какъ «тлѣнъ и прахъ красоты, искусства». Не оттого ли это, что разъ мы мыслимъ процессами, а не субстанціями, въ насъ сказывается скрытая увѣренность въ неприложимости сюда понятія «тлѣна и праха»: процессъ не живетъ, а развивается, не умираетъ, а переходитъ на высшую ступень. Но объ этомъ—

Digitized by Google

ниже, а теперь посмотримъ, въ какомъ смыслѣ процессъ художественный можетъ быть признанъ «несомнѣннѣе» другихъ. Эти другіе суть слѣдующіе:

1) Народность. Это «сильное слово» взято здѣсь, конечно, не въ смыслѣ этнографическаго термина, а какъ лозунгъ, знаменующій извѣстныя стремленія и движенія націоналистическаго и демократическаго характера, напримѣръ: въ Италіи въ эпоху борьбы за освобожденіе и объединеніе, у славянскихъ народовъ въ эпоху ихъ возрожденія и т. д. Явленіе, которое имѣется здѣсь въ виду, опять-таки принадлежитъ къ числу психическихъ процессовъ,—и очень сложныхъ, общественнаго (соціальнаго) порядка, т. е. неограниченныхъ умственною сферою, а совмѣщающихъ въ себѣ разнообразныя чувства, страсти и волевыя движенія.

2) Право. Тургеневъ, конечно, имѣлъ въ виду не положительное законодательство и вообще юридическія отношенія въ ихъ statu quo, а прогрессивныя теченія въ развитіи правовыхъ нормъ, успѣхи гуманности въ этой сферѣ междучеловѣческихъ отношеній, равенство передъ закономъ, идеалъ въ правѣ. Это опять-таки особый порядокъ сложныхъ психическихъ процессовъ, захватывающихъ и мысль, и чувства, и нѣкоторыя страсти, и волю.

3) Свобода. Дѣло идетъ объ идеалѣ политической свободы. Но изъ подъ слова нужно извлечь самое явленіе, и если мы его извлечемъ, то по образцу предыдущихъ, опредѣлимъ, какъ извѣстный психическій процессъ: вѣдь это желанія, стремленія, понятія, страсти, волевые акты.

4) То же самое мы скажемъ и о человѣчествѣ: это—общечеловѣческій идеалъ, не только какъ головная идея, а какъ совокупность стремленій провести въ разныя сферы жизни начала гуманности,—стало быть аналогичныя предыдущимъ мысли, чувства, страсти, волевые акты.

Всѣ эти процессы, въ противоположность художественному («искусство», «красота»), выходятъ далеко за предѣлы умственной сферы и на $^3/_4$ принадлежатъ тому, что можно назвать психической жизнью, т. е. дѣятельности чувствъ, страстей и воли. Процессъ художественный, какъ и научно-философскій, наоборотъ, есть процессъ по преимуществу интеллектуальный; само чувство красоты, ему сопутствующее, есть чувство умственное, воля-же играетъ въ немъ роль совершенно подчиненную. Иначе

Digitized by Google

это можно выразить такъ: процессъ художественный (вмѣстѣ съ научно-философскимъ) принадлежитъ къ отвлеченной половинѣ психики,—всѣ прочіе, вышепоименованные, относятся къ ея конкретной половинѣ. Теперь допустимъ, вслѣдъ за Тургененымъ, что есть какая-то надобность спрашивать: что «несомнѣннѣе»,—процессъ-ли художественныхъ отвлеченій, или—конкретный міръ чувствъ, страстей, волевыхъ актовъ? Допустивъ это и сопоставивъ ихъ съ точки зрѣнія «несомнѣнности», какъ выражается Тургеневъ, мы готовы будемъ согласиться, что «Венера Милосская несомнѣннѣе римскаго права и принциповъ 89-го года»: римское право уже сыграло свою историческую роль (соотвѣтственные психическіе процессы уже завершились, и эволюція права идетъ дальше), а тѣ процессы, которые подразумѣваются подъ техническимъ терминомъ «89-й годъ», частью оказались недостаточными, частью несостоятельными, и соотвѣтственное движеніе должно итти дальше,—между тѣмъ какъ художественный актъ, давшій бытіе статуѣ Венеры Милосской, дѣйствуетъ и сейчасъ и долго еще,—можетъ быть, всегда будетъ дѣйствовать, т. е. развертываться въ душѣ всякаго могущаго понимать художественный идеалъ этого произведенія и испытывать, воспринимая его, то, что неправильно называется «эстетическимъ наслажденіемъ». Вотъ и все. Но что-же изъ этого слѣдуетъ?

А вотъ что. Пиѳагорова теорема, которая еще древнѣе статуи Венеры Милосской, должна быть признана «несомнѣннѣе» не только римскаго права и принциповъ 89-го года, но, можетъ быть,—и самой Венеры Милосской. Римское право проходитъ,—Пиѳагорова теорема остается; принципы 89-го года пройдутъ и замѣнятся другими, высшими (уже теперь замѣняются), а Пиѳагорова теорема все будетъ существовать. Захирѣютъ однѣ народности, возродятся другія, осуществится, наконецъ, идеалъ международнаго права и т. д., послѣ чего движеніе пойдетъ еще дальше въ направленіи идеаловъ человѣчности, — а Пиѳагорова теорема все будетъ существовать.

Извѣстныя явленія отвлеченной мысли (какъ напр., Пиѳагорова теорема, Венера Милосская *) именно существуютъ,

---

*) Напомню еще разъ, что художественные образы, при всей своей конкретности, всегда являются обобщающими и служатъ для апперцепціи общихъ идей,—иначе они не художественны. Они суть поэтому продукты отвлеченной мысли,—только орудующей образами.

Digitized by Google

торжествуя надъ условіями мѣста и времени. Явленія конкретной сферы духа,—психической жизни—всегда ограничены мѣстомъ и временемъ и отмѣчены характеромъ условности и относительности.—Если данный процессъ отвлеченной мысли (научной, философской, художественной) принадлежалъ геніальной головѣ, то онъ будетъ существовать долго, вѣка, можетъ быть, всегда. Такъ до сихъ поръ существуютъ Пиѳагорова теорема, Архимедовъ законъ, нѣкоторыя истинно-художественныя страницы Гомера, драмы Софокла и проч.

Вотъ именно къ этой-то особенности (большей или меньшей долговѣчности, иногда—вѣчности) процессовъ или продуктовъ отвлеченной мысли я и свожу то, что Тургеневъ называетъ «несомнѣнностью».

Міръ отвлеченій (философскихъ идей, законовъ природы—въ наукѣ, общихъ идей и обобщающихъ образовъ—въ искусствѣ)—это особаго рода «дѣйствительность», существующая только въ разумѣ человѣческомъ, и сравнивая ее съ такъ называемою реальною дѣйствительностью, съ міромъ конкретнаго въ природѣ и психикѣ, мы скажемъ такъ:

Міръ отвлеченій—это именно то, по выраженію Тургенева, «человѣческое, искусственное, которое силится быть неизмѣннымъ и вѣчнымъ» и — добавимъ мы — нерѣдко таковымъ и является.

Міръ конкретнаго въ природѣ и въ психикѣ—это постоянное чередованіе фактовъ, это—смѣна мгновеній, это—(становясь на точку зрѣнія и впадая въ тонъ Тургеневскихъ созерцаній) — именно та страшная, всепожирающая «Природа», о которой нашъ художникъ говоритъ: «..... все, что существуетъ въ ея лонѣ, возникло только на счетъ другого и должно въ свое время уступить мѣсто другому — она создаетъ, разрушая, и ей все равно: лишь-бы не переводилась жизнь, лишь-бы смерть не теряла правъ своихъ .....».

Факты, существа, индивидуумы, чувства, страсти, волевые акты и та комбинація душевныхъ элементовъ, которая называется «личностью», «я»,—все это конкретно и проходитъ, живетъ и умираетъ, все это есть именно — «отъ вѣка движущееся, отъ вѣка преходящее .....». Но оба міра не стоятъ и не топчатся на одномъ мѣстѣ, а движутся—подчиняясь закону развитія. Конкретное вѣками и тысячелѣтіями мѣняетъ свои формы, свою

Digitized by Google

организацію, самый «образъ» жизни и смерти,—самый характеръ своей эфемерности.

Отвлеченное не только развивается въ направленіи большей содержательности и изощренности мысли, но радикально измѣняетъ характеръ или духъ своей дѣятельности, — переходитъ на другой путь или вступаетъ въ другой фазисъ: говоря грамматически, оно идетъ отъ имени къ глаголу *). Многія впечатлѣнія, которыя прежде апперцепировались формою субстанціи, теперь уже отливаются въ форму силы, дѣйствія процесса. Въ сферѣ, гдѣ мысль достигла высшей, пока доступной, стадіи развитія, именно въ области физико-математическаго мышленія, умственная категорія субстанціи уже замѣнилась категоріей дѣйствія: понятіе матеріи разложилось на понятіе силъ,— отъ матеріи остались только гипотетическіе атомы или точки приложенія силы. Какой огромный шагъ сдѣланъ умомъ человѣческимъ отъ той поры, когда древніе мыслители Эллады впервые пытались овладѣть понятіями стихіи, матеріи, духа, силы и не умѣли мыслить ихъ иначе, какъ въ формѣ гилозоистической, столь близкой къ мифу! И это только начало пути: разумъ человѣческій—можно сказать — только-что вступаетъ во второй фазисъ своего развитія, и ему предстоятъ еще тысячелѣтія дальнѣйшей эволюціи, о которой мы и понятія себѣ составить не можемъ. Съ этой точки зрѣнія, человѣчество еще очень юно: что̀ значитъ нѣсколько тысячелѣтій исторической жизни и цивилизаціи? Этотъ срокъ такъ малъ, что даже передовыя націи до сихъ поръ еще не успѣли выйти—въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ или сторонахъ жизни—изъ состоянія варварства и архаичности. До сихъ поръ еще неизбѣжны войны между народами, борьба между классами.

Если созерцающій умъ станетъ на эту, вполнѣ законную, полнѣ возможную точку зрѣнія, т. е. будетъ понимать при-

---

*) Глубокія наблюденія надъ строемъ предложенія въ разныя эпохи языка и надъ синтаксической эволюціей частей рѣчи привели Потебню къ поистинѣ-великому открытію, сущность котораго формулируется такъ: 1) предложеніе, т. е. процессъ мышленія, не остается неподвижнымъ, но измѣняется вѣками; 2) оно измѣняется въ направленіи отъ именной конструкціи къ глагольной, т. е. человѣчество отъ мышленія субстанціями переходитъ къ мышленію категоріей дѣйствія, силы; 3) въ этомъ процессѣ осуществляется «устраненіе, въ языкѣ и мысли, субстанцій, ставшихъ мнимыми».

Digitized by Google

роду, психику, красоту, право и т. д. какъ процессы, а не субстанціи, хотя бы и фиктивныя, и будетъ мыслить ихъ въ развитіи а не какъ нѣчто неподвижное, — то его созерцанія будутъ уже иныя, и самъ онъ окажется во власти другого рода интеллектуальныхъ чувствъ, — совсѣмъ другого настроенія. Передъ нимъ откроется грандіозное зрѣлище движенія, уносящее мысль въ далекое невѣдомое будущее, которое не можетъ быть повтореніемъ настоящаго или прошлаго, а картина прошлаго, въ свою очередь, развернется во всемъ своеобразіи своихъ отжившихъ формъ, исполненная глубокаго интереса. Только при такомъ укладѣ мысли и возможны плодотворныя историческія изученія: иначе,—если человѣчество только и дѣлаетъ, что повторяется, оставаясь въ своемъ существѣ неизмѣннымъ, какой смыслъ изучать прошлое, возстановлять формы жизни прошедшихъ вѣковъ, интересоваться душевнымъ складомъ людей далекой древности? Всѣ эти изученія и изслѣдованія были бы совершенно праздным времяпрепровожденіемъ, предметомъ скучающаго любопытства,— и въ наше занятое, торопливое, тревожное время немыслимо было бы возникновеніе и необычайный ростъ науки исторіи, исторической и доисторической археологіи, древностей права и религіи, науки сравнительнаго языкознанія и миѳологіи, успѣхи которыхъ, наряду съ естествознаніемъ, составляютъ характерную особенность умственной жизни современнаго человѣчества. Въ наше время даже умы, непривыкшіе философски мыслить, умы фактическаго знанія, неумѣющіе и не желающіе отходить на извѣстное разстояніе отъ факта, — и тѣ какъ бы инстинктивно чувствуютъ, что напр. иная страница древняго текста, или орудіе каменнаго вѣка, или какое-нибудь старинное вѣрованіе исполнены глубокаго интереса именно потому, что они — выходцы изъ другого міра, документы иного человѣчества, погребеннаго въ глубокихъ пластахъ эволюціи, изученіе котораго въ высокой степени важно для правильной постановки великой проблемы о томъ, что такое человѣчество, откуда оно пришло, куда и какъ идетъ.

Безъ того уклада мысли и созерцаній, о которомъ я говорю невозможна была бы также, вмѣстѣ съ перспективою прошлаго, и перспектива будущаго,—построеніе идеала, стремленіе къ нему. И въ самомъ дѣлѣ: если исторія есть тавтологія, если человѣчеству суждено мѣнять только внѣшность, оставаясь въ существѣ неизмѣннымъ, то—какой смыслъ интересоваться будущимъ, которое будетъ только повтореніемъ настоящаго,—какой смыслъ—

Digitized by Google

лелѣять эфемерный, не имѣющій почвы идеалъ? Другое дѣло,— если ничто не повторяется, если неуклонно и непрерывно происходятъ измѣненія, долго нечувствительныя, но въ концѣ концовъ, силою накопленія, приводящія къ радикальной метаморфозѣ вещей, умовъ, натуръ: при такомъ воззрѣніи открывается возможность прослѣдить путь измѣненій и на основаніи намѣченныхъ слѣдовъ уловить общій духъ будущаго,—намѣтить идеалъ для настоящаго.

Не трудно видѣть, что настроеніе мыслителя, съ этой точки зрѣнія созерцающаго природу и человѣчество, не можетъ быть такимъ безотраднымъ, меланхолическимъ, пессимистическимъ, какое мы находимъ у мыслителей, видящихъ одну лишь тавтологію. Послѣдніе, какъ Тургеневъ въ «Довольно», скучающимъ взоромъ обозрѣваютъ вселенную, представляющуюся имъ въ видѣ неподвижной, однообразной и грозной стихіи, передъ которою такъ ничтожна личность человѣческая и такъ безсильны творческія стремленія генія, такъ неосновательны его притязанія на безсмертіе, на увѣковѣченіе его вдохновеній, его труда. Такой мыслитель охотно повторитъ глубоко-прочувствованныя слова Тургенева: «гдѣ-же намъ, бѣднымъ людямъ, сладить съ этой глухонѣмой, слѣпо-рожденной силой, которая даже не торжествуетъ своихъ побѣдъ, а идетъ, идетъ впередъ, все пожирая, какъ устоять противъ этихъ тяжелыхъ, грубыхъ, безконечно и безустанно надвигающихся волнъ?..» (XV).

Но подобныя чувства не придутъ смущать философскую ясность духа мыслителя, для котораго все ново, ничто не повторяется, который бодрымъ взоромъ, съ все-возрастающимъ интересомъ созерцаетъ вселенную. Природа не явится ему въ видѣ какого-то всепожирающаго Молоха, и между нею и личностью человѣческой онъ не усмотритъ того антагонизма, о которомъ говоритъ Тургеневъ. Передъ нимъ вселенная разстилается не какъ бездушная, пугающая стихія, а какъ процессъ дѣйствія великихъ силъ, созидающихъ все новыя формы существованія,— процессъ, въ каждомъ моментѣ котораго незримо и таинственно novus nascitur ordo. И сама личность съ ея самосознаніемъ есть только одна изъ этихъ формъ,—это novus ordo, новый порядокъ явленій, который, въ свой чередъ, возникъ и развивается въ вѣкахъ,—какъ особая метаморфоза силы. И какъ можно говорить о ничтожествѣ, о безсиліи личности, когда она является носительницею начала, котораго до нея въ природѣ не было—

Digitized by Google

начала отвлеченія. Въ ряду міровыхъ процессовъ, отвлеченная творческая мысль представляется однимъ изъ самыхъ таинственныхъ и грандіозныхъ проявленій силы...

IV.

И нѣтъ сомнѣнія, среди этихъ созерцаній не будетъ мѣста тѣмъ страхамъ и скорбямъ, которыми такъ замѣтно окрашено безотрадное міровоззрѣніе Тургенева.

Эта окраска тѣсно связана съ консервативностью мысли нашего художника.

Консервативность мысли опредѣляется, какъ мы знаемъ, стремленіемъ—по прежнему — отливать впечатлѣнія въ форму субстанціи. Отправной точкою міровоззрѣнія, скрытымъ источникомъ, откуда исходятъ волны идей, служитъ упорное сознаваніе своего я, какъ субстанціи или даже какъ существа,—и оно, это я, тяготѣетъ надъ мыслью всѣмъ гнетомъ своей бренности, мимолетности, всѣми скорбями своего существованія, всѣми ужасами смерти, которой оно подлежитъ. Это—укладъ мысли и настроеніе духа діаметрально-противоположные тому, которое мы только-что старались воспроизвести и для котораго и личность—не субстанція, а одинъ изъ сложнѣйшихъ процессовъ и комбинацій силъ,—точка зрѣнія, таящая въ себѣ возможность иной постановки вопроса о смерти,—возможность устраненія ея страха.

Отъ личности та-же—субстанціальная—форма апперцепціи переносится и на другія впечатлѣнія и ихъ комплексы и вмѣстѣ съ нею переходятъ къ нимъ и всѣ скорби и страхи личности. Такъ, ощущенія красоты, полученныя отъ разнообразныхъ воздѣйствій, природныхъ и искусственныхъ, обобщаются въ субстанцію или начало красоты, которому приписывается объективное бытіе съ тою наивностью, съ какою мы въ нашемъ повседневномъ, практическомъ мышленіи приписываемъ бѣлый цвѣтъ камню, голубой—небу и т. д. Такъ понятая красота,—представляется началомъ, которое—при всѣхъ своихъ правахъ на вѣчность—отличается особливой бренностью и мгновенностью *). Оттуда—тотъ меланхолическій тонъ, въ которомъ развиваются эти мысли,

*) «...Одно преходящее прекрасно... Красотѣ не нужно безконечно жить, чтобы быть вѣчной—ей довольно одного мгновенья»... (гл. XVI).

Digitized by Google

и здѣсь-то грозный призракъ смерти выступаетъ въ воображеніи поэта-мыслителя съ особливой яркостью. А между тѣмъ, если перевести понятіе о красотѣ въ другую полосу мысли и взглянуть на нее, какъ на субъективный процессъ, а не объективное начало, то выйдетъ какъ-разъ наоборотъ: окажется, что «красота» принадлежитъ къ числу наиболѣе «живучихъ» явленій, что ей предстоитъ великое будущее, что она развивается, а не идетъ на убыль. Это въ особенности ясно по отношенію къ красотѣ въ природѣ: умѣніе находить природу прекрасною, любоваться ею, наслаждаться зрѣлищемъ горъ, моря, неба и т. д., безъ всякой утилитарной мысли, это—психическое явленіе сравнительно новое. Древніе или совсѣмъ его не знали, или знали лишь въ очень слабой степени. Недаромъ описанія картинъ природы почти неизвѣстны въ древнихъ памятникахъ, и пейзажъ несвойственъ древнему искусству. Чѣмъ дальше въ глубь древности, тѣмъ болѣе чувство красоты является условнымъ и въ то же время связаннымъ съ утилитарной точкой зрѣнія. Отъ узъ условности и утилитарности далеко не было свободно и чувство красоты человѣческаго тѣла, столь развитое у древнихъ грековъ. Прогрессъ въ сферѣ чувства красоты именно и сводится къ освобожденію отъ этихъ узъ,—и въ будущемъ можно прозрѣвать необычайное развитіе этого душевнаго явленія въ направленіи совершенной свободы отъ всѣхъ условій, отъ всѣхъ—скрытыхъ или явныхъ—соображеній пользы, удобства, выгоды и т. д. Въ сферѣ природы и искусства это уже достигнуто, — очередь теперь за другими сферами, — придетъ время, когда грандіозное чувство красоты будетъ связано съ научными и философскими созерцаніями, пока доступными лишь немногимъ.

Для мыслителя того типа, къ которому принадлежитъ Тургеневъ, само искусство, да и другія сферы творчества, рисуются не столько со стороны творческой работы генія, сколько со стороны ея продуктовъ. Мысль, привыкшая орудовать формами субстанціи, существа, вещи, прежде всего устремляется къ продукту, произведенію, оставляя въ сторонѣ самый процессъ, давшій ему бытіе. А такъ какъ продукты легко подвергаются разрушительному дѣйствію силъ природы, а также нерѣдко гибнутъ отъ рукъ человѣческихъ, то оттуда получается выводъ о «тлѣнѣ и прахѣ» произведеній искусства *). Для мыслителя иного типа такой вы-

*) „Но не условность искусства меня смущаетъ; его бренность опять-таки его бренность, его тлѣнъ и прахъ—вотъ что лишаетъ меня бодро-

Digitized by Google

водъ невозможенъ. Разъ имъ усвоена привычка мыслить процессами, а не субстанціями, для него въ искусствѣ (да и въ другихъ сферахъ умственной дѣятельности) на первый планъ выступаетъ не само произведеніе, а процессъ творчества. Его смутитъ не гибель того или другого произведенія, а болѣе или менѣе продолжительное прекращеніе традиціи творчества, преемственности мысли (какъ это случилось съ греко-римскою культурою въ эпоху средневѣковаго варварства), а еще болѣе—совершенное изсякновеніе или оскудѣніе мысли у народовъ вырождающихся. Это, конечно, явленіе въ высшей степени прискорбное, но для эволюціониста оно, какъ и другія, ему подобныя, не можетъ служить основаніемъ для пессимистическихъ взглядовъ въ родѣ тѣхъ, какіе развиваетъ Тургеневъ. Онъ отлично знаетъ, что эволюція вообще и прогрессъ въ частности—это тяжелая работа вѣковъ, сопряженная со всякими бѣдствіями, страданіями, борьбою, гибелью, и что въ этомъ трудномъ процессѣ все сложное, высшее, лучшее легче и скорѣе портится и гибнетъ, чѣмъ явленія сравнительно простыя, несложныя, первичныя. Съ этимъ нужно помириться,—тѣмъ болѣе, что относительная бренность творческихъ процессовъ мысли сторицею искупается ихъ силою, интенсивностью, содержательностью и удивительной способностью дѣйствовать на разстояніи вѣковъ. Есть-ли въ самомъ дѣлѣ возможность говорить о «тлѣнѣ и прахѣ» тѣхъ творческихъ процессовъ, которые нѣкогда развертывались въ геніальныхъ головахъ Эсхила, Софокла, Демокрита, Аристотеля, Эпикура и т. д., когда по прошествіи длиннаго ряда вѣковъ, въ наше столь богатое умственнымъ творчествомъ время, эти процессы все еще оказываются въ томъ или другомъ смыслѣ живыми и дѣйствующими. Художественная сила, нѣкогда работавшая въ головѣ Эсхила или Софокла, дѣйствуетъ и сейчасъ, не упраздненная даже Шекспировскимъ творчествомъ. Философская работа античныхъ мыслителей, конечно, устарѣла въ своихъ пріемахъ и результатахъ, но все-таки она сохраняетъ не одинъ только историческій интересъ; она еще способна дѣйствовать на нашу мысль возбуждающимъ и вдохновляющимъ об-

---

сти и вѣры... Она (природа) также спокойно покрываетъ плѣсенью божественный ликъ фидіасовскаго Юпитера, какъ и простой голышъ, и отдаетъ на съѣденіе презрѣнной моли драгоцѣннѣйшія строки Софокла. Люди, правда, ревностно помогаютъ ей въ ея истребительной работѣ; но развѣ не та-же стихійная сила, не сила природы сказалась въ палицѣ варвара безсмысленно дробившаго лучезарное чело Аполлона...“ и т. д. (гл. XV).

Digitized by Google

разомъ. Такова сила и таково значеніе генія: въ нѣкоторомъ смыслѣ онъ торжествуетъ надъ самой эволюціей, являясь не столько ея продуктомъ, сколько одною изъ движущихъ силъ ея.

При умонастроеніи, соотвѣтствующемъ этой точкѣ зрѣнія, становятся психологически-невозможными напримѣръ слѣдующія слова Тургенева: «.... ему (человѣку) одному дано творить.... но странно и страшно вымолвить: мы творцы на часъ, какъ былъ, говорятъ, калифъ на часъ. Въ этомъ наше преимущество и—наше проклятіе: каждый изъ этихъ творцовъ самъ по себѣ именно онъ, никто другой, именно это я, словно созданъ съ преднамѣреніемъ, съ предначертаніемъ; каждый болѣе или менѣе смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что онъ сродни чему-то высшему, вѣчному—и живетъ, долженъ жить въ мгновеніи и для мгновенья....» (гл. XVI).

Въ этихъ словахъ даетъ себя чувствовать дѣйствіе двухъ душевныхъ пружинъ: во-первыхъ, мысли о бренности и мгновенности человѣческаго творчества, которая, какъ мы только что видѣли, оказывается далеко не вѣрною и во всякомъ случаѣ не столь безотрадною, и во-вторыхъ,—страха смерти, именно смерти индивидуальной, личной.

Этотъ послѣдній мотивъ представляетъ для насъ большой интересъ—въ видѣ той роли, какую онъ играетъ въ системѣ идей, нами разсматриваемыхъ,—того значенія, какое ему принадлежитъ въ качествѣ характернаго элемента, придающаго своеобразную окраску цѣлому міросозерцанію.

V.

Присущая всему живому—по крайней мѣрѣ животному—привязанность къ жизни и инстинктивный страхъ смерти подвергаются въ мірѣ человѣческомъ коренному измѣненію и осложненію. Измѣняющимъ и осложняющимъ началомъ являются, во-1-хъ, возникновеніе и развитіе личности и, во-2-хъ, весь аппаратъ понятій, относящихся къ жизни и смерти.

Развитіе личности, повидимому, влечетъ за собою усиленіе страха смерти. Въ животномъ царствѣ, гдѣ личности нѣтъ, а есть только особи, едва-ли существуетъ это чувство въ томъ видѣ или смыслѣ, въ какомъ оно свойственно человѣку. Животное молчаливо признаетъ власть смерти надъ собою, покорно подчиняется этому роковому закону и умираетъ безропотно—

Digitized by Google

точно отправляя послѣднюю функцію жизни, состоящую въ забастованіи ея процессовъ. Человѣчество уже въ глубочайшей древности протестовало противъ смерти, и всѣ религіи были яркимъ выраженіемъ этого протеста. Сущность послѣдняго, при всемъ разнообразіи религіозныхъ и миѳологическихъ представленій у разныхъ народовъ и въ разные періоды, оставалась одна и та-же и сводилась къ тому, что съ наивностью, свойственной архаическому мышленію, смерть просто-на-просто отрицалась. Человѣкъ не могъ и не хотѣлъ допустить абсолютнаго небытія, полнаго уничтоженія своей личности, и былъ убѣжденъ въ продолженіи жизни за гробомъ. Такимъ образомъ, смерти совсѣмъ не было, а была только жизнь, дѣлившаяся на двѣ неровныя части: до гроба и за гробомъ. Такой взглядъ въ значительной степени парализовалъ животный страхъ смерти, во всякомъ случаѣ это былъ уже страхъ не смерти, а—новой жизни, да и тотъ подвергался большимъ колебаніямъ и измѣненіямъ, смотря по тому, въ какомъ видѣ рисовалась загробная жизнь. Въ большинствѣ случаевъ боялись не самаго факта,—перехода отъ одной жизни къ другой, а—возможности попасть за гробомъ въ плохія условія существованія.

Чтобы уяснить себѣ этотъ сортъ «страха смерти», нужно вспомнить, что въ томъ фазисѣ развитія, который мы имѣемъ въ виду, не было того, что обозначается терминомъ «индивидуализмъ»: личность была тѣсно связана съ группою (родомъ, общиной, государствомъ, племенемъ), и существованіе внѣ этихъ связей съ цѣлымъ казалось, если не психологической невозможностью, то по крайней мѣрѣ величайшимъ бѣдствіемъ. Личность не была самостоятельнымъ цѣлымъ: она была частью, органомъ другого, коллективнаго, цѣлаго. Поэтому и жизнь за гробомъ представлялась благополучною и счастливою только при томъ условіи, если связь съ цѣлымъ будетъ сохранена нерушимою. Это достигалось культомъ душъ умершихъ. И, умирая, человѣкъ боялся не уничтоженія, котораго не признавалъ, и даже не перехода въ новую форму существованія, а только того, какъ-бы группа, часть которой онъ составлялъ при жизни, не перестала совершать необходимый культъ его душѣ.

Мысли и чувства, съ которыми человѣкъ умиралъ, были въ сравненіи съ нашими—совсѣмъ другого порядка. Для наглядности и приблизительно—можно было-бы сравнить ихъ съ тѣми, которыя овладѣваютъ душой современнаго человѣка, когда онъ, въ

Digitized by Google

силу необходимости, переселяется, напримѣръ, изъ Европы въ Америку, сохраняя связи съ семьей и получая отъ нея средства существованія.

Но переселеніе на тотъ свѣтъ, конечно, не обходилось безъ тѣхъ особыхъ сопутствующихъ чувствъ, которыя вызывались представленіемъ окоченѣлаго или гніющаго трупа и вообще всей обстановки смерти. Эти чувства однако-же находились въ прямой зависимости не отъ самихъ объектовъ, ихъ внушающихъ, а отъ формы ихъ апперцепціи, отъ способа ихъ изображенія въ мысли. Страшный образъ всегда страшнѣе факта. Боязнь, внушаемая фактомъ, усугубляется, если этотъ фактъ апперцепируется образомъ, который самъ по себѣ страшенъ, и наоборотъ, онъ теряетъ добрую долю своего пугающаго значенія, если ему сопутствуютъ образы, неспособные пугать.

Теперь спрашивается: почему собственно образъ былъ страшенъ,—какое свойство дѣлало его пугающимъ воображеніе?

Было-бы ошибочно думать, что чувство страха находилось въ прямой зависимости отъ того, что такой-то образъ (напр. смерти) былъ снабженъ извѣстными «страшными» аттрибутами. Скорѣе наоборотъ: страшные аттрибуты сами явились результатомъ того чувства, которое внушалось даннымъ образомъ,—какъ извѣстною формою мысли. Человѣкъ долженъ былъ сначала испугаться, а потомъ уже выразить свой испугъ—помощью «страшныхъ» признаковъ, которыми онъ и снабдилъ данный образъ. Испугался же онъ потому собственно, что способъ пониманія даннаго явленія былъ у него такой, который совершенно резонно и послѣдовательно приводилъ къ психологической необходимости бояться. Дѣло въ томъ, что явленіе,—все равно какое: хорошее или дурное, полезное или вредное, пріятное или отвратительное,—апперцепировалось въ формѣ живого миѳическаго существа, одареннаго волею и сверхчеловѣческою силою. Такъ понимались смерть, болѣзни, любовь, гнѣвъ, голодъ, буря, свѣтъ, огонь и все, что угодно. Само по себѣ явленіе могло быть хорошее, пріятное, полезное, но разъ оно понималось, какъ живое существо, одаренное волею и могучею силою, то его нужно было бояться, его приходилось ублажать, умилостивлять: иначе оно могло разсердиться и причинить человѣку вредъ. Въ этомъ смыслѣ всѣ образы были пугающими, грозными, и напр. любовь, счастье, радость были стояь-же опасны и страшны, какъ и смерть, болѣзнь, гнѣвъ и пр. Человѣкъ прежде всего и больше всего

Digitized by Google

боялся чужой воли и силы,—и устрашающіе аттрибуты явились уже какъ результатъ этой боязни.

Поскольку древніе мыслили миѳологически, постольку они вѣчно были во власти разныхъ опасеній и страховъ. Оттуда—въ древнихъ религіяхъ огромное значеніе культа, какъ средства ублажить «явленіе» и тѣмъ избавиться отъ грозящей съ его стороны опасности и освободиться отъ страха.

Изъ всего вышесказаннаго не трудно сдѣлать выводъ, что чувство страха должно было итти на убыль вмѣстѣ съ постепеннымъ устраненіемъ въ мысли образовъ чисто-миѳологическихъ, т. е. по мѣрѣ того, какъ исчезало въ этихъ образахъ представленіе волевого начала и сверхчеловѣческой сознательной силы. Иначе говоря: страхъ уменьшался или совсѣмъ исчезалъ—когда въ сознаніи на мѣсто миѳологическаго дѣятеля вступала его замѣна и метаморфоза—безжизненная субстанція, конкретная или отвлеченная. Но нѣкоторая тѣнь прежнихъ страховъ все еще сохраняется, именно потому, что «субстанція» (грамматически—имя существительное) есть непосредственная преемница «миѳологическаго дѣятеля» и таитъ въ себѣ—замаскированныя, стертыя, поблекшія—черты послѣдняго.

Итакъ, смерть была нѣкогда страшна потому собственно, что это было миѳическое существо, одаренное своею волею и громадной, сверхчеловѣческою силою. Съ теченіемъ времени такая концепція отжила свой вѣкъ и перешла въ форму субстанціи, мыслившейся сперва, какъ родъ конкретнаго существа, только безъ воли и сознанія, а потомъ въ видѣ отвлеченнаго понятія. По мѣрѣ этихъ превращеній, страхъ идетъ на убыль — и, наконецъ, совершенно исчезаетъ, когда явленіе смерти перестаетъ отливаться въ форму какой-бы то ни было субстанціи и переносится въ другую сферу мышленія—«глаголомъ», становится понятіемъ извѣстнаго процесса. До сихъ поръ чувствуется, что выраженіе «смерть пришла къ нему» звучитъ страшнѣе, чѣмъ выраженіе «онъ умираетъ».

«Смерть пришла»—это формула, въ которой дремлетъ старый миѳъ. Его можно—въ нѣкоторомъ смыслѣ—пробудить, и вмѣстѣ съ нимъ проснутся, опять-таки въ извѣстной мѣрѣ, давно забытые страхи.

Художественный опытъ такого пробужденія миѳа смерти и ея страха сдѣланъ Тургеневымъ въ «Призракахъ».

«Онъ умираетъ»—это формула, въ которой уже нѣтъ

Digitized by Google

и слѣдовъ миѳа. Превращенная въ художественную картину, она не пробудитъ прежнихъ страховъ, нѣкогда ассоціированныхъ съ миѳомъ. Во всемірной литературѣ смерть Базарова есть одно изъ геніальнѣйшихъ воспроизведеній смерти,—и оно не вызываетъ никакого ужаса, ибо оно есть художественное развитіе формулы «онъ умираетъ».

Разсмотримъ же и сравнимъ эти двѣ картины или формы художественной апперцепціи смерти, «Призраки» и «Смерть Базарова».

Но сперва сдѣлаемъ слѣдующій выводъ изъ вышеизложенныхъ соображеній:

Въ старину, когда личность была поглощена цѣлымъ (родомъ, общиной, государствомъ, религіознымъ союзомъ), когда не было того ея развитія, которое называется «индивидуализмомъ», а умы вращались въ предѣлахъ и формахъ миѳологическаго мышленія,—тогда «страхъ смерти» не былъ еще страхомъ уничтоженія, а былъ только боязнью перемѣны образа жизни,—переселенія, опасеніемъ потерять связь съ цѣлымъ,—и въ этомъ смыслѣ можно сказать, что древніе меньше боялись смерти, чѣмъ мы.

Съ ростомъ индивидуализма, съ развитіемъ и осложненіемъ личной жизни и перемѣною взглядовъ на загробную участь—растетъ страхъ смерти, превращаясь въ настоящій ужасъ передъ пропастью небытья, передъ перспективою уничтоженія личности. Но параллельно этому развитію чувства, внушаемаго явленіемъ смерти, идетъ противоположное движеніе: съ переходомъ мысли отъ миѳа къ высшимъ нормамъ исчезаетъ страхъ передъ смертью, какъ существомъ, одареннымъ волею и сверхчеловѣческою мощью,—и съ этой стороны страхъ смерти идетъ на убыль.

VI.

«Призраки»—это чрезвычайно-любопытная, въ психологическомъ отношеніи, попытка дать художественное выраженіе тому страху или даже ужасу смерти, который характеристиченъ именно для современнаго человѣка.

Современный человѣкъ боится смерти именно потому, что для него смерть это — безусловное прекращеніе земной жизни. При этомъ разница не велика, раздѣляетъ-ли онъ христіанскій догматъ безсмертія души или нѣтъ, ибо этотъ догматъ не допускаетъ возможности построить загробное бытіе души по образцу

Digitized by Google

земной жизни, и вѣрующій христіанинъ, когда онъ обуреваемъ страхомъ разстаться съ жизнью, готовъ повторить слова эпикурейца Люція въ «Трехъ смертяхъ» Майкова:

До тайнъ грядущихъ нѣтъ намъ дѣла:
Окончу-ль здѣсь свой бренный вѣкъ,
Иль будетъ жить душа безъ тѣла,—
Все буду я—не человѣкъ...

Когда чувство привязанности къ жизни, такъ сказать, настораживается, когда человѣкомъ овладѣваетъ тоска и жалость къ самому себѣ въ виду возможности вдругъ перестать быть человѣкомъ, разстаться съ обычнымъ теченіемъ жизни, ея тепломъ и свѣтомъ, ея добромъ и зломъ, заботами, привязанностями, печалями, радостями, дѣлами и пустяками,—тогда возникаетъ то мучительное содраганіе, тотъ холодный ужасъ, который одинаково можетъ быть названъ и страхомъ уничтоженія, и страхомъ безсмертія.

Однимъ изъ палліативныхъ средствъ избавиться отъ этого страха служитъ возвращеніе къ миѳу, къ матеріалистическому взгляду на «душу», какъ на матеріальное существо, какъ на тѣло, только—изъ очень тонкаго, невидимаго, воздухообразнаго вещества, тѣло, которое и послѣ смерти продолжаетъ жить, витая гдѣ-то въ космическомъ пространствѣ. Современный спиритизмъ есть не что иное, какъ именно возвращеніе къ миѳу, вызванное между прочимъ страхомъ смерти и безсмертія, которому все еще подверженъ цивилизованный человѣкъ.

Спиритизмъ былъ чуждъ ясному и здоровому уму Тургенева, но привязанность къ жизни и страхъ смерти были душевными пружинами, которыя дѣйствовали у Тургенева, быть можетъ, съ большей силою, чѣмъ у многихъ. Большая привязанность къ жизни, склонность придавать ей особливую цѣну — это если не ошибаюсь отличительная черта большихъ умовъ и дарованій (разумѣется, при душевномъ здоровьи). Наиболѣе привязанное къ жизни существо—это геній. Для него жить значитъ мыслить и творить, а это одно изъ самыхъ чарующихъ, самыхъ заманчивыхъ проявленій жизни. Но не всегда такое тяготѣніе къ жизни сопровождается соотвѣтственнымъ страхомъ смерти. Есть умы и натуры, чрезвычайно жизнерадостные и въ то же время относящіеся философски-спокойно къ грозному призраку смерти, къ ежеминутной возможности умереть. Таковъ былъ, напримѣръ, Ренанъ. Но не таковъ былъ Тургеневъ. Мысль о смерти, о «ни-

Digitized by Google

чтожествѣ», какъ онъ выражался, была для него мучительной и ужасающей. Она навязывалась его уму, какъ «проклятый» вопросъ, какъ роковая проблема, отъ которой нельзя отвернуться и только— въ извѣстной мѣрѣ — можно «отдѣлаться» художественнымъ ея воспроизведеніемъ (какъ Лермонтовъ отъ своего Демона «отдѣлался» стихами) *).

Результатомъ этого стремленія «отдѣлаться» отъ проблемы смерти и явились въ послѣдовательномъ порядкѣ послѣднія главы «Отцовъ и дѣтей» (смерть Базарова), «Призраки» (1863) и «Довольно».

«Призраки»—произведеніе очень богатое содержаніемъ, которое однако-же только намѣчено бѣглыми штрихами. И прежде всего здѣсь схваченъ тотъ контрастъ, который существуетъ между обыденной жизнью человѣка съ ея повседневнымъ обиходомъ, привычной прозой, гдѣ, повидимому, нѣтъ мѣста ничему выходящему изъ ряда вонъ, ничему общему, не личному, а тѣмъ болѣе мистическому, и—той огромной сферою, которая слагается изъ совокупности всего, что такъ или иначе выходитъ за предѣлы обыденности. Съ удивительнымъ, ему свойственнымъ мастерствомъ рисовать бѣглыми, едва замѣтными штрихами, Тургеневъ даетъ чувствовать этотъ контрастъ: «Я долго не могъ заснуть и безпрестанно переворачивался съ боку на бокъ. Чортъ бы побралъ эти глупости съ вертящимися столами! подумалъ я... Да уже не во снѣ ли я все это вижу?» спросилъ я себя наконецъ. Я позвалъ ключницу. — «Марѳа, въ которомъ часу я легъ вчера на постель — не помнишь»? — «Да кто-жъ тебя знаетъ, кормилецъ...» и т. д. (XVII).—Эти и другія — немногія — строки, относящіяся къ обыденной обстановкѣ, къ текущему обиходу жизни, и потерянныя среди всѣхъ этихъ летаній, видѣній призраковъ, грозныхъ зрѣлищъ природы, производятъ тотъ эффектъ, который иначе схваченъ въ великолѣпномъ стихотвореніи Тютчева:

Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной:
Такъ наша жизнь кругомъ объята снами.
Настанетъ ночь,—и звучными волнами
Стихія бьетъ о берегъ свой...

---

*) Еще въ 1857 г. мысль Тургенева останавливалась на вопросѣ о «смерти», въ связи съ созерцаніемъ «стихійнаго» въ природѣ. Въ этомъ отношеніи любопытна первая страница «Поѣздки въ Полѣсье» (1857), гдѣ между прочимъ сказано: «Мнѣ дѣла до тебя нѣтъ, говоритъ природа человѣку, я царствую, а ты хлопочи о томъ, какъ бы не умереть».

Digitized by Google

И въ самомъ дѣлѣ. Совокупность впечатлѣній, интересовъ, чувствъ и другихъ душевныхъ моментовъ, образующихъ нашу непосредственную дѣйствительность, является какъ бы крошечнымъ островкомъ, потеряннымъ въ океанѣ представленій, идей, образовъ, составляющихъ другую дѣйствительность, съ которой мы не имѣемъ непосредственнаго соприкосновенія. Природа, исторія, прошлое человѣчества, его будущее, міръ идей и идеаловъ, загробныя тайны, все мистическое (при чемъ все равно,—принимается-ли оно, какъ нѣчто положительное, или присутствуетъ въ сознаніи только, какъ величина отрицательная)—все это въ сравненіи съ «положительностью», «осязательностью», нашей ближайшей дѣйствительности, нашей узкой повседневной жизни, уподобляется фантастическому міру сновъ, который только и ждетъ, чтобы человѣкъ пересталъ «бодрствовать» въ сознаніи своего непосредственнаго существованія, чтобы онъ оторвался отъ узъ, приковывающихъ его къ текущей минутѣ,—и тогда, «стихія» обнаруживается и «бьетъ о берегъ свой»...

То гласъ ея: онъ нудитъ насъ и проситъ.
Ужъ въ пристани волшебный оживъ челнъ,—
Приливъ ростетъ—и быстро насъ уноситъ
Въ неизмѣримость темныхъ волнъ.

«Стихія» представляетъ полную противоположность «островку обыденнаго сознанія». На послѣднемъ все конечно, предѣльно, измѣрено, установлено, обусловлено и «понятно». Стихія—неизмѣрима, безконечна, безпредѣльна и полна таинственнаго. Въ ней все мистично, ибо она слагается не изъ фактовъ, а изъ явленій. Явленія мистичны по самой природѣ своей, причинная связь есть тайна,—законъ таинственъ. Это метафизическія понятія, чуждыя обыденному сознанію. Это—«неизмѣримость темныхъ волнъ», въ которой даже все человѣческое, историческое становится загадочнымъ, потому что въ ней оно освобождается отъ иллюзіи произвола и случайности и переносится въ сферу закономѣрности. Возникаетъ предчувствіе высшаго закона, заправляющаго міромъ человѣческимъ,—закона, который окажется не менѣе таинственнымъ, чѣмъ законы природы,—въ туманѣ очерчиваются великія проблемы добра и зла, жизни и смерти, цѣлей, идеала...

Небесный сводъ, горящій славой звѣздной,
Таинственно глядитъ изъ глубины,—
И мы плывемъ, пылающею бездной
Со всѣхъ сторонъ окружены...

Digitized by Google

Въ «Призракахъ» художественною формою мысли схвачены нѣкоторые—существенные—вопросы «бездны», затронуты важнѣйшія сферы «стихіи»: природа, исторія, человѣчество, красота,—въ особенности-же—жизнь и смерть,—тѣ самые вопросы, которые трактуются въ «Довольно». И тамъ, и здѣсь они ставятся и рѣшаются одинаково—въ духѣ безотраднаго пессимизма.

Природа показана преимущественно съ той стороны, которою она такъ рѣзко противорѣчитъ представленію о ней, свойственному «островку обыденности». Съ точки зрѣнія послѣдняго, она—только часть привычной обстановки, и на ней лежитъ печать какой-то не то пошлости, не то прирученности. Въ «Призракахъ» она взята, какъ грозная стихія, предъ мощію которой безпомощенъ человѣкъ, — стихія, дышащая разрушеніемъ и смертью,—сама безсмертная, вѣчная. Конкретными образами, въ которыхъ это воспроизведено, служатъ «Островъ Вайтъ» и «Понтійскія болота».

«Надъ головой тяжелыя, дымныя тучи; онѣ тѣснятся, онѣ бѣгутъ, какъ стадо злобныхъ чудовищъ... а тамъ, внизу, другое чудовище: разъяренное, именно разъяренное море... Бѣлая пѣна судорожно сверкаетъ и кипитъ на немъ буграми—и, вздымая косматыя волны, съ грубымъ грохотомъ бьетъ оно въ громадный, какъ смоль черный утесъ. Завываніе бури, леденящее дыханіе расколыхавшейся бездны, тяжкій плескъ прибоя, въ которомъ по временамъ чудится что-то похожее на вопли, на далекіе пушечные выстрѣлы, на колокольный звонъ,—раздирающій визгъ и скрежетъ прибрежныхъ голышей, внезапный крикъ невидимой чайки, на мутномъ небосклонѣ шаткій остовъ корабля—всюду смерть, смерть и ужасъ...» (IX).

«Смерть и ужасъ»—вотъ рѣшеніе вопроса, вотъ идея, «представленная» картиной «Островъ Вайтъ». Таковъ же смыслъ и картины, изображающей Понтійскія болота.

«Это было огромное, тусклое пространство, повидимому не поросшее травой и пустое; тамъ и сямъ, по всему его протяженію, подобно небольшимъ обломкамъ зеркала, блистали стоячія воды; вдали смутно виднѣлось неслышное, недвижное море. Крупныя звѣзды сіяли въ промежуткахъ большихъ красивыхъ облаковъ; тысячеголосная, немолчная и все таки не громкая трель поднималась отовсюду—и чуденъ былъ этотъ пронзительный и дремотный гулъ, этотъ ночной голосъ пустыни...—Понтійскія болота, промолвила Эллисъ. Слышишь лягушекъ? Чувствуешь запахъ

Digitized by Google

сѣры?—Понтійскія болота... повторилъ я, и ощущеніе величавой унылости охватило меня.—Но зачѣмъ принесла ты меня сюда, въ этотъ печальный, заброшенный край...» (XII).

Этими двумя образами схвачена все та-же «глухонѣмая, слѣпорожденная сила», о которой говорится въ «Довольно».

Исторія и человѣчество очерчены также образами, которые по своему говорятъ о смерти и разрушеніи и вселяютъ либо все тотъ-же ужасъ, либо отвращеніе. Это, во-первыхъ, явленіе головы Цезаря и крики легіоновъ,—чудный образъ, въ которомъ удивительно схвачена стихійность историческаго, человѣческаго, и показанъ тотъ-же страшный духъ явленія, который присущъ грознымъ силамъ природы. «На языкѣ человѣческомъ нѣту словъ для выраженія ужаса, который сжалъ мое сердце. Мнѣ казалось, что раскрой эта голова свои глаза, разверзи свои губы—и я тотчасъ-же умру.—Эллисъ! простоналъ я:—я не хочу, я не могу, не надо мнѣ Рима, грубаго, грознаго Рима... Прочь, прочь отсюда!» (XIII).—Таковъ-же смыслъ и явленія Стеньки Разина (XVI). Если эти двѣ картины можно сопоставить, по духу и смыслу, съ изображеніемъ острова Вайта, то картина бульварнаго Парижа съ размалеванными кокотками (XIX) и глава XXII, начинающаяся такъ: «слуша-а-ай! раздался въ ушахъ моихъ протяжный крикъ. Слуша-а-ай! словно съ отчаяніемъ отозвалось въ отдаленіи. Слуш-а-а-а-й! замерло гдѣ-то на концѣ свѣта...»,—сближаются отчасти съ «Понтійскими болотами».

Красота показана и ея чары обрисованы съ истинно-тургеневской яркостью красокъ и музыкой рѣчи въ гл. XIV *). Здѣсь дано сочетаніе обаятельныхъ ощущеній, производящихъ тотъ душевный эффектъ, который въ одно и то-же время и чувствуется, какъ «красота», какъ «эстетическое наслажденіе», и мелькаетъ въ сознаніи, какъ нѣчто неуловимое, ускользающее, мимолетное. возможное и невозможное, однимъ словомъ—какъ счастье.

Это все та-же таинственная «красота», о которой въ «Довольно» сказано, что «для нея достаточно одного мгновенія, чтобы быть вѣчной».

Въ результатѣ всѣхъ этихъ созерцаній—природы, исторіи, людей, красоты, пошлости и т. д.—получается то самое настроеніе, изображеніе котораго составляетъ сюжетъ и задачу «Доволь-

*) Isola Bella.

Digitized by Google

но». Здѣсь, въ «Призракахъ», оно описано такъ: «грустно стало мнѣ, и какъ-то равнодушно-скучно. И не потому стало мнѣ грустно и скучно, что пролеталъ я именно надъ Россіей. Нѣтъ! Сама земля, эта плоская поверхность, которая разстилалась подо мною, весь земной шаръ съ его населеніемъ, мгновеннымъ, немощнымъ, подавленнымъ нуждою, горемъ, болѣзнями, прикованнымъ къ глыбѣ презрѣннаго праха; эта хрупкая, шероховатая кора, этотъ наростъ на огненной песчинкѣ нашей планеты, по которому проступила плѣсень, величаемая нами органическимъ, растительнымъ царствомъ; эти люди-мухи, въ тысячу разъ ничтожнѣе мухъ, ихъ слѣпленные изъ грязи жилища, крохотные слѣды ихъ мелкой, однообразной возни, ихъ забавной борьбы съ неизмѣняемымъ и неизбѣжнымъ,—какъ это мнѣ вдругъ все опротивѣло...» (XXIII).

На первый взглядъ, такой выводъ можетъ показаться довольно неожиданнымъ,—пожалуй, плохо вяжущимся съ тѣмъ зрѣлищемъ грандіознаго, грознаго, таинственнаго, которое такъ рельефно очерчено въ «Призракахъ». Несоотвѣтствіе или кажущееся противорѣчіе выступитъ еще ярче, ели мы будемъ имѣть въ виду «Довольно», разсматриваемое какъ прямое продолженіе «Призраковъ». Вотъ одно мѣсто изъ «Довольно», представляющееся, по мысли, духу и тону, особливо близкимъ къ только-что приведенной выдержкѣ изъ «Призраковъ»: «... страшно то, что нѣтъ ничего страшнаго, что самая суть жизни мелко-неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись этимъ сознаніемъ, отвѣдавъ этой полыни, никакой уже медъ не покажется сладкимъ—и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полнаго сближенія, безвозвратной преданности—даже оно теряетъ все свое обаяніе; все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью».

Итакъ, съ одной стороны—страхи и ужасы, съ другой—«нѣтъ ничего страшнаго». Противорѣчіе это—только кажущееся. Это собственно противорѣчіе словъ, а не соотвѣтственныхъ душевныхъ моментовъ, и оно совершенно сгладится, если мы, ставъ на точку зрѣнія Тургенева, обратимся къ разбору главной «фигуры» «Призраковъ»—смерти.

Нужно припомнить все, что выше было сказано о мышленіи Тургенева. Умамъ того типа, къ которому принадлежалъ нашъ художникъ, свойственно и привольно мыслить «субстанціями». Этотъ пошибъ мысли приводитъ къ тому, что незамѣтно для са-

мого мыслителя на первый планъ выдвигается и чуть-ли не ставится въ центрѣ вселенной—личность, живая человѣческая личность, какъ существо. И это существо страстно любитъ жизнь, страшно боится смерти. Умереть, т. е. перестать быть тѣмъ же существомъ, исчезнуть, какъ индивидуальность—для него это величайшее зло, ужаснѣе котораго быть ничего не можетъ. Оттуда между прочимъ и страхъ силъ природы, боязнь всего стихійнаго, закономѣрнаго, передъ чѣмъ «личность» такъ ничтожна. Ей уютно и тепло на томъ «островкѣ обыденности», о которомъ мы говорили выше, и она инстинктивно боится разстаться съ этимъ маленькимъ міркомъ своимъ, гдѣ она у себя дома, гдѣ она сознаетъ себя существомъ, индивидуумомъ, «я». А между тѣмъ ея развитіе фатально влечетъ ее къ стихіи; расширеніе сферы мысли неудержимо переноситъ человѣка въ эту страшную бездну, и постепенно онъ пріучается не бояться ея. Но страхи все еще живучи—пока человѣкъ продолжаетъ мыслить субстанціями, упорно понимая себя, какъ безусловное (а не относительное) существо, и трактуя вселенную съ точки зрѣнія субъективныхъ благъ этого своего «существа». Въ связи съ такой постановкой—является между прочимъ наивное и ни на чемъ не основанное утвержденіе, будто величайшее счастье—это «счастье любви», конечно—между мужчиной и женщиной.

Становясь на эту точку зрѣнія, данную въ «Призракахъ» и «Довольно», — точку субъективно-индивидуалистическую, мы легко поймемъ всю возможность и даже психологическую необходимость перехода отъ страховъ «стихіи», обуревающихъ личность, къ тому душевному упадку, той апатіи, той усталости, которыя являются результатомъ сознанія подавляющаго контраста между ничтожностью, безсиліемъ личности и всемогуществомъ смертоноснаго начала, дѣйствующаго во вселенной.

Мы приходимъ, такимъ образомъ, къ разсмотрѣнію главнаго вопроса, которому собственно и посвящены «Призраки»,—вопроса о смерти. И прежде всего вспомнимъ тотъ ужасъ и то чувство безпомощности, которые овладѣли жаждущей жизни Эллисъ, когда она увидѣла «Смерть».

«... Ужасъ, томительный ужасъ кривилъ, искажалъ блѣдныя, почти стертыя черты Эллисъ. Я не видалъ ничего подобнаго даже на живомъ, человѣческомъ лицѣ. Безжизненный, туманный призракъ, тѣнь... и этотъ замирающій страхъ... — Эллисъ, что

Digitized by Google

съ тобой? проговорилъ я наконецъ. — Она, она... отвѣчала она съ усиліемъ... она! — Она? Кто она? — Не называй ея, не называй, торопливо пролепетала Эллисъ.—Надо спасаться, а то всему конецъ—и навсегда... Посмотри: вонъ тамъ!—Я обернулъ голову въ сторону, куда указывала мнѣ трепещущая рука, и увидалъ... нѣчто дѣйствительно страшное».

Вотъ тутъ-то и осуществляется художественное пробужденіе всѣхъ ужасовъ, похороненныхъ въ формулѣ «смерть пришла».

Два начала становятся лицомъ къ лицу: личность и смерть. Все прочее, что существуетъ въ мірѣ, какъ-бы стушевывается, блекнетъ, стирается въ сознаніи, образуя лишь фонъ, на которомъ тѣмъ отчетливѣе выступаютъ эти два начала, два «существа». Одно изъ нихъ—положительное, оно живетъ и хочетъ жить, жить какъ можно полнѣе, обладать полнотою и разнообразіемъ чувствъ, желаній, ощущеній, — всего, что входитъ въ понятіе психической жизни. Оно стремится быть самобытнымъ, самодовлѣющимъ, эгоистическимъ «я», и сфера чистой мысли, отвлеченныхъ созерцаній, среди которыхъ исчезаетъ это «я», такъ-же мало его удовлетворяетъ, какъ и то разрѣженное, эѳирное состояніе, въ какомъ находится Эллисъ. Осужденная витать въ сферѣ чистыхъ созерцаній, быть лишь зрительницей жизни, прошлой и настоящей, Эллисъ страстно жаждетъ быть непосредственной участницей въ жизненной драмѣ, снова стать плотью, наполниться кровью, вновь овладѣть функціями животнаго организма, снова превратиться изъ состояніи безтѣлеснаго «я», витающаго въ пространствѣ, созерцающаго великія зрѣлища природы и исторіи и ничего небоящагося, кромѣ смерти, въ полуживотное, называемое человѣкомъ, привязанное къ землѣ, подверженное всяческимъ невзгодамъ и всего боящееся, даже собственныхъ своихъ созерцаній.

И вотъ, по его образу и подобію, только въ отрицательной проекціи, построяется отрицательная «личность» смерти. Если личность человѣческая хочетъ быть тѣломъ и имѣть образъ, то смерть это — «нѣчто, не имѣющее опредѣленнаго образа» и «тѣмъ она страшнѣе» (XXIV). Почему безъ-образное должно быть непремѣнно страшнѣе имѣющаго опредѣленный образъ? А потому, что будучи, въ силу этой безъ-образности, безформенности, прямо-противоположно человѣку, оно, это непонятное, чуждое, темное нѣчто, все-таки понимается, какъ существо и надѣлено волею и сверхчеловѣческою силою. Будь

Digitized by Google

оно сколько-нибудь человѣкообразно или хотя-бы «животнообразно», оно, при всей своей ужасной и злобной мощи, все-таки казалось-бы какъ-то ближе, понятнѣе, доступнѣе человѣку, и у послѣдняго возникала-бы иллюзія нѣкоторой возможности соглашенія, умилостивленія. Теперь нѣтъ и этого ничтожнаго палліатива: воскрешенный миѳъ уже не отливается въ форму зооморфическую или антропоморфическую, не является въ привычномъ видѣ страшилища, созданнаго младенческимъ воображеніемъ древнихъ. Миѳъ воскресаетъ въ формѣ гораздо болѣе страшной, пригодной не для того только, чтобы пугать дѣтей но способной испугать мыслителя: страшное и отвратительное явленіе предстоитъ сознанію, какъ безформенная, неопредѣлимая, непостижимая субстанція, которой приписывается объективное бытіе, воля и ужасающая мощь,—субстанція, дѣйствующая какъ «сила, которой нѣтъ сопротивленія, которой все подвластно» (XXIV). И человѣкъ, объятый ужасомъ и въ сознаніи своей безпомощности, можетъ только воскликнуть: «кто ты, что ты, грозная масса»? (ibid.). И если онъ захочетъ описать эту «грозную массу», эту «идущую силу»,—ему придется, вмѣстѣ съ Тургеневымъ, прибѣгнуть къ такимъ терминамъ и метафорамъ, которые только кажущимся образомъ воспроизводятъ внѣшній предметъ, а въ сущности выражаютъ лишь то подавляющее чувство страха и отвращенія, во власти котораго находится человѣкъ. «Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, пестрое, какъ брюхо ящерицы—не туча и не дымъ, медленно, змѣинымъ движеніемъ, двигалось надъ землею... Гнилымъ, тлетворнымъ холодкомъ несло отъ нея—отъ этого холодка тошнило на сердцѣ, и въ глазахъ темнѣло, и волосы вставали дыбомъ...» (XXIV).

Такой страхъ дѣйствуетъ на душу угнетающимъ образомъ и въ результатѣ является упадокъ духа, мрачно-безотрадный взглядъ на вещи, все представляется человѣку ничтожнымъ, мгновеннымъ, обреченнымъ на гибель. «Ничтожество, ничтожество!» повторяетъ человѣкъ слова умирающей Эллисъ. Это то самое состояніе духа, которое испытывалъ Базаровъ въ тѣ минуты, когда «чувствовалъ скуку да злость», когда ему приходили въ голову мысли о томъ, что «часть времени, которую ему удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью» («Отцы и Дѣти», XXI), когда, наконецъ, въ виду грознаго призрака смерти, онъ говорилъ: «попробуй отрицать смерть: она меня отрицаетъ и—баста!» (XXVII).

Digitized by Google

И вотъ, «мучительно содрагаясь при одной мысли о ничтожествѣ» (какъ герой «Призраковъ», XXV), человѣкъ фатально переходитъ отъ этого содраганія къ тому безпощадному анализу, къ тому разлагающему и мертвящему міропониманію, образчикъ котораго данъ въ «Довольно», и роковой выводъ или вопросъ, указанный въ послѣдней главѣ этого «отрывка», уже всплываетъ въ его сознаніи: «чѣмъ заставить себя стряхнуть свою нѣмую лѣнь, свое унылое недоумѣніе, если только мысль о тщетѣ всего человѣческаго, всякой дѣятельности, ставящей себѣ болѣе высокую задачу, чѣмъ добываніе насущнаго хлѣба, закралась въ голову?...»

Послѣдній аккордъ: «Нѣтъ... нѣтъ... довольно... довольно... довольно...»

VII.

Было бы очень прискорбно для меня, если-бы кто-нибудь, прочитавъ эти страницы, понялъ-бы ихъ такъ, что я приписываю Тургеневу суевѣрное убѣжденіе въ существованіи какого-то страшилища, именуемаго Смертью и въ самомъ дѣлѣ обладающаго волею и сверхъестественной силою. Такого убѣжденія или вѣры у Тургенева, конечно, не могло быть. Тѣмъ не менѣе страхъ, сопутствующій подобной вѣрѣ, и его результаты, — угнетенное состояніе мысли, унылый взглядъ на вещи, — далеко не были чужды ему и отъ времени до времени проявлялись съ большой энергіей, побуждая его геній къ художественному воспроизведенію этихъ душевныхъ состояній, плодомъ чего и явились «Призраки» и «Довольно». — Во всемъ этомъ нѣтъ ничего психологически-невозможнаго: это весьма распространенное психологическое явленіе, — что извѣстное душевное состояніе, первоначально возникавшее, какъ результатъ извѣстнаго вѣрованія, отнюдь не исчезаетъ вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ и готово всякій разъ оживиться, — лишь только оживляется въ сознаніи соотвѣтственная ф о р м а м ы с л и,—напр. такой-то образъ, хотя-бы уже и не было убѣжденія въ дѣйствительномъ, внѣ сознанія, существованіи вещи, отвѣчающей данному образу. Такъ, образованный человѣкъ, не вѣрящій въ привидѣнія, можетъ испугаться до обморока, когда «привидѣніе» въ самомъ дѣлѣ явится ему, хотя онъ отлично знаетъ, что это процессъ субъективный, что это галлюцинація. Въ этомъ смыслѣ не будетъ абсурдомъ сказать, что можно бояться чорта, и не вѣря въ него. Помимо

Digitized by Google

явленій галлюцинаціи и иллюзіи, разныя чуства, напр. страха, радости и т. д., связываются непосредственно съ извѣстными формами мысли, съ данными способами апперцепціи впечатлѣній, при чемъ все равно—приписываетъ-ли человѣкъ этимъ формамъ объективное бытіе (какъ «бѣлизну»—камню), или же утратилъ эту наивность мышленія. Возьмемъ такой примѣръ. Когда люди думали, что напр. гнѣвъ, радость, любовь, зависть, порокъ и пр. — это какіе-то существа или «дэмоны» (въ древнегреческомъ смыслѣ — δαιμόνια), вселяющіеся въ человѣка или на него вліяющіе, тогда вѣрили и въ существованіе Счастья (удачи), какъ особаго существа, къ которому можно обращаться съ просьбами, изъявленіями разныхъ чувствъ и т. д. Понятно, что подобное вѣрованіе было сопряжено съ цѣлымъ порядкомъ чувствованій, напр. опасенія, благодарности, удовольствія, неудовольствія — по отношенію къ этому существу или въ виду его наличности. Съ теченіемъ времени это вѣрованіе исчезло, какъ исчезли и другія ему подобныя. Но форма мысли, ему отвѣчающая, осталась и продолжаетъ дѣйствовать, конечно—не въ своемъ первоначальномъ видѣ, а какъ склонность ума схватывать понятія «шанса», «удачи — неудачи» категоріею субстанціи, именуемой счастьемъ. Пусть ей не придается уже миѳологическій образъ, какой придавался ей въ старину, — а все таки умъ современнаго человѣка съ трудомъ удерживается отъ искушенія приписывать этому «счастью» нѣкоторое реальное бытіе. И напр. человѣкъ, приступающій къ рискованному предпріятію, пускающійся въ далекія и трудныя странствованія, строящій планы карьеры, политической дѣятельности и т. д., невольно поворачиваетъ свой умъ въ сторону чего-то внѣ его находящагося, какого-то счастья, которое можетъ прійти и уйти, осчастливить и погубить, — и соотвѣтственный порядокъ чувствъ уже шевелится въ его душѣ. Этотъ порядокъ чувствъ исчезнетъ изъ обихода лишь тогда, когда соотвѣтственныя явленія (шансы, удача—неудача, понятія случайности, вѣроятности) будутъ схватываться другою категоріею мысли, напр. тою, которая постулируется математическою теоріею вѣроятности. Тогда изчезнетъ и тотъ фатализмъ, который до сихъ поръ еще связанъ съ идеей счастья и является источникомъ особыхъ чувствъ.

Теперь возвратимся къ вопросу о смерти и посмотримъ, какъ устраненіе въ мысли субстанціальной формы ея апперцепціи приводитъ къ устраненію ея страха,—какъ художественное изобра-

Digitized by Google

женіе, основанное уже не на формулѣ «смерть пришла», а на формулѣ «онъ умираетъ», и способное вызывать разныя чувствованія, напр. жалости, скорби, уже безсильно пробудить чувство **страха.**

Такова «смерть Базарова».

Какъ извѣстно, «смерть» и не думала приходить къ Базарову, а просто, заразившись, по несчастной случайности, трупнымъ ядомъ, онъ вдругъ началъ умирать. Процессъ умиранія былъ очень тяжелый, мучительный и — въ смыслѣ психологическомъ—въ высокой степени трагичный. Прекращалось богатое душевно существованіе, угасала смѣлая и крѣпкая мысль, могучій волевой аппаратъ переставалъ дѣйствовать, — всѣ эти рѣдкія и цѣнныя душевныя явленія или функціи должны были уничтожиться безвременно, не исполнивъ своего жизненнаго назначенія. Базаровъ умиралъ молодымъ, полнымъ силъ,—ему мучительно хотѣлось жить, онъ страстно любилъ жизнь, понимая ее какъ мысль, трудъ и борьбу. Его умъ только-что начиналъ расправлять свои крылья и пробовать свои силы въ смѣлыхъ отрицаніяхъ, — жизненный трудъ еще предстоялъ, его манила перспектива борьбы и подвиговъ—вдругъ вся эта роскошь духа случайно и безсмысленно упраздняется.—«Сила-то, сила», говоритъ умирающій, «вся еще тутъ, а надо умирать!., Старикъ, тотъ по крайней мѣрѣ успѣлъ отвыкнуть отъ жизни, а я...» И въ потухающемъ сознаніи всплываетъ страшная идея смерти. Какой образъ приметъ она? Предстанетъ-ли она уму въ видѣ какого-нибудь грознаго страшилища, и вмѣстѣ съ тѣмъ воскреснутъ-ли всѣ страхи миѳа? Или явится она въ формѣ отвлеченнаго начала, неопредѣлимаго, непостижимаго и тѣмъ болѣе пугающаго,—какъ нѣкая таинственная и безъобразная субстанція, которая однако дѣйствуетъ, идетъ, надвигается? Нѣчто подобное уже намѣчалося въ умѣ Базарова, когда онъ сказалъ: «Да, поди, попробуй отрицать смерть,—она меня отрицаетъ и баста».

Эти слова были критическимъ моментомъ, поворотнымъ пунктомъ въ психологическомъ процессѣ смерти Базарова. И кто знаетъ, если бы обстановка и всѣ условія этой смерти были иныя, все движеніе мыслей и чувствъ умирающаго, быть можетъ, направилось-бы въ другую сторону, въ ту, которая намѣчается этимъ признаніемъ всемогущаго, рокового, закономѣрнаго значенія отрицательнаго начала, именуемаго Смертью. Это начало уже вырисовывалось въ сознаніи какъ «нѣчто» и притомъ такое, пе-

Digitized by Google

редъ чѣмъ останавливалась дерзкая, всеотрицающая мысль Базарова. Еще шагъ дальше въ этомъ направленіи, въ этомъ мучительномъ сосредоточеніи мысли на объективированномъ образѣ смерти,—и вмѣсто умирающаго человѣка, которому страстно хочется жить, но который вовсе не боится умереть (чего тутъ въ самомъ дѣлѣ «бояться?»), мы видѣли-бы смертнаго, наивно не желающаго примириться съ тѣмъ, что онъ смертенъ, и безсильно мечущагося въ припадкѣ суевѣрнаго ужаса передъ какимъ-то чудищемъ, которое вотъ-вотъ сейчасъ придетъ и схватитъ его. Движеніе въ этомъ направленіи (въ направленіи «Призраковъ») могло-бы осуществиться только въ томъ случаѣ, если бы Базаровъ умиралъ въ полномъ одиночествѣ, заброшенный, неоплаканный, забытый всѣми; если бы не было возлѣ него плачущей и молящейся матери, растерявшагося, обезумѣвшаго отъ горя отца, если бы вообще вся обстановка была другая, тогда его мысль отъ созерцанія грознаго облика смерти не перескочила-бы вдругъ въ ту полосу, гдѣ возможенъ героизмъ предсмертной ироніи, сказавшейся въ словахъ: «Кто тамъ плачетъ? Мать? Бѣдная! Кого-то она будетъ кормить теперь своимъ удивительнымъ борщемъ? А ты, Василій Ивановичъ, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христіанство не помогаетъ, будь философомъ, стоикомъ, что-ли! Вѣдь ты хвастался, что ты философъ...» При иныхъ условіяхъ этотъ душевный мотивъ былъ-бы невозможенъ — да и не нуженъ. Сильная личность, въ родѣ Базарова, натура, построенная на умѣ и волѣ, конечно, хочетъ до конца остаться неизмѣнною и умереть такою, какою была всю жизнь. Она отстаиваетъ себя, свое «я», свою гордость. Но для успѣшности такого отстаиванія необходимо, чтобы около нея были люди, да не какіе-нибудь—посторонніе, чужіе, равнодушные, безразличные, а свои, близкіе, любящіе, удивляющіеся, жалѣющіе, убитые горемъ. И чѣмъ болѣе они скорбятъ, жалѣютъ, поражены, растеряны, тѣмъ легче умирающему умирать и, умирая, сохранять равновѣсіе духа, спокойствіе, быть героемъ и шутить въ этотъ грозный и торжественный часъ.

Евгеній Базаровъ и хотѣлъ и, при данныхъ условіяхъ, легко могъ умереть все тѣмъ-же Евгеніемъ Базаровымъ, не теряя себя, не утрачивая ни одной характерной черты своего «я». Ему было легко исполнить это, ибо тутъ-же находился пораженный горемъ, безконечно-любящій отецъ, который говорилъ: «возможное-ли это дѣло, чтобы ты умеръ, ты, Евгеній? Гдѣ-же послѣ этого

Digitized by Google

справедливость?..» Ему было легко умирать, потому что онъ зналъ, что вонъ тамъ «возлѣ двери на низенькой скамеечкѣ сидитъ Арина Власьевна», сидитъ и ничего не въ силахъ сообразить, не въ состояніи опомниться, отдать себѣ отчетъ въ томъ ужасающемъ событіи, которое теперь совершается. Онъ могъ умирать безтрепетно, самоувѣренно, бодро, сохраняя всю свою иронію, всѣ свои сарказмы, потому что зналъ, что, когда испуститъ послѣдній вздохъ, то произойдетъ нѣчто... шекспировское, разсказанное Тургеневымъ съ потрясающимъ лаконизмомъ въ слѣдующихъ строкахъ: «...Василіемъ Ивановичемъ обуяло внезапное изступленіе. «Я говорилъ, что я возропщу», хрипло кричалъ онъ, съ пылающимъ, перекошеннымъ лицомъ, потрясая въ воздухѣ кулакомъ, какъ-бы грозя кому-то, «и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся въ слезахъ, повисла у него на шеѣ, и оба вмѣстѣ пали ницъ. «Такъ, — разсказывала потомъ въ людской Анфисушка,—рядышкомъ и понурили свои головки, словно овечки въ полдень...»

Легко умирать, когда возлѣ умирающаго кипитъ и бьетъ неоскудѣваемый ключъ животворной психической силы, напр. силы родительской любви. Тогда умирающему можно и побаловать себя и позаботиться о томъ, какъ-бы еще лучше обставить свою смерть, такъ, чтобы это было по возможности полное самоутвержденіе личности. И вотъ онъ проситъ отца послать за Одинцовой: «Евгеній, молъ, Базаровъ кланяться велѣлъ и велѣлъ сказать, что умираетъ...» Онъ зналъ, что она придетъ. Ему страстно хотѣлось увидѣть еще разъ, въ послѣдній разъ, эту женщину, которую онъ любилъ, и сказать ей: «какая вы славная!» И любопытно было ему посмотрѣть, какъ она будетъ держать себя. Какой вкладъ внесетъ въ обстановку смерти? Сожалѣніе, горе, страхъ?

Она явилась. Она стояла передъ нимъ «такая красивая». Онъ ей сказалъ, что болѣзнь заразительна, и она рискуетъ. Она «быстро перешла комнату и сѣла на кресло возлѣ дивана, на которомъ лежалъ Базаровъ». Все это было очень интересно и помогало Евгенію Базарову оставаться Евгеніемъ Базаровымъ и мѣшало смерти быть тѣмъ страшилищемъ, передъ которымъ теряется и исчезаетъ человѣческое «я».

Смерти не было, а былъ умирающій человѣкъ, который продолжалъ оставаться самимъ собою, продолжалъ мыслить умно и саркастически. «Старая штука смерть, а каждому вновѣ», гово-

Digitized by Google

ритъ онъ. И это очень хорошо сказано: смерть—не страшилище, не субстанція, не особое начало въ природѣ, это—просто «старая штука», какъ и все прочее—любовь, рожденіе, счастье, горе, молодость, старость,—все это «старыя штуки, а каждому вновѣ». Когда такая «штука» случается,—съ непривычки становится жутко, вотъ и все.

Перечитайте съ начала до конца эти удивительныя страницы повѣствующія о томъ, какъ умиралъ Базаровъ, не забудьте также (я придаю этому особливую важность) вновь перечувствовать и заключительный аккордъ «Отцовъ и Дѣтей», начинающійся словами «есть небольшое сельское кладбище»... и оканчивающійся такъ: «Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нѣтъ! Какое-бы страстное, грѣшное, бунтующее сердце ни скрылось въ могилѣ, цвѣты, растущіе на ней, безмятежно глядятъ на насъ своими невинными глазами: не объ одномъ вѣчномъ спокойствіи говорятъ намъ они, о томъ великомъ спокойствіи «равнодушной» природы,—они говорятъ также о вѣчномъ примиреніи и о жизни безконечной».—Передумайте, перечувствуйте все это, и тогда на вопросъ: что собственно воспроизведено здѣсь, какое именно явленіе было предметомъ художественнаго творчества?—вы отвѣтите такъ: это не была смерть, это не былъ ужасъ смерти.

Да, это не была смерть: «старая штука» умиранія была изображена для того, чтобы дорисовать до конца сильную личность Базарова; это было необходимо «для полноты характеристики», какъ раньше для той-же цѣли понадобилось описаніе другой «старой штуки»—любви. Итакъ, художественно-апперцепированный предметъ—это вовсе не смерть и не торжество смерти, а самъ Базаровъ, его натура, его умъ, его «я», его торжество надъ смертью и всѣми страхами ея.

«Смерть Базарова» это—апоѳеозъ его личности. Съ тѣмъ вмѣстѣ данъ и другой апоѳеозъ—любви, именно любви родительской.

Василій Ивановичъ и Арина Власьевна съ ихъ безграничной, безумной, идолопоклоннической любовью къ сыну — это образы изъ числа тѣхъ, которыми Тургеневъ обезсмертилъ свое имя.

Великій художникъ, рисуя смерть Базарова, самъ сталъ на точку зрѣнія Василія Ивановича и Арины Власьевны, и—оттуда—особый колоритъ картины, такой, что если бы его претворить

Digitized by Google

въ звуки и переложить на музыку, то вышла-бы симфонія, въ которой не было-бы аккордовъ страха смерти, не было-бы проклятій и стоновъ умирающаго, а звучали-бы и торжествовали звуки любви, горя, жалости, самоотверженія. Смерть Базарова—это не пѣснь о смерти, объ уничтоженіи, о томъ «ничтожествѣ», которое воспѣто въ «Призракахъ» и «Довольно», это — безсмертная пѣснь о безсмертной любви, любви, передъ которой безсильна сама смерть. Пусть исчезаетъ предметъ любви,—любовь остается, и нѣтъ ей предѣла, и нѣтъ ей конца. Это любовь—торжествующая, которая имѣетъ всѣ права сказать: «смерть, гдѣ жало твое?»

И вотъ глубокій смыслъ картины: грозный фантомъ смерти, связанный съ извѣстной формой мысли (формулой «смерть пришла», «она меня отрицаетъ—и баста»), на мигъ мелькнулъ въ сознаніи и исчезъ, и вмѣстѣ съ нимъ исчезли и его страхи. Что-же вытѣснило его, что стало въ сознаніи на его мѣсто?—На его мѣсто сталъ другой фантомъ, другая субстанція—«личность», «я», и предсмертное движеніе мысли направилось по формулѣ: «умираю». Эта формула—въ распространенномъ видѣ—гласитъ приблизительно такъ:

«Я умираю—я дѣлаю послѣднее дѣло своей жизни, а вы всѣ, кто тутъ есть, смотрите, какъ я буду умирать, жалѣйте, плачьте, рыдайте, удивляйтесь».—Таковъ смыслъ того, что говоритъ умирающій Базаровъ Одинцовой: «Вы посмотрите, что за безобразное зрѣлище: червякъ полураздавленный, а еще топорщится. И вѣдь тоже думалъ: обломаю дѣлъ много, не умру, куда! задача есть, вѣдь я гигантъ. А теперь вся задача гиганта—какъ-бы умереть прилично, хотя никому до этого дѣла нѣтъ... Все равно: вилять хвостомъ не стану»...

Что-же помогло этой формулѣ стать на мѣсто той? Что дало фантому личности перевѣсъ надъ фантомомъ смерти? Мы видѣли, что это сдѣлала сила любви,—одно изъ тѣхъ началъ, которыми преимущественно жива и сильна личность. Отнимите у нея это подспорье, и она спасуетъ передъ смертью,—какъ это мы и видимъ въ «Призракахъ» и «Довольно».

Быть можетъ, самъ Базаровъ, умирая, смутно чувствовалъ это и впервые оцѣнилъ своихъ родителей,—когда онъ говорилъ Одинцовой: «Отецъ вамъ будетъ говорить, что вотъ, молъ, какого человѣка Россія теряетъ... Это чепуха; но не разувѣряйте старика. Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось... вы знаете. И мать прила-

Digitized by Google

скайте. Вѣдь такихъ людей, какъ они, въ вашемъ большомъ свѣтѣ—днемъ съ огнемъ не сыскать»...

Если такимъ образомъ въ «смерти Базарова» личность человѣческая, окрыленная силою любви, торжествовала надъ смертью, то въ «Призракахъ» и «Довольно» будетъ наоборотъ: уединенная, обезоруженная, съ потухшимъ внутреннимъ свѣтомъ, личность будетъ показана въ ея крушеніи, въ ея ничтожествѣ,—и это будетъ пѣснь о торжествующей смерти.

Взятыя вмѣстѣ, какъ одно поэтическое цѣлое, «Отцы и Дѣти», «Призраки» и «Довольно» для грядущихъ вѣковъ, когда личность въ ея отношеніяхъ къ обществу будетъ поставлена иначе и сама возвысится до иного самоопредѣленія, останутся важнымъ документомъ, великимъ памятникомъ эпохи, характерными чертами которой были крайнее развитіе личности въ направленіи эгоистическомъ, отсутствіе гармоніи между личностью и обществомъ, борьба противоположныхъ интересовъ,—эпохи, когда на почвѣ односторонняго индивидуализма, возвеличеніе личности, ея апоѳеозъ шли рядомъ и чередовались съ ея крушеніемъ, ея «ничтожествомъ».

Какъ выразитель духа эпохи, Тургеневъ далъ въ Базаровѣ, «Призракахъ» и «Довольно» яркое выраженіе этой черты и связанныхъ съ нею думъ и чувствъ,—цѣлаго міросозерцанія. Съ этой стороны, фигура Базарова, сама по себѣ продуктъ творчества объективнаго, явилась представительницею нѣкоторыхъ субъективныхъ движеній ума и сердца художника.

Черезъ 15 лѣтъ послѣ «Отцовъ и Дѣтей» творческая мысль Тургенева остановилась еще разъ на созерцаніи натуры, чуждой самому художнику, еще болѣе противоположной ей, чѣмъ Базаровъ, и въ то-же время являющейся какъ-бы провозвѣстницею новаго уклада личности, новыхъ стремленій ея: Тургеневъ создалъ самый объективный изъ всѣхъ изображенныхъ имъ положительныхъ мужскихъ типовъ,—типъ Соломина, главнаго героя «Нови», къ разбору котораго мы и обратимся въ слѣдующей главѣ.

Digitized by Google

ГЛАВА III.

I.

«Новь» принадлежитъ къ числу наименѣе оцѣненныхъ — въ свое время—произведеній Тургенева. Правда, вслѣдъ за появленіемъ ея (1877), рядомъ съ отрицательными отзывами высказывались и хвалебные, даже восторженные, но въ общемъ, можно сказать, сумма недоразумѣній и нареканій, вызванныхъ «Новью», не уступала таковой-же, вызванной «Отцами и Дѣтьми», только тонъ нападокъ на автора на этотъ разъ не былъ такой страстный, какъ тогда.

Всякій читатель, не лишенный художественнаго чутья и достаточно вооруженный личнымъ опытомъ жизни (чрезвычайно важное условіе для пониманія произведеній искусства), не можетъ, читая «Новь», не подчиниться обаянію этого чуднаго произведенія, блещущаго необыкновенной свѣжестью и яркостью красокъ, проникнутаго дивной поэзіею и въ цѣломъ представляющаго собою удивительную художественную композицію, мастерски сотканную изъ положительныхъ и отрицательныхъ (сатирическихъ) элементовъ («Новь» на половину—сатира и очень злая).

О самомъ процессѣ творчества, создавшаго «Новь», мы имѣемъ любопытное свидѣтельство Тургенева въ письмѣ къ Полонскому (отъ 22 января 1877 г. «Письма», № 247): «Ты находишь, что въ «Нови» чувствуется напряженіе, излишняя головная работа и нѣкоторая робость... можетъ быть; замѣчу только одно, что ни одно изъ моихъ большихъ произведеній не писалось такъ скоро, легко (въ 3 мѣсяца) и съ меньшимъ количествомъ помарокъ. Вотъ послѣ этого и суди! (Идея у меня долго вертѣлась въ головѣ, я нѣсколько разъ принимался за исполненіе— но наконецъ написалъ всю штуку, какъ говорится, съ плеча). И выходитъ, что ничего нельзя знать наперед». Первыя впечатлѣнія бываютъ

Digitized by Google

иногда обманчивы, и примѣръ Полонскаго показываетъ, какъ могутъ ошибаться въ этомъ отношеніи даже люди, сами одаренные поэтическимъ талантомъ, которымъ, казалось-бы, и книги въ руки. При первомъ чтеніи легко возникаютъ иллюзіи, въ зависимости отъ личнаго настроенія читателя. Вѣроятно, Полонскій, читая впервые «Новь», находился въ такомъ состояніи духа, которое вызывало ощущеніе нѣкоторой напряженности при умственной работѣ. Усвоеніе-же художественнаго произведенія есть несомнѣнно умственная работа: оно, въ извѣстныхъ границахъ, является повтореніемъ творчества автора. И вотъ, если «повторить» это творчество, такъ сказать, на «свѣжую голову», не будучи озабоченъ или занятъ постороннею мыслію, то, я увѣренъ, «Новь» произведетъ прежде всего впечатлѣніе, вполнѣ согласное съ тѣмъ, что говоритъ Тургеневъ въ приведенномъ отрывкѣ, именно впечатлѣніе легкости творчества, увѣреннаго въ самомъ себѣ, отсутствія разсудочной работы, ведущей къ перемаркамъ и передѣлкамъ. «Новь» является художественному чувству читателя въ видѣ вдохновенной импровизаціи, и въ ней незамѣтно и слѣда той «старательности» или «копотливости», которую отмѣтилъ Достоевскій въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» *). Въ «Нови», такъ чувствуется, художникъ далъ волю своему дарованію, дошедшему здѣсь (употребляя выраженіе Тургенева въ письмѣ къ Салтыкову, «Письма», стр. 508) до «рѣзвости», и его скорѣе можно упрекнуть въ томъ, что онъ не подвергъ въ должной мѣрѣ свой вдохновенный трудъ контролю холодной разсудочности, которая, напр., воздержала-бы его отъ такого проявленія художнической «рѣзвости», какъ Ѳомочка и Ѳимочка — явный анахронизмъ и, по признанію самаго Тургенева, «капризъ» художника («Письма», № 247, стр. 310). И въ нѣкоторыхъ другихъ фигурахъ, напримѣръ, въ Паклинѣ, въ особенности-же въ отрицательныхъ типахъ (въ Калломѣйцевѣ, Сипягинѣ) сказалась та-же игривость творчества, на этотъ разъ, впрочемъ, упрека не заслуживающая.

Но обратимся къ главному герою романа Соломину **).

---

*) См. «Письма Тургенева», № 78, стр. 101.

**) Что главный герой именно—Соломинъ (а не Неждановъ), это, полагаю, ясно само собою, и только для полноты укажу на свидѣтельство о томъ самого Тургенева въ письмѣ къ Полонскому отъ 30 октября 1876 г. («Письма», № 246).

Digitized by Google

Отношенія Тургенева къ Соломину во многомъ напоминаютъ его отношенія къ Базарову. Какъ и этотъ послѣдній, Соломинъ—любимецъ автора и въ то-же время представляетъ собою полный контрастъ самому художнику. Можно сказать даже, что въ Соломинѣ этотъ контрастъ еще сильнѣе выраженъ, чѣмъ въ Базаровѣ. Мы видѣли, что въ Базарова вложено его творцомъ нѣчто субъективное, отъ себя («самоломанность», мысли о вѣчности, о смерти) и только какъ натура, характеръ, складъ ума—Базаровъ являетъ полную противоположность Тургеневу. Въ Соломинѣ нѣтъ уже и тѣни этихъ субъективныхъ примѣсей *). Контрастъ Тургенева и Соломина — одинъ изъ тѣхъ, которые приводятъ къ гармоніи. Соломинъ—одна изъ «слабостей» нашего художника, которому все нравится въ Соломинѣ, даже его ничѣмъ не выдѣляющаяся, простонародная или мѣщанская наружность. Въ описаніи этой наружности (гл. XVI) чувствуется скрытая мысль автора: «посмотрите, какой обыкновенный, какой невзрачный, повидимому, человѣкъ, а вѣдь онъ-то и есть «настоящій», и вы увидите, какой онъ умница и молодецъ».

Соломинъ прежде всего, дѣйствительно, — большой умница. Его умъ—простой, несложный, практическій, дѣловой — совсѣмъ другого сорта, чѣмъ напр. умъ Нежданова, но въ своемъ родѣ онъ гораздо выше и сильнѣе, чѣмъ умъ Нежданова—въ своемъ. Умственное превосходство Соломина обрисовано во многихъ мѣстахъ романа, но въ особенности наглядно проявилось оно въ сценѣ у Маркелова, представляющей образчикъ «ночныхъ, неутомимыхъ русскихъ разговоровъ». «...И тутъ Соломинъ не оправдалъ ожиданій Нежданова. Онъ говорилъ замѣчательно мало... такъ мало, что почти, можно сказать, постоянно молчалъ; но слушалъ пристально, и если произносилъ какое-либо сужденіе или замѣчаніе, то оно было и дѣльно, и вѣско, и очень коротко. Оказалось, что Соломинъ не вѣрилъ въ близость революціи въ Россіи; но,

*) Кстати упомянуть, Базарову Тургеневъ приписываетъ нѣкоторыя свои мнѣнія и точки зрѣнія на вещи, напримѣръ отзывъ о «Перепискѣ съ друзьями» Гоголя („я прескверно себя чувствую, точно начитался писемъ Гоголя къ калужской губернаторшѣ"), скептическій взглядъ на народъ и нѣкоторые др. Въ „Нови" Тургеневъ говоритъ иногда устами Паклина, даже Маріанны (о стихахъ Добролюбова). Что же касается Соломина, то ему приписана, кажетея, только одна излюбленная мысль Тургенева—о необходимости работы „жизненной", „terre à terre", о чемъ будетъ у насъ рѣчь ниже.

Digitized by Google

не желая навязывать свое мнѣніе другимъ, не мѣшалъ имъ попытаться, и посматривалъ на нихъ—не издали, а съ боку. Онъ хорошо зналъ петербургскихъ революціонеровъ—и до нѣкоторой степени сочувствовалъ имъ—ибо былъ самъ изъ народа. Но онъ понималъ невольное отсутствіе этого самаго народа, безъ котораго «ничего не подѣлаешь», и котораго долго готовить надо—да и не такъ и не тому, какъ тѣ. Вотъ онъ и держался въ сторонѣ, не какъ хитрецъ и виляга, а какъ малый со смысломъ, который не хочетъ даромъ губить ни себя, ни другихъ». (Гл. XVI).

Этими немногими словами сказано очень много и прежде всего обрисованъ большой, ясный, трезвый умъ Соломина. Пожалуй, мнѣ возразятъ, что неужели нужно было обладать выдающимся и особливо-трезвымъ умомъ, чтобы видѣть всю иллюзорность нетерпѣливыхъ надеждъ Нежданова и его единомышленниковъ, чтобы понимать всю опрометчивость попытокъ Маркелова и другихъ? На это отвѣчу, не обинуясь: да, для этого необходимъ былъ умъ не заурядный. Само собою разумѣется, говоря такъ, я имѣю въ виду не посторонняго наблюдателя, не равнодушнаго зрителя: такой не нуждается въ большомъ умѣ, чтобы видѣть вещи въ ихъ настоящемъ свѣтѣ, и, по самому положенію своему, изъятъ изъ подъ всесильнаго внушенія иллюзіи и самообмана. Другое дѣло — такой человѣкъ, какъ Соломинъ, столь близко къ сердцу принимающій интересы народа,—Соломинъ, который въ той-же сценѣ у Маркелова вдругъ «разсердился не на шутку и такъ ударилъ своимъ могучимъ кулакомъ по столу, что все на немъ подпрыгнуло... Ему разсказали о какой-то несправедливости на судѣ, о притѣсненіи рабочей артели...» Кто помнитъ 70-ые годы, тотъ хорошо знаетъ, что въ извѣстномъ движеніи того времени («хожденіе въ народъ» и проч.) принимали участіе не только зеленые и легковѣрные юноши или тупицы, въ родѣ Остродумова, но и люди зрѣлые, умные, даровитые, раздѣлявшіе однако общую иллюзію о высокихъ душевныхъ качествахъ русскаго народа, дѣлающихъ будто-бы возможною и плодотворною извѣстную дѣятельность для него и среди него Идеализація народа, довѣріе къ нему въ его современномъ состояніи — это была общая черта и глупыхъ и умныхъ, и юныхъ и зрѣлыхъ, и даровитыхъ и бездарныхъ. Во всемъ можно было сомнѣваться, все подвергать критикѣ,—одна лишь святыня народной идеи была неприкосновенна. Отъ этой иллюзіи не изба-

Digitized by Google

вляло даже фактическое знакомство съ народнымъ бытомъ, даже самое происхожденіе изъ народа. Это было нѣчто въ родѣ умопомраченія, въ силу котораго видѣли не то, что есть, а то, что хотѣли видѣть. Тутъ было и смѣшеніе идеи съ фактомъ, идеала съ дѣйствительностью, и перенесеніе на весь народъ нѣкоторыхъ чертъ, замѣченныхъ въ отдѣльныхъ лицахъ, вышедшихъ изъ народа, и смѣшеніе эпохъ (вѣра въ возможность повторенія Пугачевщины, ссылки на великую французскую революцію), и по существу ложная оптимистическая мысль объ отсутствіи у насъ органической связи между государствомъ и народомъ,—и многое, многое другое — отъ исторіи, отъ политической экономіи, отъ психологіи, поддерживавшее или обосновывавшее излюбленную мысль о томъ, что народъ почти «готовъ» для созданія новаго строя, или, если не «готовъ», то его можно «подготовить», для чего потребуется какой-нибудь десятокъ-другой лѣтъ. Иные еще сокращали этотъ срокъ. И—повторяю—между ними были люди—куда умнѣе и образованнѣе не только Маркелова, но и Нежданова. Можно даже утверждать, что въ числѣ такихъ вѣрующихъ были люди и соломинскаго ума. И тутъ нѣтъ ничего удивительнаго: увлеченія заразительны. Превосходство Тургеневскаго Соломина въ томъ и состоитъ, что онъ не подчиняется общему ослѣпленію, не поддается очарованію иллюзіи, что, вѣря въ идеалъ, онъ отлично сознаетъ, какъ онъ далекъ, и ясно видитъ всю непригодность средствъ, употребляемыхъ его единомышленниками для достиженія цѣли. Самъ онъ мечтаетъ о другихъ средствахъ и путяхъ, болѣе возможныхъ и разумныхъ. На вопросъ, самъ собою напрашивающійся, почему-же онъ все-таки примыкаетъ къ революціонной партіи и путается въ это дѣло, не вѣря въ него, онъ отвѣчаетъ со свойственною ему лаконической уклончивостью, что—«другихъ путей нѣтъ». Такимъ отвѣтомъ онъ уклоняется отъ безконечнаго спора, который—онъ это знаетъ—все равно ни къ чему не приведетъ, и отъ необходимости «развивать свои взгляды»,—занятіе ему не по сердцу. Соломинъ—не спорщикъ, не теоретикъ, не составитель «программъ». Но настоящая причина, почему онъ такъ или иначе примыкаетъ къ «партіи», сводится къ психологической невозможности для такого человѣка, какъ онъ, стоять въ сторонѣ, особнякомъ, бросить людей, съ которыми онъ сходится въ убѣжденіяхъ, въ идеалахъ, людей, которыхъ онъ любитъ и жалѣетъ, оставить кругъ, гдѣ онъ можетъ «отвести душу». Не забудемъ, что Со-

Digitized by Google

ломинъ—человѣкъ душевный, сердечный, относящійся къ людямъ «по-человѣчеству», что въ немъ нѣтъ и тѣни той прямолинейности и безапелляціонности фанатизма, для которой живая личность ближняго утрачиваетъ весь интересъ и превращается въ орудіе для достиженія высшихъ цѣлей. Въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ онъ не руководится партіознымъ дѣленіемъ ихъ на пригодныхъ или не пригодныхъ для дѣла. Неждановъ и Маркеловъ въ его глазахъ—не пригодны и могутъ только повредить дѣлу, но онъ ихъ любитъ и—остается съ ними. Эта черта въ Соломинѣ отмѣчена Тургеневымъ съ совершенной ясностью. Она отчетливо выступаетъ напр. въ сценѣ совѣщанія Нежданова и Маріанны съ Соломинымъ передъ бѣгствомъ изъ дома Сипягиныхъ (гл. XXV) и во всемъ поведеніи Соломина во время укрывательства молодой четы на фабрикѣ. Усматривать здѣсь эгоистическій мотивъ (зарождающееся чувство къ Маріаннѣ) нельзя. Во-первыхъ, это чувство было еще неясно самому Соломину, во-вторыхъ совершенно очевидно, что его отношенія къ Маріанѣ были-бы такія-же сердечныя, участливыя, доброжелательныя и безъ этого чувства.

Но надо сказать правду: это тяготѣніе Соломина къ людямъ, съ которыми онъ сходится въ идеалахъ и расходится въ средствахъ, путяхъ,—людямъ, дѣлающимъ, по его убѣжденію, не то что нужно, и не такъ, какъ нужно, — это тяготѣніе и его психологія лишь намѣчены и недостаточно разработаны Тургеневымъ. Здѣсь-то и скрывается слабый пунктъ «Нови», — недостатокъ, находящійся въ прямой зависимости отъ другой ошибки, сдѣланной Тургеневымъ въ самомъ началѣ, таившейся въ самомъ замыслѣ произведенія. Въ этотъ замыселъ, какъ по всему видно, входила заранѣе предвзятая мысль—изобразить извѣстное движеніе, какъ дѣло небольшой кучки незрѣлой молодежи съ прибавкою небольшого числа тупыхъ фанатиковъ въ родѣ Остродумова да личноозлобленныхъ неудачниковъ въ родѣ Маркелова. Въ искусствѣ, какъ и въ наукѣ, предвзятыя мысли очень часто вредятъ успѣху замысла. Факты же были вотъ какіе.

Во-первыхъ, это было движеніе почти массовое. «Въ народъ» шли сотни; къ движенію примыкали тысячи. Ариѳметика-же въ данномъ случаѣ имѣетъ огромное значеніе для психологіи: тотъ-же Соломинъ былъ-бы психологически совершенно понятенъ и съ художественной стороны безупреченъ среди этихъ сотенъ и тысячъ. Самый трезвый и уравновѣшенный человѣкъ не можетъ не

Digitized by Google

примкнуть, хоть «съ боку», какъ это и дѣлаетъ Соломинъ, къ массѣ, одушевленной идеями, которыя ему дороги. Другое дѣло—если это не масса, а ничтожная кучка: сила тяготѣнія слишкомъ слаба, и Соломинъ не остается свободенъ отъ упрека въ непослѣдовательности.—Во-вторыхъ, въ этой массѣ встрѣчались всевозможные типы,—тутъ были и Маркеловы, и Остродумовы, и даже Кисляковы, но тутъ-же были умы и натуры—совсѣмъ другого рода, люди, которые могли-бы составить для Соломина болѣе подходящую компанію. На нихъ онъ не смотрѣлъ-бы сверху внизъ и, пожалуй, не уклонялся-бы отъ принципіальныхъ и иныхъ споровъ съ ними, хорошо понимая, что съ этими стоитъ поговорить, и что отъ исхода такого разговора или спора, кто знаетъ, можетъ зависѣть иное серьезное дѣло. Эти люди брались за задачу неразрѣшимую, за дѣло безнадежное, но тѣхъ глупостей, какія совершаютъ Неждановъ и Маркеловъ, они не дѣлали.—Въ-третьихъ, несмотря на то, что всѣ стремились къ дѣлу, хлопотали о дѣятельности, толковали о средствахъ, путяхъ, пропагандѣ, агитаціи и т. д., все-таки, силою вещей, движеніе на добрую половину было умственное, и, пожалуй, большая часть времени, силъ, ума, горячности пошла не на дѣло, а на выработку міросозерцанія. Сцена бесѣды у Маркелова (не говоря уже о сценѣ у Голушкина) не даетъ должнаго понятія объ этой затратѣ силъ, объ этой—чисто умственной, теоретической—сторонѣ движенія. Оно было запечатлѣно извѣстнымъ духомъ, и этотъ духъ Тургеневъ не уловилъ...

Какъ бы мы ни судили о людяхъ того времени, о ихъ идеяхъ, идеалахъ и дѣлахъ, несомнѣнно одно,—что Тургеневъ въ «Нови» погрѣшилъ противъ дѣйствительности, и эта погрѣшность привела къ недостаточной мотивировкѣ дѣйствій Соломина, къ нѣкоторой психологической невыясненности личности главнаго героя.

За вычетомъ этого недостатка, сама по себѣ фигура Соломина всетаки остается однимъ изъ крупнѣйшихъ созданій Тургенева, и нигдѣ, можетъ быть, даже въ Базаровѣ, объективный геній нашего художника не сказался такъ полно, такъ ярко.

Говоря о Базаровѣ, я указалъ между прочимъ на одну черту въ творчествѣ Тургенева: это именно исканіе настоящаго человѣка, дѣятеля, который былъ-бы «нуженъ Россіи» и явился-бы воплощеніемъ дѣловитости, положительности, практическаго смысла—вмѣстѣ съ высшей идейностью.

Digitized by Google

И Тургеневъ, послѣ долгихъ поисковъ, нашелъ такого человѣка—въ Соломинѣ. Базаровъ—тотъ оказался не «настоящій»—и вотъ онъ умираетъ преждевременно, какъ-бы упраздняется за ненадобностью, и умирая говоритъ Одинцовой: «отецъ вамъ будетъ говорить, что вотъ, молъ, какого человѣка Россія теряетъ... Это чепуха... Я нуженъ Россіи! Нѣтъ, видно не нуженъ. Да и кто нуженъ?...»

Черезъ 15 лѣтъ на этотъ вопросъ умирающаго Базарова Тургеневъ отвѣтилъ созданіемъ типа Соломина, о которомъ—устами Паклина—онъ отзывается такъ: «Такіе, какъ онъ,—онито вотъ и суть настоящіе... и будущее имъ принадлежитъ. Это—не герои... Это—крѣпкіе, сѣрые, одноцвѣтные, народные люди. Теперь только такихъ и нужно...» (гл. XXXVIII). И не только устами Паклина, но и прямо отъ своего имени Тургеневъ говоритъ то-же самое въ письмѣ къ г-жѣ Ф—ой (отъ 11 сентября 1874 года, «Письма», № 192): «...Вы начали съ Базарова: и я съ него начну. Вы ищете его въ дѣйствительной жизни, и вы его не найдете: я вамъ сейчасъ скажу, почему. Времена перемѣнились; теперь Базаровы не нужны. Для предстоящей общественной дѣятельности не нужно ни особенныхъ талантовъ, ни даже особеннаго ума—ничего крупнаго, выдающагося, слишкомъ индивидуальнаго; нужно трудолюбіе, терпѣніе; нужно умѣть жертвовать собою безъ всякаго блеску и треску—нужно умѣть смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже жизненной работы—я беру слово: «жизненный»—въ смыслѣ простоты, безхитростности, terre à terre'a. Что можетъ быть напр. жизненнѣе—учить мужика грамотѣ, помогать ему, заводить больницы и т. д. На что тутъ таланты и даже ученость?...» Какъ не вспомнить тутъ словъ Соломина Маріаннѣ:—«Да позвольте, Маріанна... Какъ-же вы себѣ это представляете: начать?—Не баррикады же строить со знаменемъ наверху—да: ура! за республику!—Это-же и не женское дѣло. А вотъ, вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите;—и трудно вамъ это будетъ, потому что нелегко понимаетъ Лукерья, и васъ чуждается,—да еще воображаетъ, что ей совсѣмъ не нужно то, чему вы ее учить собираетесь; а недѣли черезъ двѣ или три вы съ другой Лукерьей помучитесь, а пока—ребеночка вы помоете или азбуку ему покажете,—и больному лѣкарство дадите... вотъ вамъ и начало». Но Маріанна хочетъ большаго.—«Да вѣдь это сестры милосердія дѣлаютъ... Я о другомъ мечтала», гово-

Digitized by Google

ритъ она. Она ищетъ широкой, захватывающей дѣятельности. Она жаждетъ «пожертвовать собой». То, что говоритъ ей Соломинъ въ отвѣтъ на ея признанія въ этомъ родѣ, такъ для него характерно, такъ важно для правильнаго пониманія ума и натуры героя романа, что я считаю нужнымъ выписать все мѣсто:

«Соломинъ пристально посмотрѣлъ на Маріанну.

— Знаете что, Маріанна... Вы извините неприличность выраженія... но по моему: шелудивому мальчику волосы расчесать— жертва, и большая жертва, на которую не многіе способны.

— Да я отъ этого не отказываюсь, Василій Ѳедотычъ.

— Я знаю, что не отказываетесь! Да, вы на это способны. И вы будете—пока—дѣлать это; а потомъ, пожалуй, и другое.

— Но для этого надо поучиться у Татьяны!

— И прекрасно... учитесь. Вы будете чумичкой горшки мыть, щипать куръ... А такъ, кто знаетъ, можетъ быть, спасете отечество!

— Вы смѣетесь надо мною, Василій Ѳедотычъ.

Соломинъ медленно потрясъ головою.

— О, моя милая Маріанна, повѣрьте: не смѣюсь я надъ вами, и въ моихъ словахъ простая правда. Вы уже теперь, всѣ вы, русскія женщины, дѣльнѣе и выше насъ, мужчинъ». (гл. XXIX).

Соломинъ отлично видитъ, что эта чистота души, эта жажда подвига, самопожертвованія, этотъ энтузіазмъ Маріанны—огромная сила, которую нужно только надлежащимъ образомъ направить. Но онъ не только это видитъ и чувствуетъ,—онъ самъ подчиняется обаянію этой женственной силы. Если бы онъ не былъ способенъ ей подчиниться, то это уже не былъ бы тотъ Соломинъ, который такъ по сердцу Тургеневу. Одна практичность и трезвость ума, одна холодная дѣловитость еще недостаточны, чтобы Соломинъ имѣлъ право на то сочувствіе, на ту любовь и интересъ, съ которыми относится къ нему авторъ. Душевная чуткость и отзывчивость, способность умилиться передъ тѣмъ, что́ представляетъ собою Маріанна,—вотъ черта, дѣлающая изъ уравновѣшеннаго и «прохладнаго» (по выраженію Өимушки) Соломина—человѣка не только «настоящаго», полезнаго, нужнаго, но и очень интереснаго, невольно привлекающаго къ себѣ всѣ симпатіи. И въ самомъ дѣлѣ, простой, «сѣрый», «прохладный» Соломинъ покоряетъ сердца,—въ немъ, какъ и въ Маріаннѣ, есть нѣчто обаятельное. Паклинъ, который все и всѣхъ пони-

Digitized by Google

маетъ, тотъ сразу его понялъ и, можно сказать, «влюбился» въ него. Да и не только Паклинъ, а и другіе, каждый по своему, или любятъ или могли бы полюбить Соломина, и Неждановъ, и Маркеловъ. Только такіе, совершенно загипнотизированные субъекты, какъ Остродумовъ и Машурина,—не могутъ понять Соломина и относятся къ нему равнодушно—холодно. Въ этой особенности Соломина сказывается существенное различіе между нимъ и Базаровымъ. Базаровъ—человѣкъ недобрый и большой эгоистъ. Соломинъ напротивъ,—добрякъ и меньше всего эгоистъ. Для всякаго непредубѣжденнаго читателя, который не вычитываетъ больше того, что сказано авторомъ, совершенно ясно, что напр. заботы Соломина о Маріаннѣ (см. въ концѣ гл. XXV и эпизодъ съ ключемъ въ гл. XXIX) вытекаетъ не изъ эгоистическихъ соображеній, а прямо изъ чувства жалости и безкорыстной любви къ этой чудной дѣвушкѣ. Глухое предчувствіе, что не Неждановъ, а онъ, Соломинъ, будетъ ея избранникомъ, можетъ быть и копошилось въ глубинѣ его души, но, разумѣется, уже по самой своей затаенности, не могло служить движущимъ мотивомъ въ этихъ заботахъ. Не могъ же въ самомъ дѣлѣ Соломинъ предугадать развязку. Искать въ его поведеніи чего-либо коварнаго—значитъ сочинять другого Соломина, вмѣсто того, который изображенъ Тургеневымъ. Неожиданностью развязки (самоубійство Нежданова) онъ былъ пораженъ почти въ той-же степени, какъ и Маріанна, и вмѣстѣ съ нею онъ раздѣляетъ чувство нѣкоторой—невольной—виновности передъ покойникомъ (гл. XXXVIII).

Другая черта Соломина, которою также онъ рѣзко отличается отъ Базарова, это—отсутствіе той авторитарности, которая свойственна послѣднему. Базаровъ слишкомъ импонируетъ и любитъ властвовать надъ людьми, и люди подчиняются его могучей волѣ. Это человѣкъ, который хочетъ и можетъ «ломать другихъ»,—потому что онъ одаренъ огромной силой воли прежде всего надъ самимъ собою: онъ можетъ «взять себя за вихоръ и выдернуть, какъ рѣдьку изъ грядки». Соломину же подчиняются, потому что любятъ его. На фабрикѣ онъ—«отецъ родной». Павелъ преданъ ему какъ рабъ, но рабъ, влюбленный въ своего господина. Власть и сила Соломина основаны прежде всего на симпатичныхъ сторонахъ его натуры, а не на силѣ воли. Недостатка въ этой послѣдней, конечно, нѣтъ и у него. Онъ такъ же можетъ управлять собою и способенъ «выдернуть себя изъ грядки»,

Digitized by Google

какъ это и случилось однажды въ Лондонѣ, гдѣ Соломинъ чуть было не увлекся одной ирландкой (гл. XXIV).

Но эта сила смягчена въ Соломинѣ уравновѣшенностью его натуры: вѣдь онъ—«прохладный». Базаровъ—тотъ горячій и мятущійся. Базаровъ—титанъ, и ему нужно дѣло титаническое. Соломинъ—человѣкъ жизненнаго (культурнаго) труда и будетъ вполнѣ удовлетворенъ, когда найдетъ негромкое, но хорошее дѣло по душѣ. И онъ спокоенъ—потому что знаетъ, что найдетъ его, и оно будетъ спориться въ его умѣлыхъ рукахъ, просвѣтленное свѣтомъ его мысли и согрѣтое теплотою его сердечности. Базаровъ—далеко не спокоенъ: онъ чувствуетъ, что не найти ему того дѣла, которому онъ могъ-бы цѣликомъ отдаться, и что нѣтъ въ его душѣ тепла, способнаго согрѣть его собственную жизнь и жизнь окружающихъ его людей. Базаровъ—яркій метеоръ, который «свѣтитъ да не грѣетъ». Не то Соломинъ...

II.

Теперь постараемся уяснить себѣ тѣ пути творческой мысли, идя которыми Тургеневъ нашелъ Соломина. Отправной пунктъ былъ, очевидно, тотъ самый, отъ котораго отправлялся Тургеневъ въ поискахъ за Базаровымъ. Это было стремленіе создать дополнительную для самого себя личность и вмѣстѣ съ тѣмъ найти въ ней «настоящаго»,—нужнаго для Россіи человѣка. Но отправляясь отъ одной точки, оба пути—базаровскій и соломинскій—разошлись въ совершенно противоположныя стороны. Мы знаемъ уже, что первый—базаровскій—путь привелъ, во-первыхъ, къ созданію личности трагической и, во-вторыхъ, проведенный нѣсколько дальше Базарова, закончился апоѳеозомъ смерти, «Призраками» и «Довольно»,—выраженіемъ личныхъ воззрѣній и душевныхъ мукъ художника. Объективное въ началѣ и срединѣ процесса творчество въ концѣ свернуло на дорогу субъективности.—Совсѣмъ не то видимъ мы въ созданіи Соломина. Соломинъ—фигура, полученная чисто-объективнымъ путемъ, Тургеневъ ничего своего не вложилъ въ нее, и, отправляясь отъ Соломина дальше, мы никоимъ образомъ не придемъ къ такому обсерваціонному пункту, съ котораго мы могли-бы заглянуть въ субъективный міръ самого Тургенева. «Призраки» и «Довольно» хронологически и психологически слѣдуютъ за «Отцами и Дѣтьми», за смертью Базарова. Ничего подобнаго этимъ въ своемъ родѣ

Digitized by Google

эпилогамъ, этому добавочному творчеству не находимъ мы послѣ «Нови». Творческая энергія, затраченная на «Новь», была исчерпана вся съ послѣднимъ восклицаніемъ Паклина «безымянная Русь!»—и то, что Тургеневъ создалъ послѣ «Нови», принадлежитъ уже другимъ приливамъ творчества, не имѣющимъ органической связи, съ тѣмъ, которое дало бытіе послѣднему изъ «соціальныхъ» романовъ Тургенева.

Весьма возможно, что дѣло обернулось бы иначе, и вслѣдъ за «Новью» Тургеневъ далъ-бы намъ что-нибудь—по идеѣ и настроенію—въ родѣ «Призраковъ» и «Довольно», если бы весь интересъ «Нови» былъ сосредоточенъ на личности Нежданова. Это было-бы въ такомъ случаѣ новое повѣствованіе еще объ одномъ «лишнемъ» человѣкѣ и новыя варіаціи на тему о тщетѣ и суетѣ вещей, о бренности всего человѣческаго, о торжествѣ смерти, о ничтожествѣ. Но Неждановъ—лицо не только не главное, не «герой» романа, но все его назначеніе сводится къ тому, чтобы лучше оттѣнить Соломина. Соломинъ дорисованъ противопоставленіемъ Нежданову. Нервный, неровный, безъ выдержки, съ подкошенной жизненной энергіей, эстетикъ, поэтъ, жертва рефлексіи, Неждановъ есть самый, быть можетъ, л и ш н і й изо всѣхъ тургеневскихъ «лишнихъ» людей,—и, поставленный рядомъ съ Соломинымъ, онъ отлично оттѣняетъ противоположныя черты послѣдняго. Благодаря этому сопоставленію, идея романа выступаетъ съ большой ясностью. Неждановъ есть какъ-бы комментарій къ Соломину, и все, что я на этихъ страницахъ говорю о главномъ героѣ «Нови», о его умѣ, натурѣ, значеніи, призваніи, иначе уже сказано Тургеневымъ—созданіемъ фигуры Нежданова Въ этомъ смыслѣ Неждановъ сближается съ Аркадіемъ Кирсановымъ,—не самъ по себѣ (это люди—разные), а именно какъ образы, главное назначеніе которыхъ оттѣнять и дорисовывать личности главныхъ героевъ. Аркадій помогаетъ Базарову, какъ Неждановъ—Соломину, ярче выступать въ воображеніи читателя.

Въ силу т а к о г о значенія Нежданова въ романѣ, этотъ образъ не могъ служить тѣмъ импульсомъ, который направлялъ-бы мысль художника въ сторону апперцепціи «лишнихъ» людей, суеты суетъ, «ничтожества» и смерти. Движеніе пошло совсѣмъ въ другую сторону—отъ Соломина, и ведетъ оно къ жизни, теплу и свѣту жизни, къ борьбѣ, труду, любви, идеалу. На этомъ пути лучезарной звѣздой свѣтитъ намъ чудный образъ Маріанны: не о самозакланіи Джагернауту говоритъ онъ намъ, онъ говоритъ о

Digitized by Google

бодромъ, о славномъ, о любвеобильномъ дѣлѣ жизни, лозунгомъ котораго являются слова того-же Соломина къ Маріаннѣ: «нѣтъ, живите... живите! это главное», и посмертный завѣтъ Нежданова: «живите счастливо, живите съ пользой для другихъ...»

Итакъ, вотъ путь: чтобы «найти» Соломина, художникъ долженъ былъ направить свою мысль на тѣ стороны жизни и тѣ элементы духа, которые менѣе всего могутъ быть названы трагическими. Нужно было закрыть глаза на противорѣчія жизни, дѣйствительныя или кажущіяся, и прежде всего на тѣ, которыя отмѣчены въ «Довольно». Необходимымъ условіемъ созданія «Нови» и въ особенности фигуры Соломина было то, чтобы «мысль о тщетѣ всего человѣческаго, всякой дѣятельности, ставящей себѣ болѣе высокую цѣль, чѣмъ добываніе насущнаго хлѣба» («Довольно», XXIII), не «закрадывалась въ голову» художника. Необходимо было также, чтобы арена творчества была свободна отъ того настроенія, подъ властью котораго Базаровъ говорилъ: «...Я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ, ну, а дальше?» Очень важно было также не чувствовать того «коренного противорѣчія», о которомъ говорится въ XVI гл. «Довольно»: «каждый изъ насъ болѣе или менѣе смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что онъ сродни чему-то высшему, вѣчному и живетъ, долженъ жить въ мгновеніи и для мгновенія. Сиди въ грязи, любезный, и тянись къ небу!» Наконецъ, призракъ смерти, ужасъ передъ «ничтожествомъ», содраганіе передъ стихійнымъ въ природѣ и жизни—все это должно было стушеваться, исчезнуть изъ поля художническаго зрѣнія, вся эта субъективная пелена должна была отпасть, И не мудрствуя лукаво, веселымъ и бодрымъ, немножко умиленнымъ, благодушно-насмѣшливымъ взоромъ художникъ взглянулъ на Божій міръ—все-таки, несмотря на бездну зла, ему присущаго, «прекрасный, какъ и въ первый день творенія». И жизнь человѣческая явилась ему озаренная яркимъ свѣтомъ, согрѣтая теплотою молодыхъ надеждъ, молодыхъ стремленій, она открылась ему въ томъ видѣ, какъ чувствовали ее Нежановъ и Маріанна, когда, послѣ рѣшительнаго объясненія и взаимныхъ признаній, они шли „задумчивые, счастливые,—молодая трава ластилась подъ ихъ ногами, молодая листва шумѣла кругомъ; пятна

Digitized by Google

свѣта и тѣни побѣжали, проворно скользя по ихъ одеждѣ—и оба они улыбались и тревожной ихъ игрѣ, и веселымъ ударамъ вѣтра, и свѣжему блистанью листьевъ, и собственной молодости и другъ другу» (XXII).

На такомъ пути творчества, при такомъ освѣщеніи впечатлѣній, изъ мастерской художника изгоняются тревожные вопросы бытія, метафизическія тайны жизни, пессимистическій взглядъ на вещи. И вмѣстѣ съ ними исчезаетъ стихія трагическаго. Я разумѣю трагизмъ настоящій, психологическій, базаровскій. Такого въ «Нови» нѣтъ. Соломинъ и Маріанна—лица не трагическія. Что-же касается Нежданова и Маркелова, то трагична ихъ судьба, а не они сами. Смерть Нежданова не потрясаетъ читателя, не вызываетъ въ немъ тѣхъ думъ о роковой власти смерти, о бренности всего человѣческаго и т. д., какія вызываются смертью Базарова. Конечно, въ душѣ Нежданова, исполненной разлада и терзаемой внутренними противорѣчіями, совершается извѣстная драма, но нескрываемая иронія, съ которою художникъ эту драму воспроизвелъ, является, какъ капля яда, смертельнымъ для нея началомъ: драма, пожалуй, остается, но трагическое въ ней убито.

Объ остальныхъ лицахъ и говорить нечего. Остродумовъ и Машурина принадлежатъ къ области комичнаго (не въ томъ смыслѣ, конечно, какъ Сипягинъ, Калломѣйцевъ и Голушкинъ—типы рѣзко-отрицательные, предметъ сатиры). Остродумовъ и Машурина являютъ собой типичный образчикъ сочетанія ограниченности ума съ несомнѣнной честностью души, безкорыстіемъ побужденій, самоотверженіемъ, сочетанія, которое нерѣдко наблюдается въ дѣйствительности, проявляется и на исторической аренѣ, и въ искусствѣ со временъ Сервантеса совершенно правильно квалифицировано, какъ «комическое». Въ дѣйствительности участь такихъ людей бываетъ часто трагична. Онѣ нерѣдко страдаютъ и гибнутъ. Но если художникъ вздумаетъ изобразить ихъ, какъ героевъ трагическихъ, то выйдетъ мелодрама. По той-же причинѣ не трагиченъ и Маркеловъ. Но разница между нимъ съ одной стороны и Остродумовымъ и Машуриной съ другой въ томъ, что послѣдніе, хотя и носятъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе, но не сознаютъ его, и потому нѣтъ никакой «драмы» въ ихъ душѣ, Маркеловъ-же несомнѣнно мучится сознаніемъ, что онъ неудачникъ, что счастье ему недоступно, вообще это фигура мрачная, почти зловѣщая, натура озлобленная и по-своему сильная. Но

Digitized by Google

въ немъ, еще въ большей степени, чѣмъ у Нежданова, эта внутренняя драма развѣнчана и убита ироніей художника. Чтобы лицо вышло истинно-трагическимъ, художникъ, рисуя его, отнюдь не долженъ смотрѣть на него сверху внизъ.

Остается Паклинъ.—Вотъ лицо, которое больше всѣхъ другихъ имѣло-бы права на трагизмъ: онъ уменъ и крѣпокъ мыслью, но слабъ духомъ; онъ все отлично понимаетъ и ничего не можетъ; въ немъ много интереса къ жизни—и никакой жизнеспособности. Строго говоря, то, что происходитъ въ душѣ Силы Самсоныча Паклина,—по существу трагично, но всѣ мы такъ уже устроены, что никакъ не можемъ признать это «трагедіей», и съ жестокостью, свойственной всему живущему и пользующемуся жизнью, относимъ маленькаго, хроменькаго, слабенькаго Паклина, вмѣстѣ напр. со старой дѣвой,—къ области комическаго.

Итакъ, трагическій элементъ въ «Нови» отсутствуетъ. Его-бы не было тамъ и въ томъ случаѣ, если-бы Соломинъ и Маріанна были представлены гибнущими въ непосильной борьбѣ съ обстоятельствами или напр. съ той темной силою, которая олицетворена въ образѣ Калломѣйцева. Въ такомъ случаѣ, мы сказали-бы о нихъ то самое, что̀ только-что было сказано о Неждановѣ и Маркеловѣ: ихъ судьба печальна, трагична, но не они сами. Иное дѣло—Базаровъ: тотъ все-таки оставался-бы лицомъ трагическимъ—и безъ роковой преждевременной смерти; смерть, какъ говоритъ самъ Тургеневъ въ письмѣ къ Случевскому, кладетъ только послѣднюю черту на его трагическую личность. («Письма». № 81).

Ни въ Соломинѣ, ни въ Маріаннѣ нѣтъ ничего трагическаго потому, что это натуры ясныя, уравновѣшенныя, чистыя души, золотыя сердца,—что ни въ запросахъ ихъ ума, ни въ глубинѣ ихъ души нѣтъ внутренняго разлада, нѣтъ ничего «самоломаннаго». Цѣль жизни имъ ясна. Они знаютъ, чего хотятъ, что имъ нужно, и будутъ вполнѣ счастливы, если имъ удастся устроить свою жизнь въ духѣ своихъ завѣтныхъ стремленій. Но они счастливы и въ самихъ поискахъ, и если-бы имъ пришлось среди этихъ исканій погибнуть, они-бы умерли съ спокойной совѣстью, съ отраднымъ сознаніемъ, что хотѣли добра, стремились къ хорошему и—зла не дѣлали. Внутренній миръ — вотъ то, довольно рѣдкое для людей неограниченныхъ, счастье, которымъ, по самой натурѣ своей, обладаетъ и Соломинъ и Маріанна, и котораго лишенъ Базаровъ.

Digitized by Google

И вотъ почему въ «прохладной» и мужественной душѣ Соломина — нѣтъ трагедіи, какъ нѣтъ ея и въ страстной женственной душѣ Маріанны.

О Маріаннѣ у насъ будетъ еще рѣчь (въ главѣ о женскихъ типахъ Тургенева), а пока—имѣя въ виду одного Соломина—мы скажемъ, что созерцаніе этого художественнаго образа должно было доставлять Тургеневу большое душевное удовлетвореніе, все равно какъ если бы онъ въ самомъ дѣлѣ встрѣтилъ такого человѣка. Ибо это—тотъ самый человѣкъ, котораго Тургеневъ искалъ и для себя лично, и для Россіи. Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что Тургеневъ въ самомъ дѣлѣ былъ убѣжденъ въ необходимости для Россіи дѣятелей соломинскаго типа, какъ это между прочимъ видно изъ вышеприведенной выдержки изъ письма къ г-жѣ Ф—ой. Соломина нашелъ, полюбилъ и оцѣнилъ Тургеневъ—гражданинъ. Но и л и ч н о, какъ человѣкъ, Тургеневъ н у ж д а л с я въ Соломинѣ; онъ находилъ въ немъ гармоническое восполненіе себѣ. Дворянинъ и баринъ, немножко баловень, немножко диллетантъ, Тургеневъ встрѣчалъ въ Соломинѣ лучшій образецъ «народнаго» человѣка, закаленнаго въ суровой школѣ трудовой жизни. Самъ умница, но умница — художникъ, теоретикъ, идеалистъ, Тургеневъ находилъ въ Соломинѣ умницу-практика, реалиста, представителя прикладнаго — въ обширномъ смыслѣ—труда. Самъ лишенный иниціативы и неспособный къ дѣйствію, натура по преимуществу созерцательная, художникъ видѣлъ въ Соломинѣ отрадный примѣръ дѣятеля—не фантазера, который не только знаетъ, что можно и должно дѣлать, но и умѣетъ дѣлать это. Наконецъ, художникъ-мыслитель съ душою, столь доступною міровой скорби, съ умомъ, терзаемымъ противорѣчіями бытія, находилъ душевное успокоеніе въ общеніи съ натурою, которая, при своеобразной возвышенности и глубинѣ, чужда этимъ вопросамъ и скорбямъ и беретъ жизнь, какъ она есть, не мудрствуя лукаво и сама ничуть не становясь оттого пошлою. Пессемисту отрадно было отдохнуть отъ своихъ душевныхъ мукъ на созерцаніи,—на усвоеніи себѣ здороваго, свѣтлаго оптимизма, представляемаго Соломинымъ.

Не знаю, имѣлъ-ли Тургеневъ для изображенія Соломина въ своемъ распоряженіи «натуру» (какъ для Базарова),—встрѣчалъ-ли онъ людей соломинскаго типа. Но несомнѣнно одно: отдѣльныя, разрозненныя черты этого типа хорошо были извѣстны ему: онъ ихъ неоднократно могъ наблюдать въ великорусскомъ народѣ.

Digitized by Google

Такъ-называемая «сметка» и «себѣ на умѣ», характерная черта великорусса, немного идеализированная, расширенная, облагороженная образованіемъ, легко претворяется въ умъ Соломина. Способность и любовь ко всему прикладному, техническому, практическій смыслъ, наконецъ своеобразный дѣловой идеализмъ—все это народныя великорусскія черты, и Соломинъ—вѣрный ихъ представитель.

Первыя впечатлѣнія и наблюденія, которыя впослѣдствіи должны были дать матеріалъ или отправныя точки для созданія Соломина, были собраны Тургеневымъ еще въ раннюю пору его творчества, когда онъ присматривался къ народнымъ типамъ и старался уловить характерную складку великорусскаго народнаго ума. Нѣкоторыя изъ этихъ наблюденій и пригодились ему—когда онъ впервые обдумывалъ типъ Соломина. Такимъ образомъ, я склоненъ думать, что между «Записками охотника», этой по преимуществу народной великорусской книгою, и созданіемъ фигуры Соломина есть нѣкоторая связь, хотя, быть можетъ, самъ художникъ и не сознавалъ ея. Если бы у Тургенева было такое пристрастіе къ генеалогіямъ, какъ у Золя, и онъ, подобно послѣднему, устанавливалъ бы родственныя связи между своими героями съ цѣлью показать передачу наслѣдственныхъ чертъ, то онъ могъ бы смѣло вывести Соломина изъ рода однодворца Овсянникова, сдѣлавъ его напр. внукомъ его племянника—Мити.

«Записки охотника» принадлежатъ къ числу наиболѣе наивныхъ произведеній Тургенева: здѣсь онъ — меньше всего «мыслитель» и, немудрствуя лукаво, любопытными, внимательными, добрыми глазами всматривается въ явленія, которыя проходятъ передъ нимъ, — но онъ не равнодушный зритель — много теплоты душевной, много сочувствія, любви затрачено на эти наблюденія. И — въ преобразованномъ, конечно, видѣ, mutatis mutandis—тотъ же характеръ наивности творчества чувствуется въ «Нови», и все тѣ-же глаза, любопытные и добрые, съ сочувствіемъ, съ любовью всматриваются въ новыя явленія русской жизни.

Digitized by Google

ГЛАВА IV.

Перехожу къ разбору женскихъ типовъ Тургенева.

Здѣсь мы вступаемъ въ ту область Тургеневскаго творчества, гдѣ его объективный геній обнаружился во всей своей мощи.

Прежде всего возникаетъ вопросъ: въ какомъ смыслѣ можетъ быть названо объективнымъ или субъективнымъ творчество художника, направленное на воспроизведеніе женскихъ натуръ?

Напомню читателю, что я называю субъективнымъ не только того художника, который рисуетъ прямо съ себя, но и того, который воспроизводитъ натуры, родственныя своей, характеры, представляющіе много общаго съ его собственнымъ характеромъ, типы своей среды, своего круга. Таковъ въ значительной мѣрѣ Л. Н. Толстой. И вотъ, ежели художникъ воспроизводитъ въ своемъ созданіи натуру своей матери, сестры, кузины,—все образы, съ которыми у него, въ силу наслѣдственности и одинаковаго соціальнаго положенія, есть много общаго, и если это именно и будутъ его шедевры, то я назову его субъективнымъ, не взирая на ту долю объективности, какою долженъ обладать всякій художникъ — мужчина, изображающій женскую натуру.

Обращаясь къ лучшимъ женскимъ типамъ Тургенева, мы прежде всего видимъ, что въ нихъ воспроизведены такія женскія натуры, умы, характеры, для созданія которыхъ художникъ не могъ найти отправныхъ точекъ въ предѣлахъ своей субъективной сферы,—ни въ себѣ самомъ, ни въ женщинахъ своей семьи, круга, среды.

Но этого мало: не только въ своей субъективной сферѣ, а и въ области объективнаго наблюденія Тургеневъ не могъ располагать — въ должномъ размѣрѣ — тѣмъ матеріаломъ, обобщеніемъ котораго явились-бы Лиза въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ» или Елена въ «Наканунѣ». Онъ встрѣчалъ въ дѣйствительности

Digitized by Google

только намеки на возможность такихъ женскихъ натуръ, можетъ быть, отдѣльные, рѣдкіе образчики ихъ, которые, конечно, онъ не могъ изучить хотя-бы приблизительно такъ, какъ изучилъ Толстой оригиналы Китти, Наташи и др. И вотъ на основаніи такихъ ничтожныхъ данныхъ дѣйствительности создаются идеальные женскіе образы, въ которыхъ нѣтъ и тѣни чего-либо дѣланнаго, сочиненнаго, — образы, выступающіе въ воображеніи читателя, какъ живые и, не взирая на то, что соотвѣствующія имъ явленія въ самой дѣйствительности суть исключенія, а не правило — открывающіе какую-то глубокую и несомнѣнную п р а в д у. Вотъ это и есть настоящее — объективное — т в о р ч е с т в о.

Чтобы составить себѣ понятіе о силѣ этого творческаго дара, необходимо обозрѣть важнѣйшіе женскіе образы, созданные Тургеневымъ. Мы сдѣлаемъ это обозрѣніе по извѣстному плану— раздѣливъ ихъ на двѣ большія группы. Въ первую группу войдутъ образы, которые мы назовемъ о т н о с и т е л ь н о - р а ц і о н а л ь н ы м и, во вторую тѣ, которые мы опредѣлимъ какъ и р р а ц і о н а л ь н ы е. Смыслъ этихъ терминовъ будетъ выясненъ ниже. Образы, входящіе въ составъ первой группы, распадаются на нѣсколько разрядовъ или типовъ. Мы разсмотримъ эти типы въ порядкѣ убывающей пошлости или низменности и возрастающей положительной содержательности женской души. Съ этой точки зрѣнія, въ первый разрядъ войдутъ фигуры к о м и ч н ы я, воспроизводящія пошлыя или вообще отрицательныя стороны женской натуры. Останавливаться на ихъ анализѣ я не буду и только напомню читателю нѣкоторые образчики этого рода: княгиня Засѣкина («Первая Любовь»), старая княжна Х-ая въ «Отцахъ и Дѣтяхъ», Кукшина тамъ-же, Суханчикова въ «Дымѣ», фигуры захолустныхъ дамъ и барышень въ «Двухъ Пріятеляхъ» и т. д.

Второй разрядъ составятъ образы также о т р и ц а т е л ь н ы е, но н е п о ш л ы е и н е к о м и ч н ы е. Наиболѣе видной представительницею этого разряда является г-жа П о л о з о в а въ «Вешнихъ водахъ». Въ ней нѣтъ ничего «идеальнаго», это натура низменная, грубая, чувственная, но это — женщина не заурядная. Она — исключеніе, а не правило. Ея происхожденіе воспитаніе, умъ, характеръ, самые ея пороки — все это не заурядно, не шаблонно, все это рѣзко выдѣляетъ ее изъ ряда обыкновенныхъ женщинъ, изъ женской толпы. И вотъ, несмотря

Digitized by Google

на такую исключительность, она все-таки типична. Но въ какомъ смыслѣ? Какіе конкретные факты дѣйствительности въ ней обобщены? Въ умѣ и характерѣ Полозовой схвачены нѣкоторыя черты національныя (великорусскія) и сословныя (народныя, въ противоположность дворянскимъ), но отнюдь не въ этомъ состоитъ ея типичность, какъ художественнаго образа. Въ Полозовой дано обобщеніе извѣстныхъ сторонъ женской натуры вообще, безъ различія національностей, сословій, положеній и т. д., сторонъ, скрытыхъ, подавленныхъ или стушеванныхъ у многихъ, у большинства, если хотите, но тѣмъ не менѣе существующихъ, и въ иныхъ женщинахъ — всѣхъ временъ и народовъ — выступающихъ зато съ особливой рельефностью. Какія же это стороны? Женскую натуру — въ томъ ея укладѣ, который мы назвали относительно-раціональнымъ,—удобнѣе всего опредѣлять не an sich, а въ ея отношеніяхъ къ мужчинѣ. Имѣя въ виду этотъ критерій, мы опредѣлимъ типъ Полозовой такъ: хищный-уравновѣшенный.

Стремленіе «сокрушать сердца», порабощать, овладѣвать волею мужчины составляетъ коренное свойство женской природы, какъ выработалась она тысячелѣтіями. Если женщина обладаетъ соотвѣтственными внѣшними рессурсами, это стремленіе усугубляется. Кокетство — настоящій инстинктъ. Но въ огромномъ большинствѣ случаевъ этотъ инстинктъ уже является въ формѣ переживанія; онъ дѣйствуетъ почти безсознательно и не цѣлесообразно: большинство женщинъ кокетничаютъ безъ ясно-поставленной цѣли — завоевать такого-то мужчину. Это нѣчто въ родѣ искусства для искусства, невольнаго упражненія врожденной способности. И — какъ всѣ переживанія и «игры»— это занятіе принадлежитъ къ числу не серьезныхъ и невинныхъ. Таково напр. кокетство Одинцовой («Отцы и Дѣти»). Но не таково кокетство Полозовой: у этой оно вполнѣ цѣлесообразно и систематически направлено на полное порабощеніе мужчины оно прямо бьетъ на его паденіе. При всемъ томъ—оно не очень опасно: только такія дряблыя натуры, какъ Санинъ, герой «Вѣшнихъ Водъ», становятся жертвой этой—уже не «игры»,—а настоящей женской хищности. Поставимъ на мѣсто Санина ну хотя-бы Аркадія Кирсанова: онъ—по молодости и слабости человѣческой — также увлекся бы Полозовой, но—только до грѣхопаденія, послѣ котораго несомнѣнно послѣдовало бы раскаяніе,

Digitized by Google

отвращеніе, самобичеваніе и — возвращеніе къ Джеммѣ. А вѣдь онъ не принадлежитъ къ числу сильныхъ характеровъ.

Гораздо опаснѣе другая—и высшая—разновидность хищной женщины, представленная Ириною въ «Дымѣ».

Въ «Дымѣ» противопоставлены одна другой двѣ женскія натуры—Ирина и Татьяна,—какъ въ «Вешнихъ Водахъ» противопоставлены Полозова и Джемма. Между Полозовой и Ириной есть кое-что общее, еще больше—между Татьяной и Джеммой.

Общее между Ириной и Полозовой—это то, что обѣ принадлежатъ къ одному и тому же разряду—хищныхъ. Но онѣ относятся не къ одной и той-же, а къ двумъ разновидностямъ этого типа, вслѣдствіе чего, кромѣ общихъ чертъ сходства или сродства, у нихъ усматриваются существенныя черты различія, такъ что онѣ никоимъ образомъ не могли бы замѣнить одна другую, какъ это могли-бы сдѣлать Татьяна и Джемма. Можно легко представить себѣ въ «Вешнихъ Водахъ» Татьяну (изъ «Дыма») вмѣсто итальянки Джеммы, а Джемму сдѣлать невѣстою Литвинова. Но поставить вмѣсто Ирины Полозову уже нельзя: Литвиновъ не воспылалъ бы къ ней такой страстью, какъ въ Иринѣ, и не бросилъ бы изъ за-нея невѣсту. Такой «экспериментъ» наглядно показываетъ намъ разницу между этими двумя разновидностями одного и того же—хищнаго—женскаго типа.

Полозова—натура чувственная и холодная, Ирина—страстная и не чувственная. Это различіе темпераментовъ соединяется у нихъ съ другимъ, болѣе важнымъ, болѣе глубокимъ различіемъ: Полозова—душа уравновѣшенная, спокойная; она вполнѣ довольна собою и своей жизнью: рѣшеніе личной задачи, которое она нашла, представляется ей наилучшимъ, и полный миръ, полное самоудовлетвореніе, какого никогда не знала и не узнаетъ Ирина, господствуетъ въ ея душѣ. Полозова—счастливая и спокойная, Ирина—несчастная и мятущаяся.

Типъ Ирины мы опредѣлимъ такъ: хищный—неуравновѣшенный.

Ирина—неуравновѣшенная потому, что, въ ея душѣ заключено коренное противорѣчіе элементовъ, ее образующихъ: одни изъ этихъ элементовъ ставятъ Ирину выше среды, въ которой она живетъ, а другіе, напротивъ, связываютъ ее со средою узами столь крѣпкими, что она даже не можетъ и представить себѣ существованія въ другой средѣ. Такой внутренній разладъ свойственъ многимъ, напр. тѣмъ, которые въ своемъ отечествѣ или

Digitized by Google

родномъ городѣ чувствуютъ себя прескверно и въ то же время ни въ какомъ другомъ мѣстѣ жить не могутъ. Тутъ дѣйствуютъ между прочимъ унаслѣдованные инстинкты. Связь Ирины съ великосвѣтскимъ обществомъ—въ ея крови, а также въ своего рода «категорическомъ императивѣ» ея красоты, которая требуетъ широкой и блестящей арены, гдѣ она могла бы себя показать въ настоящемъ свѣтѣ и дѣйствовать. Блескъ, роскошь, пышность, интриги, вліяніе, побѣды—все это для Ирины первая необходимость, какъ воздухъ. Внѣ этой атмосферы она зачахнетъ, затоскуетъ, и никакая любовь, никакое счастье не въ состояніи заполнить этого пробѣла.

Внутренній разладъ Ирины придаетъ ея личности своеобразную прелесть, дѣлаетъ ее «интересной», обаятельной. Этимъ ореоломъ, когда нужно, она отлично умѣетъ пользоваться для цѣлей своей женской хищности: на такую именно удочку и поймался, во второй разъ, Литвиновъ *).

Что Ирина принадлежитъ къ числу хищныхъ, это представляется мнѣ несомнѣннымъ. Правда, если мы будемъ судить о ней исключительно по ея первой любви къ Литвинову (въ Москвѣ)-то принуждены будемъ отказаться отъ такого приговора. За то, во второмъ ея романѣ съ Литвиновымъ присущая ей хищность выступаетъ съ полной отчетливостью. Но эта хищность смягчена въ ней двумя чертами: во первыхъ, она сама увлекается, сама въ извѣстной мѣрѣ страдаетъ и даже способна на нѣкоторыя жертвы; во-вторыхъ, она, по выраженію Потугина, «горда, какъ бѣсъ» и эта «гордость иногда мѣшаетъ ей лгать»**). Для большой хищности нужно много лукавства и много лжи. Въ общемъ, въ лицѣ Ирины Тургеневъ далъ намъ превосходный образчикъ великосвѣтской женщины—умной, гордой, страстной, надѣленной большими душевными силами, которыя однакоже подточены какой-то роковою порчей,—львицы «озлобленной» и страдающей а главное—сумѣвшей уберечься отъ всесильной заразы пошлости.

Но, сама не зараженная, она однако терпитъ эту пошлость мирится съ нею и даже не можетъ обойтись безъ нея. Подымаясь ступенью выше въ направленіи убывающей пошлости и, скажемъ, также и хищности, мы встрѣчаемъ одну изъ интереснѣйшихъ женскихъ личностей Тургенева — Анну Сергѣевну Одинцову, героиню «Отцовъ и Дѣтей».

*) Гл. XIII, въ концѣ.
**) Гл. XIV.

Digitized by Google

Если Иринѣ пошлое не претитъ, то у Одинцовой, напротивъ, одна изъ характерныхъ чертъ это именно — отвращеніе къ пошлому *). Одинцова никогда не могла-бы выйти замужъ за пошляка или за сквернаго человѣка и терпѣть его возлѣ себя, какъ это дѣлаетъ Ирина (не говоря уже о Полозовой). Подобно Иринѣ, она вышла замужъ по расчету, но ея мужъ, Одинцовъ, далеко не былъ человѣкъ пошлый (хотя-бы уже потому, что это былъ «чудакъ и ипохондрикъ», да къ тому-же человѣкъ хорошій и не глупый). Но и того она «едва выносила». Второй ея мужъ и подавно не являетъ ничего пошлаго: это человѣкъ, повидимому, далеко не заурядный **). Живетъ Одинцова отшельницею, въ сторонѣ отъ общества, и ее даже и представить себѣ нельзя вращающеюся въ «свѣтѣ», все равно — провинціальномъ или столичномъ, ведущею какія-нибудь сложныя интриги, сталкивающеюся съ людьми, которые ей непріятны, вообще въ положеніи и роли Ирины она немыслима. Это обусловливается, кромѣ отвращенія къ пошлому, еще и другими чертами натуры Одинцовой, именно ея спокойствіемъ, душевной уравновѣшенностью, холодностью и извѣстнымъ эгоизмомъ. На иной взглядъ, пожалуй, эти черты низведутъ ее съ пьедестала и заставятъ предпочесть ей страстную и грѣшную Ирину. Это ужъ будетъ дѣло субъективнаго взгляда и личнаго вкуса. Но насъ интересуютъ здѣсь эти женщины не сами по себѣ, какъ онѣ есть, съ ихъ сильными и слабыми сторонами, а въ качествѣ образовъ, открывающихъ намъ ту или другую стадію въ развитіи женственности, въ процессѣ облагороженія и возвышенія женской натуры. Съ этой, объективной, точки зрѣнія я и утверждаю, что стадія, представленная Одинцовой, выше той, которая дана въ Иринѣ. Критеріемъ служитъ мнѣ въ этомъ діагнозѣ принципъ убывающей пошлости и хищности. Ирина мирится съ пошлостью, Одинцова отъ нея бѣжитъ. Ирина—хищница, у Одинцовой хищность уже выродилась въ безвредную игру скучающей барыни (сравни «Письма», № 81), и съ этой стороны героиня «Отцовъ и Дѣтей» представляетъ собою переходную ступень къ слѣдующей стадіи въ развитіи женской натуры.

На этой стадіи мы находимъ положительные женскіе типы, образы, представляющіе намъ разновидности хорошей

*) „Одно пошлое ее отталкивало...“, „Отцы и Дѣти“, гл. XV.
**) Гл. XXVIII.

Digitized by Google

женщины, которой жизнь, дѣятельность и любовь служатъ источникомъ радости, счастья, свѣта, добра. Лучшими представительницами этого типа являются Татьяна въ «Дымѣ» и Джемма въ «Вешнихъ водахъ». Сюда-же мы отнесемъ напр. Александру Павловну въ «Рудинѣ», Ѳеничку въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» и нѣкоторыхъ другихъ. На этой ступени уже нѣтъ даже и того перерожденнаго хищничества, которое въ формѣ кокетства отъ скуки такъ свойственно прекрасному полу. О пошлости тутъ нѣтъ и помину, а эгоизмъ является въ своихъ высшихъ формахъ, напр. въ видѣ семейнаго и материнскаго. Женщины этого типа способны на самоотверженные подвиги, напр. у постели больного ребенка, вообще въ сферѣ семейной. Это героини будней. Въ процессѣ все большаго облагороженія и возвышенія женской личности онѣ играютъ важную роль, и лучшія изъ нихъ являютъ собою уже осуществленный въ дѣйствительности идеалъ женственности, дальше котораго, по мнѣнію многихъ, женщина не пойдетъ и не должна стремиться. Но мы сейчасъ увидимъ, что среди женщинъ того-же положительнаго типа вполнѣ возможны такія, у которыхъ къ его основнымъ чертамъ присоединяются еще нѣкоторыя другія черты, увеличивающія, такъ сказать, удѣльный вѣсъ женщины, преобразующія ея душу въ особую и очень значительную силу, способную дѣйствовать и проявляться, какъ это свойственно силѣ, а потому и влекущую въ сторону какого-то высшаго развитія. Вотъ именно эту разновидность «положительнаго» типа мы и выдѣлимъ въ особую рубрику, которую назовемъ хотя-бы такъ: сильныя духомъ.

Это—тѣ, которыхъ такъ любилъ и умѣлъ рисовать Тургеневъ. Ихъ-то собственно и разумѣютъ подъ именемъ «тургеневскихъ женщинъ».

Первое, что бросается въ глаза въ этихъ образахъ, что̀ самимъ художникомъ подчеркнуто и выставлено на видъ, это, во-первыхъ, большая сила характера, почти мужского, способность къ иниціативѣ и борьбѣ съ препятствіями, и, во-вторыхъ, напряженная работа мысли и чувства. Лучшими представительницами этого типа являются Наталья въ «Рудинѣ» и Елена въ «Наканунѣ».

Эти образы такъ хорошо знакомы читателю, что я считаю излишнимъ распространяться о нихъ. Я ограничусь указаніемъ лишь на тѣ особенности этихъ женщинъ, въ силу которыхъ я нахожу необходимымъ выдѣлить ихъ въ особую рубрику, но са-

Digitized by Google

мую-то эту рубрику разсматриваю, какъ разновидность предыдущаго типа.

Черты, на которыя я только-что указалъ (сила характера и напряженная работа ума и чувства) могутъ быть свойствены и другимъ женскимъ типамъ. Для пониманія разсматриваемыхъ натуръ необходимо уловить самое содержаніе ихъ душевной дѣятельности, опредѣлить, какія именно мысли и чувства наполняютъ ихъ душу, куда и на что направлена сила ихъ характера. Сравнивая съ этой точки зрѣнія Наталью («Рудинъ») и еще лучше Елену («Наканунѣ») съ лучшими представительницами предыдущей рубрики, напр. съ Татьяной («Дымъ»), мы сразу же видимъ, что, такъ сказать, діапазонъ душевныхъ стремленій у первыхъ гораздо шире, чѣмъ у Татьяны. Онѣ большаго хотятъ отъ жизни, ихъ мысль дальше хватаетъ, ихъ чувство, если не глубже, то шире. Женщины этого типа мечтаютъ не объ одномъ семейномъ счастьѣ,—онѣ лелѣютъ мысль о служеніи идеѣ, жаждутъ болѣе широкой дѣятельности, иногда возвышаются до настоящаго подвига. Тутъ читатель, вѣроятно, спроситъ: почему-же я не вспомнилъ здѣсь о Маріаннѣ, которую именно въ этомъ смыслѣ я охарактеризовалъ въ предыдущей главѣ? Отвѣчая на этотъ вопросъ, я и выясню окончательно мою мысль.

Только-что я сказалъ, что разсматриваемый типъ (Наталья, Елена) есть какъ-бы разновидность предыдущаго (Татьяна, Джемма),—вотъ этого-то и нельзя сказать о Маріаннѣ. Рѣшающимъ моментомъ въ этой классификаціи является вопросъ личной задачи и любви. Личная задача у женщинъ, какъ Татьяна и Джемма, ставится такъ: любовь, счастья, семья,— и это задача большая, трудная, требующая многихъ положительныхъ качествъ души. Личная задача Натальи и Елены въ сущности та-же самая, къ той-же формулѣ сводящаяся, но только съ одной прибавкой или осложненіемъ: онѣ мечтаютъ и стремятся, осуществляя свое личное счастье, «дѣлать благое дѣло среди царующаго зла». Эта прибавка затрудняетъ рѣшеніе задачи, но нисколько не измѣняетъ психологической сущности дѣла. Центръ тяжести душевныхъ стремленій у нихъ все тотъ-же—любовь, любимый человѣкъ и счастье съ нимъ. Разница только въ тѣхъ требованіяхъ, какія предъявляются любимому человѣку. Татьянѣ или Джеммѣ нуженъ просто хорошій человѣкъ, который-бы ихъ любилъ горячо и беззавѣтно; Натальѣ и Еленѣ нуженъ «герой». Елена нашла своего героя въ

Digitized by Google

лицѣ Инсарова, Натальѣ не посчастливилось найти своего; но если-бы ея романъ съ Рудинымъ разыгрался гдѣ-нибудь въ Парижѣ въ виду баррикадъ, она пошла-бы за нимъ на эти баррикады, какъ Елена ушла за Инсаровымъ въ Болгарію. Мы воздадимъ всяческую справедливость имъ, назовемъ ихъ героинями, даже если хотите, служительницами идеи,—а все-таки полюбопытствуемъ узнать: почему-же Елена, эта чуткая, сострадательная, чистая душа, готовая на самоотверженный подвигъ, съ такимъ легкимъ сердцемъ ушла въ Болгарію, въ то время, когда Россія была наканунѣ реформъ, когда общество пробуждалось въ живой дѣятельности, и такъ нужны были у насъ хорошіе, идейные люди? Потому, конечно, что она влюбилась въ Инсарова, что это была любовь всепоглощающая, любовь—страсть, любовь—гипнозъ. Почему, далѣе, послѣ смерти Инсарова она не вернулась въ Россію? Опять-таки потому, что гипнозъ продолжался, и она уже потеряла способность мыслить и чувствовать нормально и могла только продолжать любить и дѣлать то, что любилъ и дѣлалъ ея покойный гипнотизеръ. Въ этой любви нѣтъ уже и тѣни какого-либо хищничества, натуральнаго или перерожденнаго, это любовь высшая, святая, безсмертная,—ну а все-таки она эгоистична, и Елена—въ развитіи женственности—не выходитъ изъ предѣловъ той стадіи, гдѣ надъ женскою натурою все еще тяготѣетъ власть любви.

Совсѣмъ другое дѣло—Маріанна. Въ ея жизни, въ ея душевной исторіи любовь не играетъ такой капитальной роли. Маленькій романъ съ Неждановымъ былъ лишь тѣмъ скоропреходящимъ влюбленіемъ, которое такъ свойственно молодости. Ея любовь къ Соломину—болѣе прочная, но это опять-таки не всепоглощающая страсть, не гипнозъ; это—любовь разсудительная, спокойная, можно сказать, дѣловая. Бракъ съ Соломинымъ—въ своемъ родѣ бракъ по убѣжденію, по «расчету», но только, конечно, не матеріальнаго порядка, а нравственнаго: съ нимъ, Соломинымъ, ей легче и удобнѣе будетъ дѣлать то дѣло, которому она хочетъ посвятить свою жизнь. Итакъ, у Маріанны на первомъ планѣ ея собственныя идеи, стремленія, дѣло, а любовь—на второмъ. Любовь играетъ роль подчиненную и ничуть не служитъ движущимъ мотивомъ, не опредѣляетъ собою дальнѣйшей дѣятельности и участи Маріанны. Въ Маріаннѣ мы впервые встрѣчаемъ женщину, освободившуюся отъ власти любви и дѣйствующую, движущуюся, чувствующую, мыслящую—какъ че-

Digitized by Google

ловѣкъ свободный, который хочетъ и можетъ жить полной жизнью, а не одной «жизнью сердца», въ чемъ иные полагаютъ все призваніе женщины. Быть можетъ, скажутъ, что Маріанна—натура холодная, неспособная къ сильнымъ сердечнымъ увлеченіямъ—въ родѣ Одинцовой. Но это будетъ очевидная неправда: Маріанна—душа и страстная, и увлекающаяся, и въ высокой степени женственная. Но только эта женственность не переходитъ у нея въ любовный гипнозъ, ея страстность направлена въ другую сторону, а не на «избранника сердца».

Обозрѣвая всю эту серію—отъ Полозовой до Маріанны, мы наблюдаемъ процессъ облагороженія и освобожденія женской натуры,—облагороженія ея природной женской хищности и освобожденія ея ума и воли отъ власти любви. Это путь отъ внутренняго, душевнаго рабства къ внутренней, душевной свободѣ. Просмотримъ бѣгло, съ этой точки зрѣнія, весь рядъ.

Въ Полозовой человѣческая личность совершенно подавлена и искажена властью женскихъ страстей низшаго сорта, и грубый личный эгоизмъ является главнымъ двигателемъ.

Въ Иринѣ она уже освободилась отъ этого гнета, но всетаки остается порабощенною другими страстями, вытекающими изъ ложнаго и односторонняго развитія женственности. Личный эгоизмъ, но болѣе утонченный, все еще остается главнымъ движущимъ мотивомъ стремленій.

Въ Одинцовой мы впервые видимъ относительное освобожденіе ума, чувства и воли отъ гнета односторонне-развитой женственности. И ея несомнѣнный эгоизмъ уже на перепутьи отъ чисто-личнаго къ семейному. Одинцова образуетъ переходную ступень къ положительному женскому типу—дѣятельницы и героини будней.

Въ представительницахъ этого типа, Татьянѣ, Джеммѣ и др., личность человѣческая уже достигла высокой степени внутренней свободы и повинуется не голосу страстей, а тому, что называется призваніемъ женщины, и сама женственность служитъ ей не средствомъ для достиженія цѣлей лично-эгоистическихъ, а могущественнымъ орудіемъ для осуществленія призванія женщины въ семьѣ и обществѣ.

Разновидность этого типа, данная въ Еленѣ и Натальѣ, указываетъ намъ на дальнѣйшее расширеніе женской личности, на ея развитіе въ направленіи широкой человѣчности, такъ что ея женскій эгоизмъ, оставаясь по существу все тѣмъ-же

Digitized by Google

неличнымъ эгоизмомъ Татьяны и др., принимаетъ такую постановку—какъ будто онъ уже не эгоизмъ, а альтруизмъ.

Въ Маріаннѣ, наконецъ, осуществляется полное освобожденіе женской личности даже и отъ этого эгоизма. Въ героинѣ «Нови» важенъ не самый фактъ, что она идетъ на «подвигъ», а психологія этого факта. Елена, фанатически любя избранника сердца, во имя этой любви и силою ея идетъ на подвигъ, перенося на него весь фанатизмъ своей любви. Маріанна-же идетъ на самоотверженное дѣло—безъ всякой фанатической любви къ опредѣленному человѣку, идетъ не какъ влюбленная женщина, а какъ человѣкъ свободный, да и въ свои отношенія къ идеѣ вноситъ не слѣпой фанатизмъ, а ясный, трезвый умъ и большую внутреннюю свободу.

Въ Маріаннѣ женщина возвысилась до героини.

Какъ ни разнообразны эти женскіе типы, но въ нихъ есть одна общая черта, позволяющая соединить ихъ въ одну группу. Это именно ихъ относительная ясность, удобопонятность, раціональность. Внутренній міръ этихъ женщинъ, какъ-бы онъ ни былъ многосложенъ, всегда находитъ себѣ точное выраженіе въ ихъ жизни, во всѣхъ внѣшнихъ проявленіяхъ ихъ души, и наблюдатель по этимъ проявленіямъ легко составитъ себѣ ясное и вѣрное понятіе о ней. Это натуры, въ которыхъ чувствуется присутствіе внутренней логики, психологической послѣдовательности. Даже когда онѣ находятся подъ властью душевнаго процесса, по существу нелогичнаго, ирраціональнаго, напримѣръ, страсти, то и тогда общая раціональность ихъ природы обнаруживается въ томъ, что этотъ процессъ развивается и дѣйствуетъ въ согласіи съ остальными элементами ихъ души. Напримѣръ, страсть Елены къ Инсарову, какъ всякая страсть, слѣпа и неразумна, но возникла она, если можно такъ выразиться, вполнѣ разумно, логически-послѣдовательно: Елена полюбила Инсарова потому, что онъ удовлетворялъ всѣмъ требованіямъ ея ума и сердца, — она нашла въ немъ воплощеніе своего идеала. И мы отлично понимаемъ, почему именно она полюбила Инсарова, а не Шубина или Берсенева. Или, напримѣръ, пристрастіе Ирины къ великосвѣтской жизни есть влеченіе слѣпое, стихійное и—какъ таковое—оно ирраціонально. Но, противорѣча нѣкоторымъ сторонамъ ея натуры, оно находится въ полной гармоніи съ дру-

Digitized by Google

гими и, благодаря этой гармоніи, внутренній міръ Ирины, при всей своей неуравновѣшенности, представляется въ достаточной мѣрѣ цѣльнымъ и послѣдовательнымъ. Наблюдатель отмѣтитъ его противорѣчія, но не станетъ втупикъ передъ ними и не назоветъ Ирину натурой загадочной.

Въ началѣ этой главы я упомянулъ о томъ, что всѣ эти женскіе образы (въ противоположность другимъ, о которыхъ будетъ рѣчь ниже), могутъ быть опредѣлены какъ относительно-раціональные. Нѣтъ такого человѣка на свѣтѣ, который былъ-бы раціоналенъ вполнѣ, безусловно. Въ душѣ человѣческой, рядомъ съ процессами раціональными, дѣйствуютъ процессы ирраціональные. Послѣдніе мы найдемъ и въ сферѣ мысли, и въ области чувства. Такъ, напр., ирраціональны многіе безсознательные процессы мысли, нерѣдко—дѣятельность воображенія, всегда — страстныя чувства, острые аффекты. Ирраціональность психическаго явленія состоитъ въ томъ, что оно не регулируется нормами сознательнаго логическаго мышленія. Если эти явленія не становятся въ явное противорѣчіе съ раціональной сферой духа, если ихъ дѣятельность не пріобрѣтаетъ чрезмѣрнаго развитія, то личность въ ея цѣломъ представляется относительно-раціональной, — и нужна извѣстная наблюдательность и сила психологическаго анализа, чтобы открыть въ ней дѣйствіе факторовъ ирраціональныхъ. Такъ, болѣе подробный анализъ могъ-бы обнаружить присутствіе чертъ ирраціональности въ тѣхъ женскихъ типахъ, которые мы разсмотрѣли. Но мы не будемъ производить такого анализа надъ типами Полозовой, Ирины и т. д. до Маріанны, потому что для изученія ирраціональнаго въ женской природѣ мы находимъ у Тургенева другой, лучшій матеріалъ. Этой сторонѣ женщины Тургеневъ посвятилъ значительную долю своего творчества и далъ намъ цѣлую серію типовъ, въ которыхъ изумительно воспроизведено все темное, странное, нелогичное, непослѣдовательное, внутренно-противорѣчивое въ женской психикѣ, а также—развитіе въ женской душѣ одной всепоглощающей страсти или одного начала, по существу ирраціональнаго.

Изъ числа этихъ образовъ (ихъ можно назвать загадочными) мы разсмотримъ съ нѣкоторой обстоятельностью только важнѣйшіе, именно тѣ, которые представляются наиболѣе типичными для извѣстныхъ видовъ ирраціональности женской природы.

Есть, напр., натуры, богато и разносторонне одаренныя, въ которыхъ однако различные элементы души недостаточно согла-

Digitized by Google

сованы между собою; онѣ по необходимости являютъ зрѣлище внутреннихъ противорѣчій, и въ ихъ душѣ нѣтъ той психологической послѣдовательности, той внутренней логики, которая всегда сказывается въ натурахъ относительно-раціональныхъ. Этотъ видъ ирраціональности превосходно изображенъ въ одномъ изъ лучшихъ художественныхъ созданій Тургенева—въ З и н а и д ѣ, героинѣ «Первой любви».

Есть другія натуры, въ которыхъ глухая работа слѣпыхъ силъ души подавлена до поры, до времени властью ея разумной силы. Стоитъ только этой власти поколебаться, — и стихійное, неразумное, нелогичное въ душѣ пробуждается и обнаруживается съ особливой яркостью. Это представлено въ В ѣ р ѣ, героинѣ «Фауста».

Наконецъ, есть и такія женскія натуры, которыхъ ирраціональность обнаруживается не въ отсутствіи послѣдовательности, не въ душевныхъ противорѣчіяхъ или борьбѣ слѣпыхъ силъ съ разумомъ, а, наоборотъ, въ полной послѣдовательности, въ совершенной согласованности элементовъ: эта внутренняя гармонія, какую трудно встрѣтить даже въ наиболѣе раціональныхъ натурахъ, осуществляется силою о д н о й властной идеи, о д н о г о всепоглощающаго чувства, при чемъ эта идея или это чувство, по самой природѣ своей, ирраціональны. Это можетъ быть любовь (Клара Миличъ), религіозная экзальтація, соединенная съ внушеніемъ (Софи въ «Странной Исторіи»), политическая или иная идея, фанатически дѣйствующая (Машурина въ «Нови») и т. д. Большею частью, если не всегда, это явленія патологическія, иногда настоящіе психозы, чаще—разныя переходныя формы отъ душевнаго здоровья къ психозу.

Особое и крайне рѣдкое явленіе представляетъ собою тотъ укладъ души, въ которомъ такое господство извѣстной мысли или чувства соединено не только съ полнымъ душевнымъ здоровьемъ, но и съ высшей душевной красотою. Заправляющая мысль не имѣетъ здѣсь характера idée fixe; она не внушена извнѣ; она не является началомъ, угнетающимъ душевную свободу. Она сама—не причина извѣстныхъ душевныхъ движеній, а слѣдствіе, вытекающее изъ общаго характера души, въ которой преобладаютъ высшія, идеальныя начала. Если такая душа проникнута глубокимъ религіознымъ чувствомъ, то господствующими въ ней стимулами, которые изъ нея-же и вытекаютъ, будутъ

Digitized by Google

стремленіе къ мистическому, любовь къ Богу, культъ высшей чистоты и святости.

Тургеневъ далъ намъ чудный образъ этого рода въ Лизѣ, героинѣ «Дворянскаго Гнѣзда».

Обратимся-же къ анализу этихъ — загадочныхъ — женскихъ образовъ. Начнемъ съ Зинаиды.

Digitized by Google

ГЛАВА V.

То, что въ женской натурѣ мы называемъ «сухо» ирраціональностью и «не сухо» загадочностью, можетъ обнаруживаться двояко: или—въ явной непослѣдовательности и противорѣчивости душевныхъ движеній, или наоборотъ—въ слишкомъ большой ихъ послѣдовательности.

Превосходный образчикъ первой категоріи представляетъ намъ Зинаида, героиня повѣсти «Первая любовь».

Зинаида полна противорѣчій, о ней нельзя судить по отдѣльнымъ моментамъ: нужно дочитать повѣсть до конца, необходимо прослѣдить различныя душевныя состоянія героини, сопоставить различныя проявленія ея личности, и только тогда можно вывести окончательное сужденіе о ней, построенное, однако, не на примиреніи или сглаживаніи противорѣчій а напротивъ—на рѣзкомъ ихъ опредѣленіи. Въ зависимости отъ этого характера натуры, сотканной изъ внутреннихъ противорѣчій, находится и самый способъ ея изображенія. Тургеневъ не могъ-бы нарисовать Зинаиду тѣмъ способомъ, какимъ изображенъ, напримѣръ, главный герой повѣсти (отецъ разсказчика) и также, какъ увидимъ ниже, Лиза, въ «Дворянскомъ гнѣздѣ». Такой пріемъ можно назвать въ своемъ родѣ «фигурой умолчанія»: «дѣйствующее лицо» почти не «дѣйствуетъ», говоритъ очень мало, появляется на сценѣ мелькомъ; оно изображено мелкими, какъ-бы невзначай брошенными штрихами, какъ герой «Первой любви», или просто описано, какъ Лиза,—и все-таки выступаетъ въ воображеніи читателя съ полной отчетливостью. Такъ изобразить Зинаиду невозможно: ее нужно почаще выводить на сцену, заставлять подольше оставаться на ней; ее нужно показать и смѣющеюся, и плачущею, и кокеткою, и натурою серьезною. Необходимо одно за другимъ вывести на свѣтъ всѣ ея противорѣчія, чтобы читатель все это видѣлъ собственными глазами, чтобы онъ все это прочувствовалъ. А главное—не «описывать», а заставлять ее самое дѣйствовать, обнаружи-

Digitized by Google

ваться. На такое обнаруживаніе Тургеневъ былъ большой мастеръ. Зинаида передъ нами, какъ живая. Она дѣйствуетъ на насъ почти какъ живой человѣкъ, мы невольно подчиняемся обаянію ея чарующей, умной, даровитой женской натуры, глубоко сочувствуемъ ей въ горѣ, въ страданіяхъ, мы ее даже понимаемъ,— насколько вообще можно понимать «непонятное», ирраціональное, загадочное.

Прочитавъ сцену, гдѣ Зинаида впервые появляется (гл. II), мы въ самомъ дѣлѣ убѣждаемся или выносимъ ясное впечатлѣніе, что въ этой дѣвушкѣ есть «что-то такое очаровательное, ласкающее, насмѣшливое и милое»...

Читая дальше (гл. IX), мы уже готовы, вслѣдъ за докторомъ Лушинымъ, опредѣлить ее, какъ бездушную кокетку, «актерскую натуру» и притомъ съ большими задатками женской хищности и жестокости. Для нея первое удовольствіе — «стукать людей другъ о друга», какъ она сама выражается. Этотъ приговоръ, повидимому, подтверждается и дальнѣйшими сценами, гдѣ показано, какъ она умѣетъ мучить своихъ поклонниковъ. Она мучитъ ихъ всѣхъ, — и тѣхъ къ кому расположена, и тѣхъ, кто ей безразличенъ или даже непріятенъ. Эти истязанія доставляютъ ей настоящее наслажденіе. За вычетомъ этого послѣдняго, ея кокетство является упражненіемъ совершенно безкорыстнымъ, въ родѣ «искусства для искусства», хотя Тургеневъ и говоритъ, что «каждый изъ ея поклонниковъ былъ ей нуженъ» (гл. IX). Всѣ они ей нужны не для какихъ-нибудь постороннихъ цѣлей (она ихъ не эксплоатируетъ: вѣдь нельзя-же считать эксплоатаціей, что, напримѣръ, Бѣловзоровъ доставилъ ей лошадь и принесъ котенка), а именно, какъ матеріалъ, на которомъ она можетъ упражнять и проявлять свою хищность и жестокость кокетки. Эта сторона выставлена на видъ очень ярко: такою Зинаида является почти на всемъ протяженіи повѣсти, которая, съ этой точки зрѣнія, могла-бы быть названа повѣствованіемъ о сердечныхъ мукахъ и жестокихъ душевныхъ истязаніяхъ разсказчика, Бѣловзорова, Лушина и др. И если мы будемъ имѣть въ виду лишь эту такъ хорошо очерченную художникомъ сторону въ натурѣ Зинаиды, то останется только вышеприведенное опредѣленіе видоизмѣнить такъ: «въ этой бездушной, пустой, злой жестокой кокеткѣ было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмѣшливое, милое...» Въ этомъ еще нѣтъ ничего «загадочнаго», и пожалуй, сама Полозова подойдетъ подъ

Digitized by Google

такое опредѣленіе. Но не трудно видѣть, что, если-бы мы окончательно остановились на этомъ приговорѣ, то мы такъ же жестоко ошиблись бы, какъ докторъ Лушинъ, которому въ концѣ концовъ пришлось воскликнуть, «ударивъ себя по лбу: а я дуракъ, думалъ, что она кокетка!» (гл. XV).

«Во всемъ ея существѣ»—читаемъ мы въ гл. IX—«живучемъ и красивомъ была какая-то особенно обаятельная смѣсь хитрости и безпечности, искуственности и простоты, тишины и рѣзвости...» Эта смѣсь, свидѣтельствующая именно объ ирраціональности натуры, въ самомъ дѣлѣ проявляется съ большой наглядностью во всей исторіи Зинаиды, въ ея отношеніяхъ къ окружающимъ, въ ея поступкахъ. Держится она, повидимому, очень «просто», безыскусственно, не прикидывается, не играетъ роли, и однакоже въ ея отношеніяхъ къ людямъ не трудно уловить нѣкоторое «себѣ на умѣ», заднюю мысль, женское лукавство. Взять хотя-бы сцену съ котенкомъ въ гл. IV-й: всю эту сцену Зинаида «разыграла»,—она проявила здѣсь кокетство преднамѣренное, не то, которое присуще всякой хорошенькой женщинѣ и сказывается непроизвольно, а именно кокетство искусственное. И въ другихъ сценахъ она «рѣзвится» не совсѣмъ просто, а съ расчетомъ, она ведетъ сложную игру. И за всѣмъ тѣмъ она несомнѣнно безпечна, и во всемъ ея существѣ даетъ себя чувствовать та ясность души, которую Тургеневъ назвалъ «тишиною». Опредѣлить происхожденіе этой «тишины» очень важно для выясненія натуры Зинаиды. Эта натура такова, что для нея величайшимъ благомъ представляется сохраненіе внутренней свободы. И пока Зинаида сохраняетъ свою внутреннюю свободу, она счастлива, спокойна, ясна. Во всѣхъ проявленіяхъ ея кокетства, ея «хищности» отчетливо сказывается такой душевный мотивъ: «вотъ я васъ всѣхъ покорила и мучу, а сама—свободна, не мучусь, не раболѣпствую».—«Нѣтъ,—говоритъ она,—я такихъ любить не могу, на которыхъ мнѣ приходится глядѣть сверху внизъ. Мнѣ надобно такого, который самъ-бы меня сломилъ... Да я на такого не натѣкнусь, Богъ милостивъ! Не попадусь никому въ лапы, ни-ни!» (гл. IX). Въ этомъ отношеніи натура Зинаиды сходится съ натурою героя повѣсти (отца разсказчика), который говоритъ сыну: «самъ бери, что можешь, а въ руки не давайся, самому себѣ принадлежать,—въ этомъ вся штука жизни» (гл. VIII). Это сильная мужская натура, страстная и спокойная, деспотическая, самоувѣренная, и

Digitized by Google

душа Зинаиды гармонически ритмуетъ съ нею своею женскою силою, страстностью и спокойствіемъ, — «тишиною», женской властностью и самобытностью.

Когда она полюбила этого человѣка, ея тишина сразу нарушилась. Чувствовать себя покоренною, потерять внутреннюю свободу, власть надъ собою—это для нея жестокій ударъ, хотябы это была любовь счастливая, взаимная. Ясному и сильному уму, каковъ Зинаидинъ, тяжело сознавать, что онъ теряетъ свою ясность и независимость. Гордой женской натурѣ Зинаиды мучительно поступиться своей самостоятельностью. Вотъ почему первое открытіе серьезнаго чувства принесло ей страданія, а не радости. Она мучилась и негодовала, почти такъ, какъ Базаровъ, когда онъ протестовалъ противъ своего чувства къ Одинцовой. Вотъ между прочимъ одно мѣсто, гдѣ сказался подобный протестъ въ душѣ Зинаиды:

«Зинаида становилась все страннѣй, все непонятнѣй. Однажды я вошелъ къ ней и увидѣлъ ее сидящей на соломенномъ стулѣ, съ головой прижатой къ острому краю стола. Она выпрямилась... все лицо ея было облито слезами. «А! вы!—сказала она съ жестокой усмѣшкой.—Подите-ка сюда». Я подошелъ къ ней: она положила мнѣ руку на голову и, внезапно ухвативъ меня за волосы, начала крутить ихъ. «Больно...»—проговорилъ я наконецъ. «А! больно! а мнѣ не больно? не больно?—повторила она...» (XII).

По такимъ намекамъ мы заключаемъ, что въ душѣ Зинаиды происходила жестокая борьба; эта душа какъ-бы раздвоилась на два враждебныхъ лагеря: въ одномъ сгруппировались всѣ силы ея свѣтлаго ума, ея гордой натуры, любовь къ независимости, къ внутренней свободѣ, въ другомъ-же было одно, новое чувство, страсть. И какъ ни протестовали элементы перваго лагеря, эта страсть все росла и росла, и надвигалась, какъ слѣпая сила, какъ нѣчто стихійное, неразумное, какъ ураганъ, который все сокрушаетъ на пути своемъ. Борьба окончилась полнымъ торжествомъ страсти, и Зинаида, эта своевольная, умная, гордая, самоувѣренная и сильная всѣми чарами женственности дѣвушка, превратилась въ рабу—своей страсти и любимаго человѣка, который въ концѣ-концовъ даже бьетъ ее. Вы скажете, что такое ослѣпленіе страстью и такое раболѣпство случаются весьма нерѣдко. Конечно, нерѣдко, но темное и неразумное явленіе отъ частаго повторенія не становится понятнѣе и разумнѣе. Страсть всегда нелогична, ирраціональна, загадочна, но въ иныхъ нату-

Digitized by Google

рахъ ея появленіе, ея теченіе находится все-таки въ извѣстной гармоніи съ другими элементами души. При наличности такой гармоніи, весь процессъ пріобрѣтаетъ оттѣнокъ кажущейся раціональности. Въ силу такой иллюзіи, мы не находимъ ничего удивительнаго или загадочнаго въ томъ, что напр. сильное чувство любви овладѣло всею душою, парализовало всѣ ея силы въ женщинѣ страстной, мечтательной, живущей исключительно чувствомъ и слабой умомъ и волею. Характеръ загадочности становится замѣтенъ въ развитіи страсти не въ такихъ, а въ другихъ, болѣе рѣдкихъ, случаяхъ, къ числу которыхъ принадлежитъ и любовь Зинаиды. Героиня «Первой любви» представляетъ собою превосходный образчикъ женской натуры, въ которой страсть не можетъ гармонировать съ другими элементами души и развивается непремѣнно въ процессъ мучительной борьбы съ ними. Сильный, ясный и саркастическій умъ Зинаиды самъ по себѣ уже является большой душевной силою, враждебною страсти, какъ свѣтъ враждебенъ мраку. Иронія дѣйствуетъ отрезвляющимъ образомъ. Подмѣтить смѣшную или пошлую сторону человѣка и развѣнчать его однимъ мѣткимъ опредѣленіемъ, сдѣлать его смѣшнымъ въ своихъ глазахъ—это уже много значитъ, этимъ можетъ быть выиграно сраженіе. Зинаида, какъ мы знаемъ, отлично вооружена въ этомъ смыслѣ. Куда-же дѣвалась ея иронія, почему исчезла ея насмѣшка въ борьбѣ съ героемъ, которому она «попалась въ лапы?» Да и помимо иронiи, вообще разносторонность и даровитость натуры это—сила, которая не даромъ присутствуетъ въ душѣ, это не балластъ, и всякому новому элементу, возникающему въ душѣ, будь это сильнѣйшая страсть, приходится такъ или иначе считаться съ тѣмъ, чего хочетъ большой изящный умъ, къ чему влечетъ талантъ, что подсказываетъ воображеніе. Эти силы души всегда стремятся упорно отстаивать свои права, свою свободную дѣятельность, и для человѣка, ими одареннаго, нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ попасть въ такое положеніе, при которомъ эти силы упраздняются. Это равносильно потерѣ своей личности, своего «я». А мы знаемъ, какъ дорожитъ и гордится Зинаида неприкосновенностью своего «я», своей внутренней свободой. Къ тому-же нужно не забывать, что Зинаида—не ребенокъ. Ей 21 годъ, она хорошо знаетъ жизнь и людей, и обойти ее не легко. Она вполнѣ сознаетъ, что ея любовь къ герою повѣсти счастья ей не дастъ, а принесетъ одни страданія, можетъ быть, гибель, Во всякомъ случаѣ, это будетъ любовь—

Digitized by Google

мука. Она не хочетъ итти на эти мученія, она хотѣла-бы вырвать изъ сердца роковую страсть и не можетъ (см. напр. въ концѣ гл. IX). Конечно, страсть и нельзя «вырвать изъ сердца». Но, казалось-бы, для такой богато-одаренной натуры, какъ Зинаида, возможенъ былъ-бы другой исходъ: подождать, пока страсть совершитъ свой циклъ и сама погаснетъ. Для такого, конечно, не легкаго душевнаго рѣшенія у Зинаида есть достаточно душевныхъ данныхъ, и ума, и воли, и знанія людей, и гордости. Однакоже, такое рѣшеніе не было принято на внутреннемъ совѣтѣ душевныхъ элементовъ, и вотъ тутъ-то и сказалась вся ирраціональность Зинаидиной натуры. Тотъ исходъ душевной драмы, на который мы указываемъ, непремѣнно осуществился-бы, если бы на мѣстѣ Зинаиды была Маріанна, самая «раціональная» изо всѣхъ тургеневскихъ женщинъ. Не трудно было бы принять и выполнить указанное рѣшеніе также Иринѣ или Еленѣ. Для Зинаиды оно оказывается невозможнымъ. Почему?

А, вотъ почему. Страсть, прежде чѣмъ совершить свой циклъ и погаснуть, производитъ нѣкоторую революцію въ душѣ, нарушаетъ ее равновѣсіе, перетасовываетъ ея элементы. Такая пертурбація, производимая страстью, въ натурахъ болѣе раціональныхъ не искажаетъ однакоже основного оклада души: ея устои остаются неприкосновенными, и всѣ существенныя черты характера, ума, нравственныхъ началъ, воли не подвергаются видимымъ измѣненіямъ. Ирина, напр., или Елена въ самый разгаръ страсти остаются все тѣми-же Ириной и Еленой, какими были до страсти и будутъ послѣ нея,—Ирина со всѣми своими недостатками, Елена со всѣми своими достоинствами. Въ періодъ страсти онѣ только живутъ болѣе напряженной, болѣе интенсивной жизнью. Буря проходитъ по верхамъ, не захватывая глубинъ. Совсѣмъ другое дѣло—Зинаида: она, подъ игомъ любви, радикально измѣняется,—она уже не та, она другая. Эта метаморфоза (какъ и вообще все содержаніе «Первой Любви»), превосходно изображена Тургеневымъ посредствомъ очень труднаго, но отлично удавшагося пріема: безъ ума влюбленный въ Зинаиду юноша, отъ лица котораго ведется разсказъ,, замѣчаетъ странную перемѣну въ ней, и на каждомъ шагу ему приходится изумляться: онъ не узнаетъ прежнюю Зинаиду *). Послѣ разныхъ

*) Трудность этого пріема состоитъ въ слѣдующемъ: наблюденія юноши въ одно и тоже время рисуютъ и его самого, и Зинаиду (не го-

Digitized by Google

перипетій и неожиданностей въ настроеніи Зинаиды, дѣло приняло наконецъ такой оборотъ, что молодому наблюдателю пришлось окончательно стать втупикъ. Зинаида вдругъ преобразилась въ тихую, спокойную, чуждую кокетства дѣвушку,—какъ будто та бойкая, шумная, искрящаяся жизнь, которая ключемъ била въ ней, вдругъ угомонилась, и отъ той «смѣси хитрости безпечности, искусственности и простоты, тишины, рѣзвости» осталась только тишина и простота. Юноша недоумѣвалъ. «Неужели, думалъ онъ, эта кроткая, разсудительная дѣвушка—та самая Зинаида, которую я зналъ?» (Гл. XV). Эта коренная перемѣна произошла вскорѣ послѣ того, какъ Лушину пришлось воскликнуть: «а я, дуракъ, думалъ, что она кокетка! Видно—жертвовать собою сладко—для иныхъ» (гл. XV),—а это признаніе Лушина въ свою очередь хронологически слѣдовало за прогулкой верхомъ (Зинаиды съ Петромъ Васильевичемъ, отцомъ разсказчика), переданной въ гл. XIV. И такъ, вотъ прецедентъ метаморфозы,—кульмаціонный пунктъ въ развитіи страсти, который не могъ не произвести извѣстной, болѣе или менѣе рѣзкой перемѣны въ душевной экономіи Зинаиды. Но почему онъ привелъ именно къ «тишинѣ», къ «кротости и разсудительности», а не напр. къ отчаянію, къ апатіи, или-же наоборотъ—къ разгулу страсти? Отвѣта на этотъ вопросъ нужно искать въ особенностяхъ натуры Зинаиды. Вообразимъ опять на ея мѣстѣ, въ тѣхъ-же условіяхъ, Ирину, Елену, Маріанну, вообще любую изъ тѣхъ женщинъ, которыхъ мы назвали «относительно-раціональными»,—и нѣтъ сомнѣнія,—мы не найдемъ возможнымъ допустить, чтобы у нихъ явилась — при данныхъ обстоятельствахъ — такая перемѣна въ духѣ «кротости и разсудительности». Дѣло въ томъ, что мы видимъ здѣсь не только смѣну настроеній, но и нѣкоторое измѣненіе личности. Оно, конечно, не доходитъ до предѣловъ пато-

воря уже о другихъ лицахъ). Взявъ форму разсказа отъ перваго лица, Тургеневъ отнялъ у себя возможность изображать Зинаиду независимо отъ субъективныхъ впечатлѣній разсказчика. Послѣдній въ свою очередь какъ-бы двоится: онъ повѣствуетъ исторію своей первой любви много лѣтъ спустя, уже пожилымъ человѣкомъ. И такъ. Зинаида (и другія лица) представлены отраженными призмой личныхъ впечатлѣній юноши, а эти послѣднія пропущены сквозь призму воспоминаній и ума пожилого человѣка. Все это превосходно выдержано, и по мастерству исполненія «Первая Любовь» есть одно изъ самыхъ совершенныхъ созданій Тургенева, который, если не ошибаюсь, и самъ выражалъ такое мнѣніе.

Digitized by Google

логическаго раздвоенія личности, но и не удерживается въ границахъ нормальной смѣны настроенія. Оно все-таки захватываетъ самую натуру, являя ее въ новомъ, необычномъ видѣ; оно какъ будто коснулось даже темперамента и вообще представляется процессомъ, который приходится помѣстить гдѣ-то посрединѣ, на перепутьи между явленіями здоровой и больной психики. Если это такъ, то метаморфоза въ направленіи «кротости и разсудительности» произошла потому, что подъ воздѣйствіемъ душевнаго кризиса въ натурѣ Зинаиды должна была послѣдовать перетасовка элементовъ, такъ что тѣ, которые прежде были на виду и являлись заправляющими, принуждены были стушеваться, а тѣ, которые были заслонены и оставались на второмъ планѣ, теперь выступили наружу. Душа Зинаиды, какъ мы знаемъ, соткана изъ противорѣчій. Въ ней заслоняютъ, подавляютъ другъ друга, чередуются, борются или совмѣщаются не однородные, а разнородные, взаимно-противорѣчивые элементы. И вотъ, если прежде преобладающими, задающими тонъ всей душѣ были рѣзвость, кокетство, хищность, женское лукавство и пр., то теперь выступятъ въ той-же роли простота, кротость, разсудительность. Теперь ихъ очередь. Налетѣлъ ураганъ, взбаламутилъ душу, и то, что было на поверхности, опустилось вглубь, а то, что таилось въ глубинѣ, поднялось наверхъ. Это психическій процессъ—столь-же ирраціональный, какъ и процессы физическіе или химическіе.

Такое, говоря метафорически, перемѣщеніе психическихъ элементовъ не нанесло ущерба тому началу, которое было чутьли не важнѣйшимъ источникомъ чаръ и обаянія Зинаиды. Я имѣю въ виду ея необыкновенный умъ, ея исключительную даровитость. Эти силы остались нетронутыми,—психологическій фактъ, имѣющій огромное значеніе для правильнаго пониманія не только Зинаиды, какъ индивидуальнаго образа, но и вообще тѣхъ сторонъ женской души, которыхъ обобщеніемъ является этотъ образъ.

Зинаида въ видѣ «кроткой и разсудительной дѣвушки» это уже—не та, прежняя Зинаида, но эта другая Зинаида однакоже унаслѣдовала отъ прежней весь ея умъ, всю силу ея воображенія, всѣ ея таланты. И вотъ, сознавая это, чувствуя себя попрежнему обладательницею этихъ сокровищъ, Зинаида поддается весьма понятной иллюзіи, будто ея внутренняя свобода, индивидуальное «я», остались ненарушенными, будто-бы новое чувство,

Digitized by Google

противъ котораго она вначалѣ такъ возмущалась, такъ протестовала, стало наконецъ неотъемлемой принадлежностью ея души. Она, наконецъ, примирилась съ этимъ чувствомъ и занесла его не въ расходъ, а въ приходъ своей душевной бухгалтеріи. И ей теперь кажется, что оно ничуть не нарушило независимости и самостоятельности ея личности, а только послужило къ ея обогащенію. Оттуда между прочимъ внутренній миръ, отлично гармонирующій съ той тишиною и простотою, которыя молодой ея обожатель принялъ за «кротость и разсудительность». Молодой обожатель по-своему правъ: Зинаида теперь не «дурачится», не шалитъ, не кокетничаетъ напропалую — какъ прежде, даже совсѣмъ не кокетничаетъ; она держится просто, стала серьезна, словно прислушивается къ какому-то внутреннему голосу, старается понять себя самое, подвести итогъ и дать санкцію тому, что она чувствуетъ. Въ чудномъ разсказѣ Зинаиды про королеву (гл. XVI) мы слышимъ изъ ея устъ этотъ итогъ и эту санкцію. «Представьте себѣ—фантазируетъ она—великолѣпный чертогъ, лѣтнюю ночь и удивительный балъ. Балъ этотъ даетъ молодая королева... Мужчины всѣ влюблены въ королеву. Она высока и стройна; у ней маленькая діадема на черныхъ волосахъ...» Тутъ разсказчикъ взглянулъ на Зинаиду—«и въ это мгновеніе (говоритъ онъ) она мнѣ показалась настолько выше всѣхъ насъ, отъ ея бѣлаго лба, отъ ея недвижимыхъ бровей вѣяло такимъ свѣтлымъ умомъ и такою властью, что я подумалъ: ты сама эта королева». «Королева думаетъ (продолжаетъ свой разсказъ Зинаида): вы всѣ, господа, благородны, умны, богаты, вы окружили меня, вы дорожите каждымъ моимъ словомъ, вы всѣ готовы умереть у моихъ ногъ, я владѣю вами... а тамъ, возлѣ фонтана, возлѣ этой плещущей воды, стоитъ и ждетъ меня тотъ, кого я люблю, кто мною владѣетъ. На немъ нѣтъ ни богатаго платья, ни драгоцѣнныхъ камней, никто его не знаетъ, но онъ ждетъ меня и увѣренъ, что я прійду—и я прійду, и нѣтъ такой власти, которая-бы остановила меня, когда я захочу пойти къ нему, и остаться съ нимъ, и потеряться съ нимъ тамъ, въ темнотѣ сада, подъ шорохъ деревьевъ, подъ плескъ фонтана...»

Такъ санкціонировала Зинаида свое новое чувство,—это былъ апоѳеозъ ея любви. Но эта санкція и апоѳеозъ были основаны на иллюзіи, на самообманѣ, о которомъ я упомянулъ выше. Оказалось, что Зинаида въ своемъ внутреннемъ мірѣ вовсе не королева, а раба,—и ея рабству суждено было продолжаться до тѣхъ

Digitized by Google

поръ, пока наконецъ страсть окончательно не перегорѣла. Въ концѣ повѣсти мы узнаемъ, что Зинаида оправилась ото всѣхъ этихъ душевныхъ потрясеній, освободилась отъ ига страсти, вышла замужъ, и для нея, повидимому, начиналась новая—лучшая—жизнь. Случайная смерть прерываетъ это богатое существованіе, которому, быть можетъ, предстояло... развернуться на болѣе широкомъ поприщѣ... блистать въ салонахъ и... попрежнему «стукать людей другъ о друга»...

Если такая именно будущность предстояла ей, то она отлично сдѣлала, что умерла заранѣе. Я говорю это о Зинаидѣ, какъ художественномъ образѣ. Для цѣлей художественности преждевременная смерть Зинаиды такъ-же необходима, какъ и безвременная кончина Базарова.

Подведемъ итогъ. Что такое въ концѣ концовъ Зинаида, какъ художественный образъ? Въ чемъ состоитъ главный интересъ этого образа? Для апперцепціи какихъ идей, какого порядка мыслей можетъ онъ служить?

Въ Зинаидѣ прежде всего данъ образецъ тѣхъ сторонъ или свойствъ женской души, на которыхъ основано обаяніе женственности. Но на ряду съ этимъ умъ и, общая даровитость натуры являются столь-же существенными въ ней чертами, какъ и ея женское обаяніе. Въ соединеніи этихъ двухъ началъ и въ ихъ интимномъ соотношеніи и заключенъ главный интересъ психологическаго типа Зинаиды. Вотъ и посмотримъ, какъ именно они соединяются и въ какихъ отношеніяхъ стоятъ другъ къ другу.

Умъ и даровитость натуры—это такая душевная сила, которая, при всей своей рѣзко-выраженной индивидуальности, всегда стремится выйти за предѣлы личности. Большому уму и таланту тѣсно и душно въ замкнутомъ, маленькомъ міркѣ личной жизни,—имъ нужны разнообразныя внѣшнія впечатлѣнія, имъ необходимы живыя связи съ людьмы и широкіе общечеловѣческіе интересы. Чѣмъ больше умъ, чѣмъ разностороннѣе дарованія человѣка, тѣмъ вреднѣе для него, какъ существа мыслящаго и чувствующаго, замыкаться въ самомъ себѣ—тѣмъ необходимѣе для него—«жизни вольнымъ впечатлѣніямъ душу вольную отдать, человѣческимъ стремленіямъ въ ней проснуться не мѣшать».

И если мы назовемъ индивидуальное «я», эту точку; въ которой совершается координація разнообразныхъ составныхъ элементовъ психики,—центромъ личности, то сила умственная

Digitized by Google

представится намъ силой центробѣжной: ею личность расширяется, отвлекается отъ своего «я», ею она перевоплощается и становится въ широкомъ смыслѣ человѣчной. Само собою разумѣется, съ тѣмъ вмѣстѣ возвышается абсолютная цѣнность личности, и создаются внутреннія условія, въ силу которыхъ можетъ осуществиться ея общественная стоимость. Не трудно видѣть, что это и есть прямой и вѣрный путь къ достиженію того, что мы назвали раціональностью въ душевномъ укладѣ личности. Но раціональность натуръ богато одареныхъ должна быть отличаема отъ той, какая свойственна людямъ ограниченнымъ,—во всякомъ случаѣ она труднѣе достигается. Сами по себѣ умственныя силы въ значительной долѣ ирраціональны, можетъ быть,—не меньше чувствъ и страстей. Память и воображеніе, эти важнѣйшія основы мысли, а равно талантъ и геній отмѣчены всѣми признаками слѣпой, стихійной силы, и только логическая сторона ума вноситъ порядокъ и разумность въ дѣятельность этой душевной сферы. Но логическая мысль можетъ вносить сюда этотъ порядокъ лишь при условіи, чтобы ирраціональнымъ силамъ ума данъ былъ надлежащій исходъ, чтобы онѣ не оставались на привязи индивидуальнаго «я», а развивались въ томъ центробѣжномъ направленіи, о которомъ я говорю. При наличности этихъ условій создается устойчивость умственнаго равновѣсія личности,—та крѣпость, та ясность духа, та властность мысли, которыя и производятъ раціональный укладъ натуры и съ тѣмъ вмѣстѣ служатъ главнымъ основаніемъ правильнаго функціонированія волевого аппарата. А здоровье воли является для сферы желаній, чувствъ и страстей такимъ-же регулирующимъ и вносящимъ порядокъ началомъ, какъ здоровая и власть имѣющая логика для ума, таланта и генія. Такъ созидается раціональность и душевное равновѣсіе богато-одаренной натуры, мыслящей и чувствующей.

Прямо-противоположныя явленія будутъ имѣть мѣсто, если выдающіяся умственныя силы человѣка, вмѣсто центробѣжнаго, получатъ направленіе центростремительное,—если онѣ будутъ дѣйствовать не иначе какъ постоянно оглядываясь на собственное «я» данной личности. Это бываетъ у натуръ очень эгоистическихъ въ собственномъ смыслѣ этого слова, а также—у тѣхъ, которыхъ правильнѣе было-бы назвать «эгоцентрическими». Эти послѣднія могутъ и не быть эгоистами въ грубомъ смыслѣ, но о чемъ бы онѣ ни думали, къ чему бы ни стремились, чѣмъ

Digitized by Google

бы ни были заняты,—всегда у нихъ къ этимъ думамъ, стремленіямъ, дѣламъ примѣшивается неотвязчивая мысль о собственной особѣ. Такая неспособность отдѣлаться отъ самаго себя проявляется въ формахъ весьма разнообразныхъ,—смотря по человѣку. У лицъ съ призваніемъ общественнаго или политическаго дѣятеля она выражается обыкновенно въ чрезмѣрномъ честолюбіи и авторитарности. У художниковъ она сказывается въ пристрастіи къ изображенію самого себя, т. е. въ субъективномъ направленіи творчества. У мыслителей и ученыхъ она ведетъ нерѣдко къ упорному отстаиванію quand même своихъ теорій, потому только что онѣ свои.—Само собой разумѣется, эгоцентрическій человѣкъ можетъ быть надѣленъ и добрымъ сердцемъ, и всевозможными доблестями, — его слабая сторона не здѣсь, а въ неправильномъ функціонированіи умственныхъ силъ, не пользующихся столь необходимой для нихъ внутренней свободой: она нарушается назойливымъ вмѣшательствомъ центральнаго «я» человѣка въ дѣятельность его мысли.—Конечно, весьма различны бываютъ степени эгоцентризма, такъ что далеко не всегда онъ ведетъ къ видимому нарушенію раціональности и душевнаго равновѣсія съ возможными послѣдствіями этого нарушенія. Чтобы рѣзко обозначились эти проявленія ненормальныхъ путей ума, необходима болѣе или менѣе высокая степень эгоцентризма, какая наблюдается напр. у лицъ, одержимыхъ маніей величія.

Но совсѣмъ особую разновидность представляетъ собою эгоцентризмъ женскій. Въ Зинаидѣ мы находимъ воплощеніе его типичныхъ чертъ.

Прежде всего замѣтимъ, что у мужчинъ, даже наиболѣе эгоцентричныхъ, умъ и талантъ все-таки обязываютъ мыслить и творить или по крайней мѣрѣ стремиться къ мысли и творчеству, и такъ или иначе они выходятъ за предѣлы личности, хотя и обузданные постояннымъ обращеніемъ къ ней. У женщинъ сплошь и рядомъ умъ и талантъ ровно ни къ чему не обязываютъ и остаются мертвымъ капиталомъ, однимъ изъ случайныхъ украшеній личности. Вотъ, напр., у Зинаиды весь ея умъ и вся ея даровитость служатъ только для вящшаго обаянія ея очаровательнаго образа. Они идутъ на усиленіе ея женственности,—безъ нихъ Зинаида была бы не такъ обворожительна. Иначе говоря, эти силы души направлены внутрь, а не на внѣшній міръ, и—достойныя лучшей участи — обречены служить дѣлу, несвойственному ихъ природѣ. Они порабощены началомъ женственности

Digitized by Google

и низведены на степень одного изъ украшеній женской личности. Вслѣдствіи этого увеличивается, конечно, обаятельность женщины, но очень мало повышается безотносительная цѣнность человѣка. Съ тѣмъ вмѣстѣ не становится возможнымъ созданіе его общественной стоимости. — Зинаида остается прежде всего женщиной, чѣмъ съ успѣхомъ можно быть и съ умомъ курицы. Нравиться, покорять сердца, «стукать людей другъ о друга», любить и быть любимой, потомъ болѣе или менѣе благополучно выйти замужъ — для всего этого нѣтъ надобности обладать умственными дарами Зинаиды, и напр. хотя-бы Зоя въ «Наканунѣ», Сипягина въ «Нови» и многія другія не хуже Зинаиды осуществляютъ такое «призваніе» женщины. И съ точки зрѣнія подобнаго «призванія» умственныя силы Зинаиды оказываются ненужной роскошью, въ противорѣчіе съ самой природой этихъ силъ. Это внутреннее противорѣчіе выступитъ въ своемъ настоящемъ свѣтѣ, если вспомнимъ, что выдающіяся качества ума, воображенія, таланта представляютъ собою нѣчто очень цѣнное, какъ само по себѣ, такъ и по своей рѣдкости, и вотъ это самоцѣнное и рѣдкое въ сущности обезцѣнивается, теряетъ свою самобытность и, вмѣсто того, чтобы сіять своимъ собственнымъ свѣтомъ, блистаетъ заемными, отраженными лучами женскихъ чаръ. Выходитъ такъ, что Зинаида умна и даровита для того только, чтобы быть еще женственнѣе. Это такъ-же нелогично, такъ-же внутренно-противорѣчиво, какъ если-бы напр. мужчина захотѣлъ быть умнымъ, даровитымъ, нравственно-чистымъ и т. д. для того только, чтобы быть еще «мужественнѣе». Умъ данъ для мысли, а не для «женственности» или «мужественности», талантъ—для творчества, нравственный укладъ — для душевной чистоты и добрыхъ дѣлъ. Всѣ три высшія стороны духа въ самихъ себѣ заключаютъ свою цѣль и вовсе не призваны содѣйствовать поддержанію или вящшему изощренію такихъ біо-психическихъ формацій, какъ «женственность» и «мужественность».

Подчиненіе умственныхъ силъ біо-психическому началу, въ высокой степени ирраціональному, не можетъ не оказывать подавляющаго вліянія на раціональную сторону мысли. Оттуда—у женщинъ—такъ называемая «женская логика».

И такъ, на вопросъ: что собственно апперцепировано художественнымъ типомъ Зинаиды?—мы отвѣтимъ такъ: 1) психологія богато и разнообразно одаренной женской души, подчиненіе ума власти женственности и вытекающая отсюда общая ирраціональ-

Digitized by Google

ность натуры; 2) порядокъ мыслей, основанныхъ на анализѣ этихъ психологическихъ явленій и 3) извѣстное отношеніе къ женщинѣ, къ вопросу о ея призваніи, положеніи, умѣ и т. д. Второе и третье могутъ быть весьма различны—смотря по человѣку. Художественные образы, какъ извѣстно, не суть неподвижныя нормы: ихъ обобщающая сила, размѣры ихъ примѣняемости, ихъ способность возбуждать извѣстный порядокъ идей измѣняются отъ человѣка къ человѣку и во времени. Для одного данный художественный образъ служитъ орудіемъ апперцепціи извѣстнаго, болѣе или менѣе ограниченнаго круга явленій; для другого человѣка съ большимъ опытомъ жизни, съ большей вдумчивостью, тотъ же образъ будетъ служить обобщеніемъ и объясненіемъ болѣе широкаго круга явленій, и вызоветъ рядъ мыслей, какихъ не вызывалъ у перваго. Съ лѣтами, съ развитіемъ ума и жизненнымъ опытомъ человѣка увеличивается для него апперцепирующая сила художественнаго образа. Также точно—и для человѣчества. Шекспировскій Гамлетъ намъ, людямъ XX вѣка, говоритъ несравненно больше, чѣмъ говорилъ онъ современникамъ Шекспира. Въ этомъ и состоитъ живучесть или, что то же, безсмертіе художественныхъ типовъ. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что образъ Зинаиды съ вѣками будетъ расти, т. е. лѣтъ черезъ сто онъ будетъ говорить людямъ мыслящимъ больше, чѣмъ говоритъ намъ.

Намъ же онъ внушаетъ разное: тѣмъ изъ насъ, которые стоятъ на точкѣ зрѣнія обожателей Зинаиды, онъ служитъ преимущественно воплощеніемъ чаръ женственности и говоритъ весьма немного. Для пишущаго эти строки онъ является стимуломъ, побуждающимъ мыслить въ направленіи необходимости освобожденія ума женщины изъ-подъ власти женственности. Пусть эта власть пока есть правило. Но мы не имѣемъ никакихъ основаній, мы не имѣемъ ни логическаго, ни нравственнаго права возводить это правило въ законъ. Изъ изученія психологической природы женщины подобнаго закона вывести нельзя. Такое изученіе приводитъ къ выводу, что слабыя стороны женскаго ума коренятся не въ немъ самомъ, а зависятъ отъ его подчиненія гнету женственности, и что онъ можетъ быть освобожденъ систематической (изъ поколѣнія въ поколѣніе) культурою мысли, при помощи широкой постановки высшаго женскаго образованія. Это освобожденіе необходимо, хотя бы потому, что

Digitized by Google

Надъ вольной мыслью Богу не угодно
Насиліе и гнетъ...

Мысль есть высшее, совершеннѣйшее начало духа. «Женственность», какъ и «мужественность»,—одно изъ низшихъ, біопсихическихъ его укладовъ. Гнетъ этого низшаго, коренящагося въ порядкѣ явленій физіологическихъ, надъ высшимъ, психическимъ по преимуществу, есть явленіе уродливое, внутренно противорѣчивое: въ себѣ самомъ оно носитъ свое осужденіе.

Теперь намъ предстоитъ разсмотрѣть иное проявленіе подчиненности женскаго ума, иной «гнетъ надъ мыслью»,—и мы это сдѣлаемъ при помощи анализа другого типа ирраціональной женской натуры, — типа, воплощеннаго Тургеневымъ въ образѣ Вѣры, героини «Фауста».

Digitized by Google

ГЛАВА VI.

I.

Вѣра, героиня тургеневскаго «Фауста», представляетъ собою любопытный образчикъ ирраціональной женской натуры, во многомъ противоположной натурѣ героини «Первой любви».

Отличительныя особенности душевнаго уклада Вѣры сводятся къ слѣдующему. Во-первыхъ, это женщина, получившая путемъ наслѣдственной передачи, большой запасъ скрытыхъ страстей. Во-вторыхъ, Вѣра—личность не заурядная: она надѣлена выдающимися дарами ума, чувства и характера. Наконецъ, въ третьихъ, необходимо отмѣтить тотъ фактъ, что почти всѣ эти элементы ея души (кромѣ характера и стороны нравственной) находятся въ состояніи недѣятельномъ, связанномъ, какъ бы загнаны внутрь, но однако-же отнюдь не изъяты изъ душевнаго обихода. Страсти напр. были долго подавлены въ душѣ Вѣры, онѣ безмолвствовали, но Вѣра никогда не переставала быть натурой страстной, и въ любви ея къ герою повѣсти такой укладъ ея души обнаружился съ полной очевидностью.

Онъ былъ наслѣдственнымъ. Тургеневъ, повидимому, придавалъ большое значеніе этой чертѣ и потому говоритъ съ нѣкоторой подробностью о предкахъ героини, выставляя на видъ ту роль, большею частью трагическую, какую играли въ ихъ жизни и судьбѣ страстныя чувства и страстный темпераментъ. Сюда относятся въ письмѣ второмъ подробности о дѣдѣ Вѣры (отцѣ ея матери) Ладановѣ, долго жившемъ въ Италіи, гдѣ и родилась его дочь, мать Вѣры, „отъ простой крестьянки изъ Албано, которую, на другой день послѣ ея родовъ, убилъ трастеверинецъ, ея женихъ, у котораго Ладановъ ее похитилъ“. Объ этой итальянкѣ мы можемъ составить опредѣленное понятіе по описанію ея портрета (въ концѣ письма 6-го): «...Что за лицо было у итальянки! сладострастное, раскрытое, какъ рас-

Digitized by Google

цвѣтшая роза, съ большими влажными глазами на выкатѣ и самодовольно-улыбавшимися, румяными губами! Тонкія чувственныя ноздри, казалось, дрожали, расширялись, какъ послѣ недавнихъ поцѣлуевъ; отъ смуглыхъ щекъ такъ и вѣяло зноемъ и здоровьемъ, роскошью молодости и женской силы... Этотъ лобъ не мыслилъ никогда, да и славу Богу!..» Описаніе оканчивается такъ: «И что всего удивительнѣе: глядя на этотъ портретъ, я вспомнилъ, что у Вѣры, несмотря на совершенное несходство очертаній, мелькаетъ иногда что-то похожее на эту улыбку, на этотъ взглядъ... Да, повторяю: ни она сама (Вѣра), ни другой кто на свѣтѣ не знаетъ еще всего, что таится въ ней...» Безъ сомнѣнія, Вѣра, въ жилахъ которой текла эта итальянская кровь крестьянки изъ Албано, унаслѣдовала и часть этихъ жгучихъ страстей, этого южнаго темперамента. Но только у Вѣры они скрыты и подавлены, обузданы, и съ тѣмъ вмѣстѣ «ея лобъ» мыслитъ—и слава Богу!

Мать Вѣры, Ельцова, судя по всему, была натура очень страстная, способная, какъ и ея отецъ, къ безумнымъ увлеченіямъ; но она боялась собственныхъ своихъ страстей и обуздала ихъ силою ума, далеко не заурядnаго, и характера, очень сильнаго. Разсказчикъ характеризуетъ ее такъ: «Я боюсь жизни,— сказала она мнѣ однажды. И точно, она ея боялась, боялась тѣхъ тайныхъ силъ, на которыхъ построена жизнь, и которыя изрѣдка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, надъ кѣмъ онѣ разыграются! Страшно сказались эти силы Ельцовой: вспомни смерть ея матери, ея мужа, ея отца...» (Письмо 2-е).

Итакъ, страстность чувствъ и темперамента была наслѣдственной, фамильной чертою въ родѣ Вѣры *), и этотъ укладъ души, если онъ не уравновѣшенъ другими силами, уже самъ по себѣ способенъ сообщить всей натурѣ характеръ ирраціональности.

Но этимъ не исчерпывается еще содержаніе того душевнаго наслѣдія, которое досталось Вѣрѣ отъ матери и дѣда. Въ его составъ входили еще два элемента: стремленіе къ самообузданію и предрасположеніе ко всему таинственному. Ладановъ, вернувшись въ Россію, послѣ трагической смерти итальянки, «не только

*) Ладановъ безумно любилъ свою дочь и возненавидѣлъ ее, когда она бѣжала съ Ельцовымъ. Онъ умеръ, не простивъ ее. Ельцова также страстно любитъ свою дочь и посвятила себя ея воспитанію.

Digitized by Google

изъ дома, изъ кабинета своего не выходилъ, занимался химіей, анатоміей, кабалистикой, хотѣлъ продлить жизнь человѣческую, воображалъ, что можно вступать въ сношенія съ духами, вызывать умершихъ». Въ свою очередь, Ельцова, овдовѣвъ, «посвятила весь свой досугъ на воспитаніе дочери и почти никого не принимала...» «Все у ней дѣлалось по системѣ...» «...Она до того пріучила себя не давать воли своимъ чувствамъ, что даже стыдилась выказать страстную любовь свою къ дочери... Помню одно ея слово: я какъ-то сказалъ ей, что всѣ мы, современные люди, надломленные...—«Надламывать себя не для чего, промолвила она,—надо всего себя переломить, или ужъ не трогать...» (Письмо 2-е). Что Ельцова не была чужда тѣхъ-же предрасположеній, во власти которыхъ былъ ея отецъ, это видно хотя-бы изъ того, отчасти суевѣрнаго, страха передъ «тайными силами жизни», о которомъ только что была рѣчь.

Не трудно видѣть, что эти два душевныхъ стремленія (къ самообузданію и къ таинственному) въ данномъ случаѣ столь-же ирраціональны, какъ и та страстность, противъ которой они направлены. Они явились какъ реакція противъ этой послѣдней, какъ сила, которая, будучи вызвана другою силою, носитъ въ себѣ всѣ основныя черты ея. Оба стремленія, о которыхъ идетъ рѣчь, суть чувства, и притомъ—страстныя. Ладановъ запирается въ кабинетѣ и погружается въ химію и анатомію—движимый вовсе не безстрастными стремленіями ума, не въ качествѣ ученаго и мыслителя, а—какъ аскетъ, вдохновляемый страстнымъ желаніемъ спастись отъ страстей и треволненій жизни. Сама «химія» и «анатомія, которыми онъ занимается, конечно, весьма далеки отъ трезвой и точной науки, способной въ самомъ дѣлѣ дать ходъ и преобладаніе раціональнымъ силамъ ума,—вѣдь Ладановъ не отдѣляетъ эти «науки» отъ кабалистики и вызыванія духовъ. Ладановъ—это въ нѣкоторомъ родѣ Фаустъ, съ той только разницею, что гетевскій Фаустъ отъ алхиміи, вызыванія духовъ и тщетныхъ усилій проникнуть въ тайну бытія переходитъ къ страстямъ и «тайнымъ силамъ жизни», жертвою которыхъ и падаетъ, Ладановъ же, наоборотъ, отъ страстей, отъ жизни, отъ любви спасается въ алхимію и кабалистику. Вообще Ладановъ, если можно такъ выразиться, написанъ на мотивъ Фауста, какъ и вся повѣсть. Этотъ мотивъ, въ видѣ увертюры, звучитъ уже въ самомъ началѣ разсказа, когда герой находитъ въ своей библіотекѣ старое изданіе гетевскаго Фауста и принимается пере-

Digitized by Google

читывать давно знакомыя сцены. «Какъ подѣйствовала на меня,— пишетъ онъ,—великолѣпная первая сцена! Появленіе Духа Земли, его слова, помнишь: «на жизненныхъ волнахъ, въ вихрѣ творенія», возбудили во мнѣ давно-неизвѣданный трепетъ и холодъ восторга...» (Письмо 1-е). Вся повѣсть представляетъ собою какъ-бы провѣрку и разработку психологической темы «Фауста» на иныхъ натурахъ, другой среды и эпохи, и прежде всего на женской натурѣ, олицетворенной въ образѣ Вѣры.

Въ связи съ этимъ осложняется и наша задача: намъ придется для освѣщенія натуры Вѣры обратиться къ психологіи гетевскаго «Фауста». Мы это сдѣлаемъ ниже, а теперь у насъ на очереди вопросъ о воспитаніи Вѣры.

Этотъ вопросъ столь-же важенъ, какъ и вопросъ о психологическомъ наслѣдіи. Послѣднее, какъ мы знаемъ уже, состояло изъ задатковъ страстности чувствъ, стремленія или склонности къ самообузданію и предрасположенія къ таинственному (Вѣра подвержена галлюцинаціямъ и необъяснимымъ страхамъ и вообще суевѣрна). Излишне пояснять, что такіе устои души совершенно иррациональны. Вотъ и посмотримъ, что̀ именно было внесено въ эту иррациональную душу своеобразнымъ воспитаніемъ, которое получила Вѣра.

Ельцова знала, что ея дочь получила задатки натуры страстной, бурной, увлекающейся, и поставила себѣ задачей во что-бы то ни стало парализировать эти задатки, предупредить возможный въ будущемъ взрывъ чувствъ. Съ этою цѣлью она старалась устранять все, что такъ или иначе дѣйствуетъ на воображеніе, «а потому ея дочь до 17-лѣтняго возраста не прочла ни одной повѣсти, ни одного стихотворенія». Взамѣнъ того, она старалась развить умъ дочери изученіемъ такихъ безстрастныхъ и не волнующихъ воображеніе «предметовъ», какъ естественная исторія и географія. На ряду съ этимъ она оказывала огромное нравственное вліяніе на Вѣру: «дочь любила ее и вѣрила ей слѣпо. Стоило г-жѣ Ельцовой дать ей книжку и сказать: вотъ этой страницы не читай—она скорѣе предыдущую страницу пропуститъ, а ужъ не заглянетъ въ запрещенную». (Письмо 2-е).

Не трудно показать, что такая система воспитанія и образованія была основана на вопіющихъ психологическихъ ошибкахъ и только кажущимся образомъ приводила къ предположеннымъ результатамъ. Вѣра, подъ вліяніемъ матери и полученнаго воспитанія, казалось, въ самомъ дѣлѣ стала дѣвушкою и потомъ жен-

щиною безстрастной, спокойной, разсудительной, ясной и уравновѣшенной. Но это только такъ казалось. Въ дѣйствительности она вышла не безстрастной, а только не знающей скрытыхъ въ себѣ самой страстей; воспитаніе, ей данное, не устранило, а напротивъ увеличило грозящую съ этой стороны опасность, развивъ невѣдѣніе ея. Спокойствіе, ясность души Вѣры, основанныя на этомъ блаженномъ невѣдѣніи, были, по необходимости, обманчивыми и временными, а ея душевное равновѣсіе оказалось крайне неустойчивымъ.

Вотъ и посмотримъ, въ чемъ именно состояли эти роковыя ошибки матери.

Прежде всего Ельцова сдѣлала грубую ошибку въ области элементарной психологіи. Она хотѣла развить умъ дочери на счетъ страстныхъ чувствъ, а потому устраняла все, что дѣйствуетъ на воображеніе: очевидно, Ельцова думала, что воображеніе или цѣликомъ принадлежитъ къ сферѣ чувствованій, или, по крайней мѣрѣ, есть душевная сила, находящаяся въ преимущественномъ соотношеніи, въ особой близости съ этой сферой. Ельцова не подозрѣвала, что воображеніе есть неотъемлемая часть ума, и что нѣтъ никакой возможности развивать умъ, подавляя воображеніе. Она не знала, что упражняя, хотя-бы при помощи географіи и зоологіи, память, эту психическую основу воображенія, она ео ipso даетъ пищу и этому послѣднему, и что, развившись и окрѣпнувъ, сперва на описательномъ естествознаніи, оно впослѣдствіи можетъ перенести свою дѣятельность и въ другія сферы. Вторая ошибка состояла въ ложномъ взглядѣ, будто можно потушить страсти путемъ суженія и ограниченія сферы мысли, искусственно отвлекаемой отъ всѣхъ вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ страстямъ человѣческимъ, и питаемой исключительно «сухими» географическими и естественно-историческими свѣдѣніями. Кажется удивительнымъ, какъ такая умная и мыслящая женщина, какъ Ельцова, не сообразила, что ни чтеніе путешествій, ни знаніе географическихъ именъ, ни умѣніе отличать ядовитыхъ пауковъ отъ неядовитыхъ не имѣютъ ровно никакого отношенія къ человѣческимъ чувствамъ и страстямъ, къ потребности любви, къ мечтамъ о счастьѣ, что наконецъ эти душевныя стремленія нельзя, да и не нужно тушить, но можно облагородить, просвѣтить, очистить отъ грубыхъ инстинктовъ, отъ эгоистическихъ примѣсей—путемъ разносторонней культуры ума и гармоническаго развитія всей личности человѣка. Не со-

Digitized by Google

знавая этой простой и не требующей доказательствъ истины, Ельцова сдѣлала и третью ошибку,—не оцѣнила значенія поэзіи въ дѣлѣ облагороженія ума и чувства и ихъ подготовленія къ дѣйствительной жизни. Въ интересахъ выясненія этого важнаго пункта, намъ придется сдѣлать здѣсь отступленіе—въ область психологіи искусства (въ частности поэзіи).

II.

Вліяніе поэзіи (и вообще искусства) на развивающуюся человѣческую личность можетъ быть разнообразно—смотря по человѣку, по характеру душевной организаціи, по степени воспріимчивости и т. д.—Мы будемъ имѣть въ виду преимущественно натуры—въ родѣ Вѣры, чуткія, тонкія, богато-одаренныя, способныя къ большому душевному развитію, призванныя къ яркому проявленію въ жизни чувства или въ дѣятельности мысли и воли.

И прежде всего постараемся обратить должное вниманіе на двѣ стороны вопроса, часто упускаемыя изъ виду: это, во-первыхъ, свойство поэзіи умиротворять, успокоивать душевныя волненія и, во-вторыхъ, это ея значеніе—какъ своего рода «прививки яда», въ извѣстной мѣрѣ предохраняющей отъ возможной душевной заразы.

Для удобства анализа и самого изложенія, мы сперва разсмотримъ эти двѣ стороны или свойства поэзіи (и вообще искусства) внѣ ихъ значенія для цѣлей педагогическихъ. Представимъ себѣ, что мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ взрослымъ, сложившимся, развитымъ, способнымъ понимать и цѣнить поэзію. Спрашивается: Шекспиръ, Байронъ, Гете, Шиллеръ, Гейне, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Толстой, Тургеневъ, Гончаровъ и т. д. чего больше дадутъ ему, — волненій, терзаній, мечтаній, соблазновъ, восторговъ и т. д. съ одной стороны, или-же—душевнаго умиротворенія, успокоенія, спокойныхъ созерцаній—съ другой? Отвѣчаю категорически: послѣднихъ гораздо больше, чѣмъ первыхъ. Это вытекаетъ прямо изъ самой природы поэзіи. Предупреждаю читателя, что я имѣю въ виду настоящую, несомнѣнную поэзію, а не тѣ произведенія, которыя имѣютъ только форму поэтическую, но, по самой психологической своей основѣ, къ поэзіи не относятся. Всякое истинно-поэтическое произведеніе есть прежде всего попытка поставить и рѣшить какой-нибудь общечеловѣческій вопросъ. Творческая сила, которая тутъ дѣйствуетъ, есть

Digitized by Google

сила мысли (а не чувства): это все тотъ-же синтезъ и анализъ, которые являются основами и научной, и философской мысли. Художественные образы суть умственные продукты явно индуктивнаго характера. Весь, стало быть, процессъ относится цѣликомъ къ области мысли. Но, конечно, онъ не отдѣленъ китайской стѣною отъ сферы чувствъ. Послѣднія въ него входятъ вмѣстѣ съ тѣмъ жизненнымъ матеріаломъ, на изученіе и объясненіе котораго направлено творчество художника. Творя, художникъ испытываетъ массу соотвѣтственныхъ движеній чувствующей души: онъ скорбитъ, радуется, плачетъ, смѣется, негодуетъ, жалѣетъ, любитъ, ненавидитъ, прощаетъ—все, что угодно. Спрашивается: тождественны-ли эти чувства съ тѣми скорбями, радостями, негодованіемъ, сожалѣніемъ и т. д., которыя тотъ-же художникъ испытываетъ внѣ творчества, не какъ художникъ, а какъ всякій человѣкъ? Тождества быть не можетъ, а есть только аналогія. Почему? По той простой причинѣ, что самъ воспринимающій субъектъ при творчествѣ—не таковъ, каковъ онъ внѣ творчества. При творчествѣ въ немъ работаетъ мысль, совершается анализъ и синтезъ, и работа эта — сложная, трудная, всегда – высшаго сорта, и тогда, когда она освѣщена сознаніемъ, и тогда, когда проходитъ въ душѣ безсознательной,—и, разумѣется, наличность этихъ умственныхъ процессовъ не можетъ не вліять на всю психику, на постановку въ ней и взаимныя отношенія всѣхъ ея элементовъ, въ томъ числѣ и чувствъ. Центръ тяжести всей души переносится въ умственную сферу, и что-бы ни происходило въ этотъ мигъ въ области чувства, какое-бы негодованіе тамъ ни кипѣло, какія-бы скорби или радости тамъ ни были, — всѣ они не могутъ не подчиниться такъ или иначе измѣняющему воздѣйствію процессовъ мысли. И чувства безспорно измѣняются подъ этимъ воздѣйствіемъ, — измѣняются и количественно, и качественно. Говорю «количественно»—въ смыслѣ большей силы, интенсивности. Гоголь напр., конечно, негодовалъ, скорбѣлъ, смѣялся и пр., несравненно больше—когда творилъ типы Сквозника-Дмухановскаго, Чичикова, Собакевича, чѣмъ когда встрѣчалъ въ самой дѣйствительности разрозненные оригиналы этихъ типовъ. Художникъ въ моментъ творчества долженъ чувствовать сильнѣе уже потому, что онъ сосредоточивается мыслью на извѣстномъ явленіи, устраняя тѣмъ самымъ разсѣивающее и парализующее дѣйствіе на соотвѣтственное чувство различныхъ впечатлѣній обыденной жизни. Но онъ не только сосредоточиваетъ свою

Digitized by Google

мысль на извѣстномъ явленіи, напр. возбуждающемъ негодованіе и скорбь, онъ обобщаетъ множество фактовъ этого рода и собираетъ въ одномъ образѣ, какъ въ фокусѣ, всѣ негодованія и скорби этихъ фактовъ, вмѣстѣ взятыя. Теперь уяснимъ себѣ качественное измѣненіе чувства. Умственная дѣятельность, въ томъ числѣ и художественная, имѣетъ свои—умственныя—чувства, порождаемыя самимъ процессомъ мысли, и это—чувства пріятныя, доставляющія извѣстное, часто очень высокое, всегда очень чистое, наслажденіе. Въ искусствѣ оно извѣстно подъ именемъ «эстетическаго наслажденія». Часто называютъ его также «чувствомъ красоты». Я-бы охотно употреблялъ этотъ послѣдній терминъ, если-бы я зналъ, что такое «красота», т. е. — какой именно психическій процессъ нужно разумѣть подъ «красотою». Чувствовалъ-ли Гоголь красоту, когда создавалъ безобразный, но несомнѣнно высокохудожественный типъ Плюшкина, — этого рѣшать не берусь. Но что онъ испытывалъ специфическую радость творчества, это несомнѣнно. Несомнѣнно также, что эта радость не могла остаться не у дѣлъ: она должна была такъ или иначе сказываться въ наличномъ душевномъ обиходѣ и прежде всего—вызывать качественное измѣненіе тѣхъ чувствъ (негодованія, отвращенія и проч.), какія внушались апперцепціей даннаго образа (Плюшкина). Примѣсь этой творческой радости не можетъ, конечно, уменьшать силу чувства, (иначе Плюшкинъ не вышелъ-бы такимъ яркимъ, Донъ-Кихотъ — такимъ жалкимъ, смѣшнымъ и симпатичнымъ, родители Базарова — такими трогательными и т. д.)—она только измѣняетъ его качество, т. е. превращаетъ его въ другое чувство или въ другую разновидность того-же чувства. Въ какую именно? Въ такую, что, не теряя своей силы, чувство присутствуетъ въ душѣ, не какъ диссонансъ, а какъ моментъ, звучащій въ унисонъ съ другими струнами души, сотрудничающій съ другими моментами въ дѣлѣ установленія той гармоніи, того душевнаго равновѣсія, которыя являются характерными спутниками художественнаго творчества. Это равновѣсіе ощущается, какъ внутреннее удовлетвореніе, какъ миръ души, какъ спокойствіе сознанія, въ родѣ спокойствія совѣсти послѣ произнесенія справедливаго вердикта,— наконецъ, какъ тихая и самодовлѣющая радость гуманныхъ созерцаній—съ высоты душевнаго подъема, откуда видны далекіе горизонты и гдѣ такъ легко дышится—въ чистой атмосферѣ общечеловѣческихъ идеаловъ.

Digitized by Google

Вотъ именно въ этомъ смыслѣ я и говорю, что поэзія умиротворяетъ, а не возбуждаетъ, успокоиваетъ, а не раздражаетъ,— и въ этомъ-же, чисто-психологическомъ смыслѣ, понимаю (вслѣдъ за Потебней) извѣстное стихотвореніе Тютчева, въ которомъ поэзія характеризуется такъ:

Среди громовъ, среди огней,
Среди клокочущихъ зыбей,
Въ стихійномъ пламенномъ раздорѣ,
Она съ небесъ слетаетъ къ намъ,
Небесная къ земнымъ сынамъ,
Съ лазурной ясностью во взорѣ,
И на бунтующее море
Льетъ примирительный елей...

Все это я говорилъ о самомъ художникѣ, о поэтѣ. Но то же самое нужно сказать и о всякомъ—взрослomъ, образованномъ, развитомъ—человѣкѣ, воспринимающемъ художественное произведеніе, ибо читатель Шекспира, скажемъ, повторяетъ—въ извѣстномъ смыслѣ—творчество самого Шекспира и переживаетъ въ сокращенномъ видѣ тѣ-же душевныя состоянія, какія переживалъ поэтъ, когда творилъ. Вслѣдъ за поэтомъ читатель продѣлываетъ тѣ-же синтезы и анализы, вновь возсоздаетъ въ своемъ умѣ, индуктивнымъ путемъ, образъ, данный художникомъ, ставитъ вопросъ, рѣшаетъ задачу, переиспытываетъ тѣ-же чувства и обрѣтаетъ соотвѣтственныя художественныя созерцанія и съ ними связанное душевное умиротвореніе.

Вотъ теперь, послѣ этихъ соображеній, мы можемъ вернуться къ вопросу педагогическому, т. е. къ вопросу о томъ, какое значеніе можетъ имѣть поэзія для правильнаго развитія еще не сложившагося человѣка.

Дѣти, подростки, юноши, какъ не имѣющіе необходимаго для воспріятія искусства опыта жизни, запаса впечатлѣній, наблюденій и мыслей, не могутъ понимать ни Шекспира, ни Пушкина, ни Гоголя, ни Гете, ни Тургенева, ни Толстого. Имъ лишь кажется, что они понимаютъ; въ дѣйствительности, ихъ Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ и т. д.—это сочинители болѣе или менѣе занимательные, въ родѣ Загоскина, Лажечникова и т. д. Отсюда слѣдуетъ, что для юношества поэзія не можетъ служить источникомъ того душевнаго умиротворенія и успокоенія, той гармоніи духа, о которыхъ мы говорили выше. Но въ такомъ воздѣйствіи искусства юношество и не нуждается. Потребность въ освѣженіи,

Digitized by Google

обновленіи, оздоровленіи души скажется позже, когда юноши перестанутъ быть юношами и вступятъ въ жизнь, и жизнь начнетъ ихъ трепать, раздражать, угнетать, денервировать. Вотъ именно въ виду и въ ожиданіи этой грядущей и неизбѣжной—по основнымъ условіямъ всего строя жизни—отравы духа и необходимо заблаговременно озаботиться, чтобы въ распоряженіи человѣка были оздоровляющія психическія начала, въ ряду которыхъ поэзіи, по силѣ ея воздѣйствія и по ея общедоступности, принадлежитъ первое мѣсто. Это одна изъ важныхъ задачъ воспитанія и образованія—подготовлять юношество къ будущему пониманію поэзіи, къ будущей ея утилизаціи въ вышеуказанномъ смыслѣ. Не трудно видѣть, къ чему собственно сводится эта поэтическая подготовка. Какъ въ музыкѣ и пѣніи нужно развить слухъ, «поставить голосъ» и изощрить музыкальную сторону духа, такъ и здѣсь необходимо развить поэтическія стремленія души и въ своемъ родѣ «поставить мысль», направивъ ее въ сторону апперцепціи художественныхъ образовъ. Пусть цѣлое поэтическое произведеніе, его идея, его концепція, заключенныя въ немъ высшія созерцанія остаются пока недоступны юному уму,—зато отдѣльные образы могутъ быть въ извѣстной мѣрѣ понимаемы, хотя-бы только какъ конкретные, и ихъ усвоеніе не можетъ не вліять на развитіе симпатическаго воображенія, безъ котораго нельзя ни понимать искусства, ни быть гуманнымъ человѣкомъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ исподоволь развивается чувство правды и чутье дѣйствительности,—послѣднее—тѣмъ легче, что самые то образы поэзіи воспринимаются юнымъ умомъ не какъ отвлеченія, а какъ фигуры конкретныя, т. е.—копія дѣйствительности, и развивающемуся сознанію юноши въ поэтическихъ произведеніяхъ открывается сама жизнь, какъ она есть. Вотъ именно отсюда и вытекаетъ второе свойство искусства вообще и поэзіи въ особенности — служить въ своемъ родѣ «предохранительной прививкой» разнообразныхъ душевныхъ ядовъ жизни.

Что современная жизнь во всемъ цивилизованномъ мірѣ ядовита,—это не можетъ подлежать сомнѣнію. Не нужно только, какъ это дѣлаютъ пессимисты, преувеличивать бѣду и все сваливать на «цивилизацію» съ ея будто-бы разлагающимъ и переутомляющимъ «прогрессомъ». Современная цивилизація съ ея устоями, общимъ духомъ и направленіемъ есть только моментъ въ исторіи развивающагося человѣчества, пришедшій на смѣну дру-

Digitized by Google

гихъ историческихъ моментовъ, другихъ типовъ культуры и таящій въ себѣ корни иного, болѣе гуманнаго, болѣе справедливаго уклада общественныхъ отношеній.

Каждой эпохѣ въ исторіи цивилизаціи, каждому укладу общественности присущи свои психическіе яды, такъ или иначе отравляющіе душевное благополучіе личности. На вопросъ: въ чемъ собственно состоитъ специфическій ядъ того фазиса общественности, который переживается нынѣ всѣмъ цивилизованнымъ человѣчествомъ?—мы отвѣтимъ такъ:

Личность достигла небывалаго развитія, какого не вѣдали предшествующіе вѣка. Наша эпоха есть эпоха индивидуализма по преимуществу, и притомъ—приближающаяся къ своему критическому моменту, когда воочію обнаружатся всѣ изъяны и внутреннія противорѣчія общественности, основанной на антагонизмѣ, на борьбѣ интересовъ, когда сама личность почувствуетъ мучительную жажду иного, высшаго самоопредѣленія, иныхъ, болѣе гармоническихъ отношеній къ цѣлому.

Развитіе личности ведетъ къ осложненію душевной организаціи, къ изощренію мысли и чувства, а стало быть—и къ повышеннымъ, труднѣе удовлетворимымъ запросамъ и требованіямъ. Найти свое душевное счастіе, достичь внутренняго удовлетворенія, мира чувствъ и радости мысли современному человѣку несравненно труднѣе, чѣмъ это было въ старину. Оттуда вѣчное недовольство собою, своей жизнью, другими людьми, разочарованность, пессимизмъ, болѣзненная раздражительность самолюбія и многое другое. Естественнымъ плодомъ крайняго индивидуализма въ общественномъ укладѣ и въ самоопредѣленіи личности является миражъ личнаго счастья и безнадежная погоня за нимъ,—откуда одинъ шагъ къ отчаянію, къ сознанію недостижимости этого эгоистическаго идеала. И при отсутствіи другого идеала, личность роковымъ образомъ становится въ положеніе Фауста, попадаетъ въ ту безотрадную психологическую коллизію, которая сказалась въ знаменитомъ восклицаніи героя гетевской драмы: entbehren sollst du, sollst entbehren! Эти то слова и взялъ Тургеневъ эпиграфомъ своей повѣсти.

Вотъ именно въ роковой необходимости «entbehren» и въ упорномъ, эгоистическомъ нежеланіи личности примириться съ этимъ, въ ея неспособности найти высшее—неличное счастье въ идеальныхъ стремленіяхъ мысли, въ альтруистическихъ движеніяхъ чувства и лежитъ источникъ всѣхъ психическихъ ядовъ

Digitized by Google

современной жизни.—Искусство вообще и поэзія въ особенности обладаютъ благодѣтельной силою исподоволь прививать эти яды—тѣмъ, во-первыхъ, что заблаговременно пріучаютъ мысль и чувство апперцепировать несовершенство, бѣды, страданія людей, трагическое въ жизни, пошлое въ человѣкѣ, смѣсь добра и зла въ природѣ и въ человѣчествѣ,—во-вторыхъ, тѣмъ, что отвлекаютъ душу человѣческую отъ эгоистическихъ помысловъ о себѣ самой и переносятъ ее въ сферу другихъ, болѣе широкихъ интересовъ, заставляютъ «перевоплощаться», мыслить и чувствовать за другихъ, радоваться и страдать вмѣстѣ съ другими людьми. На этой почвѣ и вырастаетъ противоядіе крайнему индивидуализму и эгоизму—сочувствіе, состраданіе, гуманность, общечеловѣческій идеалъ. Все это душевныя явленія, даромъ не дающіяся; ихъ нужно воспитать, взлелѣять; сама жизнь, полная случайностей, противорѣчій, бѣдъ, дурныхъ вліяній, ихъ не дастъ; удаленіе отъ жизни, устраненіе живыхъ впечатлѣній еще менѣе способно ихъ развить. Ихъ разовьетъ жизнь, возведенная въ «перлъ созданія», облагороженная и просвѣтленная творчествомъ,—жизнь, отраженная въ искусствѣ.

III.

Теперь намъ будетъ понятно, какую огромную и непростительную ошибку сдѣлала Ельцова, устранивъ поэзію въ воспитаніи дочери. Ядъ не былъ привитъ Вѣрѣ, и ея чуткая, богатоодаренная, страстная натура осталась непредохраненной отъ всегда возможной заразы, отъ рокового проявленія «тайныхъ силъ» жизни. Для Вѣры ужъ одно пробужденіе ея спящей души, ея усыпленной мысли, ея такъ долго безмолвствовавшей мечты не могло не быть фатально. Вотъ и постараемся проникнуть въ психологію этого пробужденія.

Герой повѣсти, взявъ на себя задачу пробудить эту спящую душу, средствомъ для этого избралъ поэзію и на первый разъ остановился на «Фаустѣ». Удаченъ ли былъ этотъ выборъ? А вотъ посмотримъ. Самъ герой, повидимому, чувствовалъ, что Гетевская трагедія едва ли годится для начала. «...Я раскаивался (пишетъ онъ въ письмѣ 4-мъ), что назвалъ именно «Фауста»; для перваго раза Шиллеръ гораздо бы лучше годился, ужъ коли дѣло шло на нѣмцевъ. Особенно пугали меня первыя сцены, до знакомства съ Гретхенъ; насчетъ Мефистофеля я тоже не былъ

Digitized by Google

покоенъ. Но я находился подъ вліяніемъ «Фауста» и ничего другого не могъ бы прочесть съ охотой...» Какъ видно изъ этихъ словъ, онъ опасался, будетъ ли «Фаустъ» понятенъ, не покажется ли скучнымъ— въ особенности въ философскихъ монологахъ и діалогахъ. Но онъ надѣялся на Гретхенъ... Надежда эта, какъ извѣстно, не обманула его. «Фаустъ» произвелъ на Вѣру впечатлѣніе потрясающее—и это главнымъ образомъ благодаря Гретхенъ. Чтецъ торжествовалъ и былъ въ восторгѣ, что началъ именно съ «Фауста». Вотъ на этомъ то пунктѣ я и расхожусь съ героемъ повѣсти: я утверждаю, что въ этомъ первомъ опытѣ, на этомъ чтеніи «Фауста», долженствовавшемъ пріобщить душу Вѣры тайнамъ поэзіи, чарамъ искусства,—несмотря на полное торжество «старика Гете», «Фауста», Гретхенъ и самого чтеца, искусство и поэзія, со всѣми ихъ чарами и тайнами потерпѣли полное фіаско. Поэзія и не коснулась души Вѣры. Ея душа дѣйствительно пробудилась, но только не для поэзіи, не для того просвѣтлѣнія и расширенія мысли и чувства, о которомъ мы только что говорили, а для совсѣмъ иныхъ «чаръ и тайнъ», аналогичныхъ тѣмъ, силою которыхъ Фаустъ запродалъ душу Мефистофелю и ринулся въ водоворотъ страстей и эгоистическихъ стремленій—къ миражу любви и счастья.—Сперва прочтемъ слѣдующія строки изъ разсказа (въ письмѣ 4-мъ) о самомъ чтеніи «Фауста»: «Вѣра Николаевна не шевелилась; два раза я украдкой взглянулъ на нее: глаза ея внимательно и прямо были устремлены на меня; ея лицо мнѣ показалось блѣднымъ. Послѣ первой встрѣчи Фауста съ Гретхенъ она отдѣлилась отъ спинки креселъ, сложила руки и въ такомъ положеніи осталась неподвижной до конца...» Очевидно, эта сцена поразила воображеніе Вѣры въ большей степени, чѣмъ предшествующія сцены, и съ этого момента она начинаетъ съ захватывающимъ интересомъ слѣдить за развитіемъ жестокой драмы Гете. Что-же именно поразило Вѣру, какія струны ея души дрогнули и зазвучали, и о чемъ собственно пѣли онѣ? Вѣра еще не знала любви (она никогда не была влюблена,—за скучнаго и ограниченнаго Пріимкова вышла по совѣту матери), она не вѣдала того, что называется влюбленностью, не испытала поэтической стороны этого чувства, его восторговъ, его мечты. Но несознаваемая душевная потребность любви не была устранена этимъ невѣдѣніемъ. Рано или поздно она должна была заявить о себѣ. Она то и заговорила—властно и внезапно, въ

Digitized by Google

тотъ моментъ, когда на сценѣ философской трагедіи появилась Гретхенъ.

Вы ожидаете, что съ этимъ появленіемъ Вѣра почувствуетъ чистую идеальную мечту любви, что ей откроется прежде всего неизвѣданная дотолѣ поэзія этого чувства... А вотъ посмотримъ.

Герой повѣсти читалъ:

Strasse. Faust Margarete vorübergehend.

Faust.

Mein schönes Fräulein, darf ich wagen,
Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?

Margarete.

Bin weder Fräulein, weder schön,
Kann ungeleitet nach Hause gehn.
(Sie macht sich los und ab).

Faust.

Beim Himmel, dieses Kind ist schön!
So etwas hab'ich nie gesehn.
Sie ist so sitt—und tugendreich.
Und etwas schnippisch doch zugleich.
Der Lippe Rot, der Wange Licht,
Die Tage der Welt vergess'ich's nicht!
Wie sie die Augen niederschlägt,
Hat tief sich in mein Herz geprägt;
Wie sie kurz angebunden war,
Das ist nun zum Entzücken gar!
(Mephistopheles tritt auf).

Faust.

Hör', du musst mir die Dirne schaffen!

Такъ вотъ именно при чтеніи этой циничной сцены, гдѣ нѣтъ и намека на поэзію любви, гдѣ Фаустъ является просто пшютомъ, преслѣдующимъ на улицѣ хорошенькую и глупенькую мѣщаночку,—Вѣра «отдѣлилась отъ спинки креселъ, сложила руки»—и вся обратилась въ слухъ и вниманіе. Можетъ быть, ее заинтересовала такъ фабула? Или—помимо интереса къ фабулѣ—ее захватило открытіе одной изъ «тайныхъ силъ жизни»? Но какъ могла она не почувствовать отвращенія?

Что бы она ни чувствовала въ эту минуту, несомнѣнно одно: ей прежде всего хотѣлось заглянуть въ душу Гретхенъ, прочесть тамъ эту таинственную повѣсть о зарождающейся

Digitized by Google

любви,—подслушать первое, стыдливое признаніе чистой души... Она жадно слушаетъ—и слышитъ:

Abend.

Ein kleines reinliches Zimmer.

Margarete (ihre Zöpfe flechtend und aufbindend).
Ich gäb' was drum, wenn ich nur wüsst',
Wer heut der Herr gewesen ist!
Er sah gewiss recht wacker aus
Und ist aus einem edlen Haus;
Das konnt' ich ihm an der Stirne lesen—
Er wär' auch sonst nicht so keck gewesen (ab).

Немного тайнъ повѣдала Вѣрѣ Гретхенъ! Входятъ Фаустъ и Мефистофель. Послѣдній, осмотрѣвъ комнату, замѣчаетъ: Nicht jedes Mädchen hält so rein. И уходитъ. Фаустъ остается одинъ и предается сладостнымъ мечтамъ на тему:

Willkommen, süsser Dämmerschein'
Der du dies Heiligtum durchwebst!
Ergreif, mein Herz, du süsse Liebespein,
Die du vom Thau der Hoffnung schmachtend lebst! и т. д.

«Благородный господинъ» расчувствовался. Пшютъ сентиментальничаетъ. O liebe Hand! so göttergleich! восклицаетъ онъ. Приподымаетъ завѣсу передъ кроватью и заявляетъ:

Hier möcht ich volle Stunden säumen.

И тутъ же— немножко философіи:

Natur! Hier bildetest in leichten Träumen
Den eingebornen Engel aus.. и т. д.

Все это блаженство любовныхъ предвкушеній прерывается появленіемъ Мефистофеля, который принесъ ящикъ съ дорогимъ ожерельемъ и серьгами. Ich that euch Sächelchen hinein, um eine andre zu gewinnen, поясняетъ онъ. Спрятавъ ящикъ въ комодъ Маргариты, онъ уговариваетъ Фауста уйти и не торчать тутъ съ такимъ видомъ, какъ будто онъ собирается войти въ аудиторію, гдѣ его ожидаютъ Физика и Метафизика.

Входитъ Маргарита. Ей что-то не-по-себѣ. Ей душно. Она томится. Какой-то страхъ овладѣваетъ ею. Она открываетъ окно, раздѣвается и поетъ пѣсенку: Es war ein König in Thule. Потомъ находитъ въ шкафу ящикъ Мефистофеля и приходитъ въ неописуемый восторгъ. Надѣваетъ ожерелье и серьги, смотрится въ зеркало и—заканчиваетъ свой монологъ сентенціей:

Digitized by Google

Wenn nur die Ohrring' meine wären!
Man sieht doch gleich ganz anders drein.
Was hilft euch Schönheit, junges Blut? и т. д.

. . . . . .

Nach Golde drängt,
Am Golde hängt
Doch alles. Ach, wir Armen!

Во всѣхъ этихъ сценахъ нѣтъ поэзіи, ни въ самомъ сюжетѣ, ни въ его литературномъ воспроизведеніи. Психологія дѣйствующихъ лицъ мелка и неинтересна. Мефистофель, конечно, золъ и остроуменъ, но все-таки это—«мелкій бѣсъ, изъ самыхъ нечиновныхъ *)». Онъ отлично умѣетъ вліять только на очень низменныя, очень пошлыя, прямо—животныя стороны человѣческой натуры, и нѣтъ въ немъ ничего истинно-демоническаго, гордаго и прекраснаго — въ самомъ порокѣ. Едва-ли эта фигура могла сильно поразить воображеніе Вѣры. Ужъ если дѣло пошло на демоновъ, на искусителей, то скорѣе Лермонтовскій демонъ могъ бы очаровать умъ Вѣры и вызвать въ немъ игру соотвѣтственныхъ поэтическихъ струнъ. Самъ Фаустъ въ этихъ и послѣдующихъ сценахъ выставленъ натурой мелкой, поверхностной и грубо эгоистической. Съ легкимъ сердцемъ кидается онъ въ омутъ низкихъ страстей, — совершаетъ рядъ гнусныхъ преступленій, являетъ собою картину полнаго нравственнаго паденія, — и все это такъ, какъ будто онъ никогда и не былъ мудрецомъ-затворникомъ, какъ будто онъ—нравственный уродъ и герой—не философской и психологической драмы, а самой обыкновенной уголовной хроники. Мы не видимъ въ немъ проявленій душевной драмы, борьбы противоположныхъ чувствъ, мучительныхъ терзаній совѣсти и слѣдимъ за исторіей его грѣхопаденія безъ того участія, того сожалѣнія «по человѣчеству», какое всегда возбуждаютъ даже настоящіе злодѣи въ истинно-художественномъ воспроизведеніи. Маргарита, конечно, вызываетъ сожалѣніе, какъ жертва, но она такъ проста и наивна, она—такая неинтересная дурочка, что читателю приходится самому идеализировать и поэтизировать ее, чему очень помогаютъ, конечно, превосходные стихи Гете. Образъ чистой и поэтической Гретхенъ въ Гетевскомъ «Фаустѣ» есть одинъ изъ литературныхъ миѳовъ, возникшій на почвѣ «культа Гете»: его нѣтъ въ знаменитой трагедіи великаго

*) Такъ отзывается о немъ самъ Тургеневъ въ статьѣ о „Фаустѣ“ Гете, написанной еще въ 1844 г. (томъ I, изд. 1883 г.).

Digitized by Google

мыслителя,—тамъ на его мѣстѣ находится нѣчто совсѣмъ другое,—фигура, въ которой нѣтъ и тѣни поэзіи, и которая годится опять таки только для мѣщанской мелодрамы или для уголовной хроники *). Таковы главные герои. Настоящаго художественнаго эффекта они не производятъ, и чтеніе «Фауста» не даетъ въ результатѣ того душевнаго подъема, того гармоническаго состоянія духа, о которомъ я говорилъ выше, какъ о неотъемлемой принадлежности и характерной чертѣ художественнаго процесса мысли.

Но въ цѣломъ вся первая часть «Фауста» и многія мѣста второй, не взирая на нехудожественность образовъ, производятъ все-таки очень сильное, иногда потрясающее впечатлѣніе и на мысль, и на чувство,—впечатлѣніе, которое въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ походитъ на художественное и можетъ легко быть смѣшано съ этимъ послѣднимъ. «Фаустъ» — это прежде всего одна изъ самыхъ умныхъ, самыхъ злыхъ, самыхъ жестокихъ книгъ, которыя когда либо были написаны. Это книга, развѣнчивающая человѣка, обнажающая скрытое въ немъ животное начало; это книга, которая, съ сатанинскимъ хохотомъ Мефистофеля, злорадно утверждаетъ, что человѣкъ прежде всего — звѣрь, жестокій, злой, эгоистическій, что всѣ его высшія стремленія — къ истинѣ, къ нравственной чистотѣ, къ идеалу — являются лишь пустыми претензіями, безсильными поползновеніями подняться надъ юдолью зла и страданій. Удѣлъ человѣка — говоритъ эта ужасная книга — постоянно разочаровываться въ себѣ самомъ, какъ существѣ разумномъ и моральномъ, вѣчно падать въ погонѣ за счастьемъ, которое недоступно, за наслаж-

---

*) Въ вышеупомянутой статьѣ о „Фаустѣ“ Тургеневъ отзывается о Гретхенъ такъ: „она мила—какъ цвѣтокъ, прозрачна—какъ стаканъ воды, понятна—какъ дважды два—четыре: она безстрастная, добрая нѣмецкая дѣвушка; она дышетъ стыдливой прелестью невинности и молодости; она, впрочемъ, нѣсколько глупа“. Мой отзывъ отличается отъ Тургеневскаго не по существу, а, такъ сказать, въ количественномъ отношеніи. Вмѣсто „нѣсколько глупа“, я скажу: „непроходимо глупа“. Впрочемъ, у Тургенева мы видимъ ту идеализацію Гретхенъ, которая была свойственна нашей романтической молодежи 30-хъ и 40-хъ гг., и если приведенный отзывъ не слишкомъ восторженъ и свидѣтельствуетъ о трезвости взгляда, то это шло въ разрѣзъ съ общимъ взглядомъ на „Фауста“ и культомъ Гете какъ художника, оставшимся у Тургенева до конца жизни, и было проявленіемъ силы и ясности ума нашего поэта, умѣвшаго критически отнестись къ предмету въ самый разгаръ увлеченій.

Digitized by Google

деніями, которыя только ведутъ къ новымъ вожделѣніямъ и никогда не удовлетворяютъ *). Но это еще не все. Пессимизмъ этого рода есть явленіе очень старое (вспомнимъ буддизмъ и Экклезіаста) и способное сочетаться съ весьма разнообразными ученіями или стремленіями, философскими, религіозными, этическими и иными. Вотъ именно въ «Фаустѣ» Гете мы находимъ его въ сочетаніи съ такими идеями и стремленіями, въ союзъ съ которыми раньше онъ не вступалъ. Этотъ неожиданный союзникъ—не кто иной, какъ духъ XVIII вѣка, освободительныя идеи и разрушительныя стремленія котораго ярко сказываются не только въ сарказмахъ Мефистофеля, но и во всей концепціи произведенія, въ основномъ замыслѣ этой необыкновенной книги, въ самомъ ея тонѣ, даже въ языкѣ и стилѣ. Среди непроглядной мрачности и безотрадности пессимистическаго воззрѣнія на человѣка чуется трепетаніе новой жизни, молодой и смѣлой, не боящейся отрицать и разрушать, ибо она увѣрена, что таитъ въ себѣ неоскудѣвающій запасъ творческихъ, созидающихъ силъ. Оба начала перепутаны самымъ причудливымъ образомъ, при чемъ никакъ не разберешь, сами ли они такъ перепутались—въ безсознательно творившей геніальной головѣ Гете, или же великій писатель сознательно и преднамѣренно все время держитъ читателя въ невѣдѣніи насчетъ настоящаго призванія отрицающей силы: призвана ли она обновлять жизнь, освобождать, расчищать пути человѣчества, или же ея удѣлъ—только губить, развращать, разнуздывать животные инстинкты въ человѣкѣ? Въ великолѣпномъ «Прологѣ на небѣ», который самъ по себѣ есть законченная, геніально задуманная и до дерзости смѣлая вещь, ясно указано первое призваніе отрицающей силы, олицетворенной въ Мефистофелѣ. Der Herr къ нему благоволитъ и даже поощряетъ дѣйствовать. Онъ говоритъ этому представителю ада:

Ich habe deines Gleichen nie gehasst,
Von allen Geistern, die verneinen,
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.
Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen,
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum geb'ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirkt und muss, als Teufel, schaffen.

---

*) So tauml'ich von Begierde zu Genuss, und im Genuss verschmacht'ich nach Begierde,—говоритъ Фаустъ.

Digitized by Google

И читатель въ правѣ ожидать, что ему въ самомъ дѣлѣ покажутъ, какъ отрицающее начало reizt, wirkt и schafft, какъ оно разрушаетъ дряхлыя формы и тѣмъ расчищаетъ пути новой жизни; читатель ждетъ, что ему покажутъ благотворное дѣйствіе хотя бы и дурныхъ, эгоистическихъ, но высшихъ человѣчныхъ страстей, заставляющихъ лѣниваго смертнаго стремиться къ лучшему, бороться, мыслить, заблуждаться, падать и — въ концѣ концовъ совершенствоваться. Однимъ словомъ, читатель склоненъ искать въ загадочной книгѣ оправданія положеній, высказанныхъ въ «Прологѣ» и гласящихъ, что

Es irrt der Mensch so lang'er sterbt,

но что—въ концѣ концовъ—

Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst.

Вотъ именно съ такими то ожиданіями и упованіями, совершенно законными, вызванными самимъ Гете, читатель встрѣчаетъ первое появленіе Мефистофеля въ самой трагедіи; на первыхъ порахъ эти ожиданія какъ будто бы начинаютъ оправдываться. Мефистофель рекомендуется Фаусту, говоря о себѣ, что онъ есть

Ein Theil von jener Kraft,
Die stets das Böse will unb stets das Gute schafft.

Это является прямымъ продолженіемъ мысли «Пролога».—

Ich bin der Geist, der stets verneint!—

продолжаетъ Мефистофель, — и затѣмъ въ этой сценѣ съ Фаустомъ и слѣдующей — съ ученикомъ обнаруживаетъ всю силу и весь ядъ своихъ отрицаній и дерзновеній, — въ удивительныхъ, полныхъ сарказма и адскаго хохота, рѣчахъ, гдѣ безпощадно развѣнчиваются старые идолы, разрушаются старыя иллюзіи и гдѣ чувствуются вѣянія вѣка энциклопедистовъ и Вольтера.—Фаустъ продаетъ свою душу Мефистофелю и идетъ за нимъ, чтобы начать новый „Lebenslauf".

Вотъ тутъ то и конецъ всѣмъ ожиданіямъ читателя. Философская и психологическая трагедія на этомъ заканчивается. Но вѣдь читатель не предупрежденъ на этотъ счетъ и естественно ожидаетъ продолженія той же темы, а потому, читая дальше, всѣми силами старается прозрѣть въ сценахъ и образахъ, которые ему даны, какой то глубокій и сокровенный смыслъ, не замѣчая или не догадываясь, что такового тамъ и въ поминѣ нѣтъ.

Digitized by Google

А есть тамъ только та уголовная мелодрама, о которой была рѣчь выше, да еще фантастическія сцены, нарочито туманныя и переполненныя разной чертовщиной и, собственно говоря,—лишнія. Суть всего этого — обнаруженіе звѣря въ человѣкѣ, полное развѣнчиваніе Фауста, низведеніе Мефистофеля на ступень «мелкаго бѣса», который только умѣетъ пробуждать животные инстинкты и вовсе не «творитъ добро, желая зла», не является дѣятелемъ, возбуждающимъ какія бы то ни было высшія стремленія. Онъ вовсе не „wirkt“ и не „schafft“. Фаустъ въ свою очередь оказывается вовсе не тѣмъ «хорошимъ человѣкомъ, который въ своихъ темныхъ стремленіяхъ все-таки сознаетъ, гдѣ правильный путь»,—отнюдь не тѣмъ дѣятелемъ, который «стремится и заблуждается»: погоня за грубыми наслажденіями — это не «стремленія», и паденіе да уголовныя дѣянія это не тѣ «заблужденія», которыя подразумѣваются въ «Прологѣ». Читатель обманутъ въ своихъ ожиданіяхъ, ошеломленъ этимъ непрерывнымъ калейдоскопомъ глубокихъ мыслей, мѣткихъ словъ, злыхъ рѣчей, сарказмовъ, отдѣльныхъ дѣйствительно поэтическихъ строфъ, всякаго рода фантастикой и чертовщиной, высокимъ идеализмомъ и грубымъ реализмомъ, идущимъ вплоть до употребленія непечатныхъ словъ, смѣшеніемъ драмы и мелодрамы,— и это ошеломленіе такъ велико, что читатель готовъ забыть и простить,—что его обманули, привели не туда, куда обѣщали привести. Ему трудно даже разобраться сразу въ своихъ ощущеніяхъ, и на первыхъ порахъ одно лишь ясно ему: книга, которую онъ прочиталъ, есть книга, во первыхъ, жестокая, злая, безпощадная, а во вторыхъ, въ одно и то-же время и геніальная, и какая-то иррацiональная. Не разобравшись и не давъ себѣ отчета во всѣхъ этихъ впечатлѣніяхъ, читатель ошибочно принимаетъ ихъ за художественныя. Только послѣ тщательной провѣрки окажется, что они не были художественными и поэтическими въ собственномъ смыслѣ, что они были совсѣмъ иныя. Какія именно, т. е. какова ихъ природа, это мы уяснимъ себѣ, если обратимъ должное вниманіе на только что указанную сторону «Фауста»,—на иррацiональное въ немъ.

Безсмертная книга, во первыхъ, трактуетъ объ иррацiональномъ въ природѣ человѣка: это ея сюжетъ, ея тема, ея задача; во вторыхъ, она сама иррацiональна—по духу, характеру творчества, по исполненію.

Постараемся уяснить себѣ и то, и другое.

Digitized by Google

На вопросъ: что собственно апперцепировано образами «Фауста»?—я бы отвѣтилъ такъ: ирраціональное въ душѣ человѣческой, какъ мыслящей, такъ и чувствующей, и при томъ разсматриваемое преимущественно въ его отношеніяхъ къ эгоистической и животной сторонѣ въ натурѣ человѣка.

Сперва взглянемъ на это ирраціональное въ мыслящей душѣ, т. е. въ умѣ познающемъ и творящемъ. Фаустъ—ученый и мыслитель. Но этого мало: нужно знать, *какъ* онъ мыслитъ, какого рода умственные процессы скрываются подъ той *наукою*, представителемъ которой является Фаустъ. Это—наука схоластическая, наука того фазиса въ исторіи мысли, когда химія еще не была отдѣлена отъ алхиміи, когда движущимъ мотивомъ познающаго ума было не стремленіе къ истинѣ, чистое и безкорыстное, а желаніе овладѣть тайными силами природы въ видахъ эгоистическихъ. Это было странное, фантастическое состояніе мысли, въ которомъ уживались несогласимыя противорѣчія; умъ въ своей познавательной дѣятельности еще не владѣлъ главнымъ орудіемъ, которымъ такъ сильна наука новаго времени,—орудіемъ, благодаря которому она и есть—наука, а не что нибудь другое. Я разумѣю *методъ*. Въ зависимости отъ этого признака, отсутствія правильнаго научнаго метода, находился и другой—относительная слабость логической силы ума, не способной еще подчинить себѣ дѣятельность памяти, воображенія и другихъ безсознательныхъ процессовъ мысли. А эти процессы по существу ирраціональны,—въ противоположность логикѣ и методу, являющимся истинными носителями раціональнаго въ нашемъ умѣ. При слабости, невыработанности послѣднихъ, ирраціональные процессы не находили узды и удержу, дѣйствовали стихійно, слѣпо, творили неразумно и, главное, безплодно. Вотъ именно такое состояніе и воспроизведено въ первыхъ сценахъ «Фауста». Здѣсь отмѣчена пустота и безплодность схоластическаго и алхимическаго знанія, указаны эгоистическіе мотивы въ познавательныхъ стремленіяхъ ума, наконецъ превосходно воспроизведенъ весь душевный укладъ средневѣковаго мыслителя, характеризуемый неуравновѣшенностью духа, рѣзкими переходами отъ восторговъ къ отчаянію, отъ смѣлыхъ запросовъ ума къ малодушнымъ страхамъ. Вы видите передъ собою «ученаго», который не умѣетъ мыслить спокойно, объективно, котораго умъ порабощенъ различными чувствами, болѣе или менѣе страстными, а мысль, всегда окрашенная субъективными настроеніями, не въ силахъ сосредо-

Digitized by Google

точиться на изслѣдованіи или созерцаніи явленія и ежеминутно перескакиваетъ изъ объективной сферы въ субъективную; она словно — на привязи чувствъ и бьется, и мечется въ тщетныхъ усиліяхъ освободиться и воспарить въ ту, высшую, сферу умственнаго творчества, гдѣ ей привольно витать, гдѣ, безстрастная и свободная, она могла-бы развернуть свою творческую силу и— „was in schwankender Erscheinung schwebt, — befestigen mit dauernden Gedanken".

Фаусту недостаетъ прежде всего внутренней свободы, безъ которой немыслима никакая плодотворная работа мысли, никакое творчество, ни философское, ни ученое, ни художественное. Но у него уже есть какъ-бы предчувствіе этой свободы, тоска по ней, смутное чаяніе, что она возможна, что съ ея приходомъ должна взойти заря новой, лучшей жизни. Оттуда та раздвоенность въ душѣ Фауста, которая превосходно выражена въ знаменитыхъ словахъ его, обращенныхъ къ Вагнеру:

Du bist dir nur des einen Triebs bewusst;
O lerne nie den andern kennen!
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine hält in derber Liebeslust
Sich an die Welt, mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich vom Duft
Zu den Gefilden hoher Ahnen.
O giebt es Geister in der Luft,
Die zwischen Erd'und Himmel herrschend weben,
So steiget wieder aus dem goldnen Duft
Und führt mich weg, zu neuem buntem Leben!

Среди этой душевной разорванности, въ этомъ мятущемся состояніи духа, Фаустъ послѣдовательно переживаетъ цѣлый рядъ различныхъ душевныхъ состояній, цѣлую гамму чувствъ, въ ряду которыхъ громче и рѣзче звучатъ ноты мрачныя, ноты разочарованія и отчаянія, но между ними порою пробиваются и звуки примиренія, смиренія, любви. И вы замѣчаете, что между тѣми и другими идетъ глухая борьба, которой исходъ остается—пока— неизвѣстенъ; но вамъ отъ времени до времени даютъ понять, что какъ ни слабы эти проблески тихихъ и свѣтлыхъ ощущеній, эти приливы состраданія и любви къ бѣдному, темному, страждущему, человѣчеству, — все таки они способны одержать верхъ, внести миръ въ душу Фауста, возродить его къ новой жизни. Это нѣкоторымъ образомъ было обѣщано знаменитой тирадой

„Was sucht ihr, mächtig und gelind, Ihr Himmelstöne, mich am Staube“, въ которой Фаустъ отказывается отъ мысли о самоубійствѣ:

О tönet fort (восклицаетъ онъ), ihr süssen Himmelslieder!
Die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder!

Далѣе это «обѣщаніе» было подтверждено великолѣпнымъ монологомъ „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche“, оканчивающимся такъ:

Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein.

Наконецъ въ сценѣ съ пуделемъ, непосредственно предшествующей появленію Мефистофеля, вы чуть-чуть не увѣровали въ исполненіе этихъ обѣщаній; возрожденіе Фауста, побѣда въ немъ человѣческихъ, альтруистическихъ чувствъ надъ эгоистическими и вмѣстѣ просвѣтлѣніе и освобожденіе его мысли казались вамъ почти совершившимся фактомъ: вы слышали изъ устъ Фауста признанія такого рода:

Entschlafen sind nun wilde Triebe
Mit jedem ungestümen Thun;
Es reget sich die Menschenliebe.
Die Liebe Gottes regt sich nun.
. . . . . .
. . . . . .
Vernunft fängt wieder an zu sprechen,
Und Hoffnung wieder an zu blühn;
Man sehnt sich nach des Lebens Bächen,
Ach! nach der Lebens Quelle hin.

Правда, васъ нѣсколько безпокоило присутствіе пуделя; въ немъ чудилось вамъ знаменіе животныхъ началъ,—животной души, совсѣмъ уже ирраціональной, которой слѣпыя влеченія, стихійныя, неразумныя силы способны — пожалуй — нарушить и омрачить ясность духа и мысли, съ такимъ трудомъ возобладавшую въ душѣ Фауста. И вы вполнѣ понимаете ощущенія Фауста и сочувствуете ему, когда онъ старается успокоить пуделя и говоритъ ему:

Knurre nicht, Pudel! Zu den heiligen Tönen,
Die jetzt meine Seel' umfassen,
Will der thierische Laut nicht passen...

Но миръ души уже нарушенъ. „Schon fühl'ich“— говоритъ Фаустъ—„bei dem bestem Willen, Befriedigung nicht mehr

aus dem Busen quillen". Онъ прибѣгаетъ тогда къ послѣднему средству: онъ обращается къ откровенію и углубляется въ истолкованіе священнаго текста—«въ началѣ бѣ Слово...»

А тѣмъ часомъ Пудель не дремлетъ. Онъ все бунтуетъ, воетъ, лаетъ, онъ точно бѣшенный, и вотъ ужъ онъ преображается въ какое то ужасное чудище, противъ котораго безсильны всѣ чары и заклинанія Фауста. Это чувства, чувства эгоистическія, это страсти, страсти животныя, приливаютъ и надвигаются, и заполняютъ душу Фауста, вытѣсняя изъ нея все лучшее и разумное, все человѣчное, омрачая его сознаніе туманомъ слѣпыхъ влеченій, вожделѣній и соблазновъ, парализуя его волю. Разсѣется ли этотъ туманъ, прояснится ли эта мгла души? Будетъ ли укрощено чудовище?

Повидимому, къ тому дѣло и клонится: туманъ разсѣивается, чудовище исчезаетъ—чтобы дать мѣсто представителю отрицанія, Мефистофелю. „Das also war des Pudels Kern!" восклицаетъ успокоенный Фаустъ.

Что-жъ, — это не бѣда, это путь правильный: вѣдь душа Фауста, терзаемая и влекомая въ противоположныя стороны ирраціональными силами ума и слѣпыми влеченіями страстей, не могла подняться на ту умственную и нравственную высоту, къ которой она призвана стремиться, и уже готова была впасть въ отчаяніе. Теперь къ ея услугамъ является новая и большая сила: сила отрицанія, сомнѣнія, скептицизма,—лучшее орудіе для расчистки путей мысли, для освѣженія ума, а, стало быть, и первый шагъ къ достиженію внутренней свободы. И для страстей это начало не лишено значенія: духъ, который все и всегда отрицаетъ, можетъ направить свою разлагающую критику и на эту сферу, способенъ сорвать маску, часто прикрывающую эгоистическія влеченія, отравить сентиментализмъ грубыхъ желаній и «поэзію» низменныхъ чувствъ ядомъ рефлексіи и, если нужно, циническимъ хохотомъ. Для освобожденія человѣчества отъ темноты и безпомощности, не только умственной, но и нравственной, необходимъ и этотъ ядъ, и этотъ хохотъ,—безъ рефлексіи, безъ критики, безъ отрицанія человѣчество остановилось бы въ своемъ развитіи не вышло бы изъ «блаженнаго» невѣдѣнія своей умственной темноты и нравственной наготы.

Итакъ, казалось бы, съ появленіемъ Мефистофеля для Фауста должна была бы наступить «новая жизнь»—въ смыслѣ выхода изъ душевной тьмы на тотъ психологическій путь, который мы

Digitized by Google

назовемъ развитіемъ раціональныхъ силъ духа. Но этого то Гете намъ и не далъ: «новая жизнь» Фауста оказалась той уголовной мелодрамою, о которой была рѣчь выше. Раціональныя силы не возобладали, и «картина» души Фауста остается до конца «картиною» той болѣзни, которую можно было бы назвать «умственнымъ и нравственнымъ изможденіемъ», обусловленнымъ исключительнымъ господствомъ недисциплинированныхъ, иррацiональныхъ силъ духа.

Впечатлѣніе, производимое этой «картиною», само по себѣ гнетущее, еще усугубляется тѣмъ обстоятельствомъ, что самая трагедія Гете носитъ на себѣ явные слѣды иррацiональности творчества. «Фаустъ» Гете художественъ по творческому замыслу и не художественъ по самому ходу творческой работы: задумавъ «Фауста», Гете стремился къ обобщенію извѣстныхъ явленій духа человѣческаго и къ воплощенію полученныхъ выводовъ въ конкретныхъ образахъ, — стремленія, слѣдовательно, были чисто-художественныя; но эти обобщенія и ихъ конкретныя изображенія были найдены не тѣмъ путемъ, который является единственно-раціональнымъ въ искусствѣ, т. е. не путемъ синтеза. Путь мысли, методъ въ искусствѣ есть вещь столь же первостепенная, какъ и въ наукѣ. Это огромное заблужденіе—думать, что, напримѣръ, истина все равно остается истиной, какимъ бы способомъ она ни была получена. Въ наукахъ индуктивныхъ самая удачная, самая вѣрная мысль, выведенная апріорнымъ путемъ, не будетъ имѣть психологическаго значенія научной истины до тѣхъ поръ, пока не будетъ вновь найдена синтетической работой мысли,— индуктивно. Такъ и въ искусствѣ: поэтическое обобщеніе, чтобы имѣть значеніе художественнаго и производить соотвѣтственное воздѣйствіе на мысль, должно быть результатомъ синтеза, какъ основного, руководящаго процесса мысли, анализъ же служитъ только помощникомъ, является дѣятелемъ второстепеннымъ. Это—раціональный путь творчества. Обратный же путь—съ анализомъ на первомъ планѣ—не даетъ въ результатѣ образовъ, способныхъ быть истинно-художественными. Не трудно видѣть, что главные образы трагедіи Гете, въ особенности же самъ Фаустъ и Мефистофель, суть образы аналитическіе, а не синтетическіе. Это не мѣшаетъ имъ быть обобщеніями. Гете анализировалъ душу человѣческую, выдѣливъ изъ ея содержанія въ одну сторону одни элементы, въ другую—другіе. Одни онъ воплотилъ

Digitized by Google

въ образѣ Фауста, другіе въ образѣ Мефистофеля. Путемъ того же анализа, устраняя изъ этихъ образовъ все, что могло бы сдѣлать ихъ живыми личностями, что налагало бы на нихъ печать индивидуальности, Гете превратилъ ихъ въ блѣдныя схемы, въ говорящія абстракціи, а это то и даетъ имъ обобщающую силу. Здѣсь мы видимъ, стало быть, нѣчто діаметрально противоположное тому, что представляютъ намъ настоящія созданія искусства: въ этихъ послѣднихъ обобщающая сила образа вполнѣ совмѣщается съ его полной конкретностью, съ его рѣзко выраженной индивидуальностью. Настоящему художнику, напримѣръ, Шекспиру, нѣтъ никакой надобности дѣлать фигуру блѣдной, схематичной, безжизненной, чтобы придать ей значеніе обобщающей. Но Гете, не художникъ въ тѣсномъ смыслѣ, а поэтъ-мыслитель, не могъ въ своемъ творчествѣ итти по этому единственно-раціональному пути искусства, пути синтеза, и создать индуктивные образы,—онъ могъ получить свои поэтическія обобщенія только вышеуказаннымъ путемъ анализа, созданіемъ аналитическихъ образовъ, которые обобщаютъ только потому, что сами абстрактны. Это—не настоящее искусство, или—если угодно—это—искусство ирраціональное *).

Такой характеръ творчества сказывается не только въ самой природѣ образовъ, въ ихъ блѣдности, схематичности, условности, но и во многомъ другомъ. Выбитая изъ своего естественнаго русла, фантазія поэта создаетъ картины въ одно и то-же время и прихотливыя, какъ будто безсознательныя, повидимому лишенныя цѣлесообразности, и въ то же время явно «сочиненныя», искусственныя, головоломныя. Почти вся вторая часть «Фауста» является доказательствомъ такой именно работы воображенія. Но и въ первой части уже замѣтны признаки этой ирраціональности творческой мысли.

Выводъ изъ всего вышесказаннаго о «Фаустѣ» Гете ясенъ: это великое произведеніе великаго ума не можетъ дѣйствовать на мысль и чувство такъ, какъ это свойственно настоящимъ художественнымъ произведеніямъ,—созданіямъ искусства раціональнаго, а должно дѣйствовать какъ нибудь иначе. Какъ же именно?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, лучше всего прослѣдить дѣйствіе «Фауста» на душу нетронутую, не искушенную въ

---

*) Такъ точно, напримѣръ, средневѣковую науку мы можемъ опредѣлить и какъ—не настоящую, и какъ ирраціональную.

Digitized by Google

жизни чувства и мысли, на душу свѣжую, чуткую, впечатлительную, какова Вѣра, героиня Тургеневскаго «Фауста», къ которой и возвратимся теперь.

IV.

Сперва взглянемъ на симптомы.

Вѣра подавлена новыми ощущеніями, не въ силахъ разобраться въ нихъ и только проситъ чтеца оставить ей «эту книгу». Она видимо уклоняется отъ разговора о прочитанномъ и уходитъ въ свою комнату. Оттуда она возвращается смущенная и съ красными глазами. «Вообразите», говоритъ ея мужъ, Пріимковъ—«я пришелъ къ ней наверхъ и застаю ее: она плачетъ. Этого съ ней давно не случалось. Я вамъ могу сказать, когда она въ послѣдній разъ плакала: когда Саша у насъ скончалась. Вотъ, что вы надѣлали съ вашимъ «Фаустомъ...«—«Стало быть»—замѣчаетъ разсказчикъ Вѣрѣ—«вы теперь видите, что я былъ правъ, когда...» «Я этого не ожидала — перебиваетъ она:— но Богъ еще знаетъ, правы ли вы. Можетъ быть, оттого матушка и запрещала мнѣ читать подобныя книги, что она знала...»—«Что знала? Говорите».—Къ чему? Мнѣ и такъ совѣстно: о чемъ это я плакала? Впрочемъ, мы еще съ вами потолкуемъ. Я многое не совсѣмъ поняла...»—«Отчего же вы меня не остановили?»—«Слова то я всѣ поняла, и смыслъ ихъ, но...» другой день утромъ разсказчикъ встрѣчаетъ ее въ саду и узнаетъ, что она всю ночь не спала. «Неужели отъ вчерашняго чтенія?» спрашиваетъ онъ.«—Конечно (отвѣчаетъ она): я къ этому не привыкла. Въ этой вашей книгѣ есть вещи, отъ которыхъ я никакъ отдѣлаться не могу; мнѣ кажется, это онѣ такъ жгутъ голову..:»—«Пойдемте, сядемте въ эту бесѣдку—продолжала она—и, пожалуйста, до тѣхъ поръ, пока я не заговорю съ вами сама, не упоминайте мнѣ... объ этой книгѣ». Она—замѣчаетъ разсказчикъ — какъ будто боялась произнести имя «Фауста». (Письмо 4-е).

Такими намеками и «умолчаніями» Тургеневъ превосходно изобразилъ тотъ процессъ, который совершался въ душѣ Вѣры,—вызванный чтеніемъ «Фауста». Это былъ процессъ темный, неясный для нея самой, это была глухая работа въ глубинѣ души, стихійное движеніе чувствъ, тревожное скопленіе мыслей. Если бы Тургеневъ, вмѣсто намековъ и краткаго указанія на сим-

Digitized by Google

птомы, вдался въ подробный психологическій анализъ,—онъ не далъ бы художественно-правдивой картины душевнаго состоянія Вѣры: неясное, темное, глухое, несознанное казалось бы яснымъ, понятнымъ, отчетливымъ. Раскрыть, истолковать процессъ, дать ему психологическое опредѣленіе—это уже дѣло критика или комментатора. Я говорю это только примѣнительно къ данному случаю, а не вообще. Чутье художника подсказало Тургеневу, что на душу Вѣры въ ея новомъ состояніи необходимо набросить покровъ, что темное ея броженіе такъ и слѣдуетъ оставить въ темнотѣ: пусть самъ читатель сниметъ покровъ, пусть онъ самъ внесетъ свѣтъ въ эту темноту душевную: вѣдь свѣточъ ему данъ, это—Гетевскій «Фаустъ». Вотъ почему мы и остановились нѣсколько дольше на изложеніи своего взгляда на знаменитую трагедію Гете: тамъ ключъ и къ психологіи Вѣры, и вообще къ пониманію художественнаго значенія этого образа.

Вѣра п о н я л а и н е п о н я л а «Фауста». Это значитъ: она глубоко прочувствовала трагедію Гете и даже проникла въ смыслъ ея образовъ (вспомнимъ, напримѣръ ея отзывъ о Мефистофелѣ въ письмѣ пятомъ), но ея собственное душевное состояніе послѣ чтенія было ей непонятно. Чего не поняла она въ «Фаустѣ», — такъ это — с а м о е себя. Всякое произведеніе, раскрывающее намъ тайники души человѣческой (при чемъ все равно: будетъ ли это вещь художественная, или иная), непремѣнно ведетъ къ самоанализу, къ самопознанію. Читатель оглядывается на себя, узнаетъ въ психологическихъ данныхъ, предъявляемыхъ авторомъ, свои собственныя душевныя состоянія, уясняетъ себѣ многое, что прежде онъ лишь смутно ощущалъ въ себѣ. И если послѣ чтенія его собственная натура и душа стала ему яснѣе, чѣмъ была прежде, онъ говоритъ, что онъ понялъ автора. Вотъ именно этотъ психологическій мотивъ у Вѣры проявился совсѣмъ особеннымъ образомъ. Вѣра всѣми фибрами своей души чувствовала, что загадочная книга открываетъ какую то глубокую и страшную правду о душѣ человѣческой, и что эти загадочныя стороны души и натуры, такъ ярко воспроизведенныя поэтомъ, находятся и въ ней самой, въ Вѣрѣ. Она слушала чтеніе съ какимъ то несознаннымъ, но упорнымъ внутреннимъ убѣжденіемъ, что это о ней рѣчь идетъ, что вотъ сейчасъ она узнаетъ о себѣ что-то такое, чего раньше и не подозрѣвала. Ей казалось, что вотъ сейчасъ будетъ разоблачена какая то тайна, какой то вопросъ будетъ поставленъ, какія то скры-

Digitized by Google

тыя силы уже просыпаются въ душѣ, и нѣчто стихійное и роковое шевелится и бродитъ въ крови ли, въ чувствѣ ли, въ мозгу ли,—не разберешь и не поймешь, но ей ясно, что она уже не та, прежняя спокойная, свѣтлая, чистая Вѣра, а какая то другая, съ какими то новыми помыслами и желаніями. И—воспитанная и до сихъ поръ жившая въ невѣдѣнія себя самой и «тайныхъ силъ жизни»—она, въ своемъ новомъ состояніи, не понимаетъ самое себя. Блаженное невѣдѣніе разрушено, но самопониманіе не дано, ибо вновь открытыя и пробужденныя силы души суть силы ирраціональныя, и—ихъ не поймешь, пока онѣ не скажутся болѣе опредѣленнымъ образомъ, пока не выйдутъ изъ этого состоянія глухого броженія и не претворятся въ извѣстныя, доступныя сознанію и подлежащія нравственной и иной квалификаціи чувства, помыслы, влеченія или страсти.

Вотъ именно эта невозможность понять себя и вытекающее оттуда смущеніе или даже ошеломленіе и было основнымъ элементомъ въ новомъ душевномъ состояніи Вѣры, или исходной точкой въ развитіи психологической драмы, изображенной Тургеневымъ въ pendant къ той, которую создалъ Гете. До сихъ поръ Вѣрѣ казалось, что она отлично себя знаетъ и понимаетъ. Это была женщина—не чета гетевской Гретхенъ. Послѣдняя, во-первыхъ, глупа и невѣжественна, во-вторыхъ, какая-то загипнотизированная, безъ проблеска воли, мысли, иниціативы. Вѣра — человѣкъ мыслящій, съ сильною волею, съ правилами, съ рѣзко-выраженной нравственной индивидуальностью. Ея невѣдѣніе — искусственно, плодъ педагогической ошибки матери, и подъ нимъ скрывается огромная способность глубоко чувствовать и тонко понимать многое, что для такихъ, какъ Гретхенъ, навсегда останется недоступнымъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ у Вѣры—большіе задатки къ самоопредѣленію, къ самосознанію. Она привыкла анализировать себя, задумываться надъ тѣмъ, что она такое, къ чему призвана, что должна дѣлать и т. д. И вотъ теперь ей приходится передѣлывать заново это свое, казалось, установившееся самопониманіе, приходится считаться съ какими-то новыми данными, которыя раньше въ разсчетъ не принимались, искать новой формулы самоопредѣленія, пожалуй, тронуть, и въ очень чувствительныхъ мѣстахъ, всю систему своихъ давно сложившихся нравственныхъ понятій. И она чувствовала, что для нея начинается новая полоса жизни, и Богъ вѣсть, что сулитъ эта полоса. Ей было ясно, что она наканунѣ какихъ-то перемѣнъ,

Digitized by Google

а, можетъ быть, и катастрофъ, въ своемъ внутреннемъ мірѣ... Къ чему приведутъ, какъ скажутся онѣ?

Она вспомнила завѣты и запреты матери. Мелькнула мысль: а вѣдь не даромъ она запрещала мнѣ это,—она знала...

Къ непониманію себя, къ смущенію передъ своей собственной загадочностью присоединились еще ожиданіе и родъ суевѣрнаго страха, что это неизвѣстное, опасное, страшное, о чемъ знала и отъ чего хотѣла уберечь ее мать, вотъ-вотъ объявится... и найдетъ-ли она, Вѣра, силу, чтобы бороться съ нимъ?

И еще чувство: опасеніе, что этой силы не найти ей въ себѣ.

Съ развитіемъ (какъ извѣстно, очень быстрымъ) страстнаго чувства къ разсказчику, герою повѣсти, это опасеніе Вѣры все росло и вскорѣ превратилось въ увѣренность.

Но почему-же, однако? Вѣдь Вѣра—не дѣвочка. Это женщина сложившаяся, серьезная, съ нравственными устоями, къ тому-же мать семейства. А «культъ» покойной матери? Неужели во всемъ этомъ не могла она почерпнуть силы для борьбы съ роковой страстью? Не могла. Вотъ и постараемся прослѣдить тотъ душевный процессъ, въ силу котораго Вѣра была приведена къ этой психологической невозможности противостоять страсти, къ роковому для нея сознанію своей обезоруженности.

Сперва прочтемъ слѣдующія строки въ Письмѣ пятомъ: «О «Фаустѣ» мы съ ней разсуждали не однажды: но—странное дѣло!—о Гретхенъ она ничего сама не говоритъ, а только слушаетъ, что я ей скажу. Мефистофель ее пугаетъ не какъ чортъ, а какъ «что-то такое, что въ каждомъ человѣкѣ можетъ быть»... Это ея собственныя слова. Я началъ было толковать ей, что это «что-то» мы называемъ рефлексіей; но она не поняла слова рефлексія въ нѣмецкомъ смыслѣ: она только знаетъ одну французскую „réflexion“ и привыкла почитать ее полезной».

Кто, читая тургеневскаго «Фауста», не обратилъ вниманія на эти слова, не оцѣнилъ ихъ значенія, тотъ не понялъ этого классическаго произведенія, которое, со всей своей содержательностью, всей сложностью и тонкостью психологической темы, умѣстилось на какихъ-нибудь 60-ти страницахъ: сжатость и экономія художественныхъ пріемовъ—необыкновенныя, и ежели на что-нибудь тамъ обращено вниманіе и на это потрачено строкъ десять, то несомнѣнно это пунктъ—важный, и читателю необходимо вникнуть въ него. Вотъ и вникнемъ.

Вѣра избѣгаетъ говорить о Гретхенъ, т. е. высказы-

Digitized by Google

вать свое о ней сужденіе, свое впечатлѣніе, но за то охотно слушаетъ то, что говоритъ о Гретхенъ герой повѣсти: это—психологическій симптомъ огромной важности. При всемъ своемъ отличіи отъ Гретхенъ,—вполнѣ сознавая, что между нею и гетевской героиней—цѣлая пропасть, Вѣра съ какимъ-то внутреннимъ содраганіемъ чувствуетъ въ себѣ что-то такое—сближающее ее съ несчастной жертвой Фауста. Тотъ смутный процессъ, который развертывается въ душѣ Вѣры, преобразуетъ все ея существо въ извѣстномъ направленіи и тихо, но властно, неудержимо, какъ потокъ, влечетъ ее къ новому, невѣдомому, пугающему и чарующему душевному существованію, въ которомъ она—такъ ей чувствуется—съ ужасомъ, съ отчаяніемъ узнаетъ въ себѣ ту-же Гретхенъ. Поэтому говорить о Гретхенъ значитъ для нея говорить о себѣ, выдавать преждевременно тайну своего душевнаго броженія, своего смущенія. Наоборотъ, слушать о Гретхенъ ей любопытно и, слушая, она ждетъ, не скажутъ-ли ей что-нибудь такое, что прольетъ нѣкоторый свѣтъ на ея собственныя душевныя движенія, поможетъ ей разобраться въ себѣ самой, понять именно то, чего она не понимаетъ въ «Фаустѣ», себя самое.

Вотъ именно въ этомъ процессѣ пробужденія другой души въ Вѣрѣ, приближающемъ ее къ Гретхенъ, есть одинъ психологическій пунктъ, неясный для самой Вѣры, темный и загадочный самъ по себѣ. Это именно—тотъ внутренній Мефистофель, котораго Вѣра боится не какъ чорта, а какъ что-то такое, что можетъ быть въ каждомъ человѣкѣ. Гретхенъ—та боится Мефистофеля именно какъ чорта,—какъ соблазнителя, совратителя. Вѣрѣ на первыхъ порахъ такой Мефистофель не казался страшенъ или опасенъ. Тутъ между прочимъ и сказывается рѣзкое, коренное различіе между непосредственностью, ограниченностью, душевной простотою и пустотою Гретхенъ съ одной стороны и умственнымъ и нравственнымъ превосходствомъ, сложностью и содержательностью натуры Вѣры—съ другой. Ну, а все-таки Мефистофель пугаетъ Вѣру. Она его боится потому, во-первыхъ, что онъ ей непонятенъ, теменъ и представляется чѣмъ-то зловѣщимъ, и—во-вторыхъ—потому, что это темное и зловѣщее, какъ она знаетъ, находится внутри человѣка, а не внѣ его. Однакоже, имѣть въ своемъ душевномъ обиходѣ Мефистофеля не представляется ей обязательнымъ, необходимымъ: она говоритъ: «можетъ находиться въ каждомъ человѣкѣ»,—

Digitized by Google

стало быть, можетъ и не находиться,—какъ у кого, смотря по человѣку. Вотъ напр. имѣется-ли онъ въ ней самой, въ Вѣрѣ? Она въ этомъ не увѣрена, но, очевидно, допускаетъ возможность этого, а потому—и боится. Когда разсказчикъ объяснилъ ей, что этотъ внутренній Мефистофель есть рефлексія, то она не поняла этого, смѣшавъ понятіе рефлексіи съ французской réflexion. Ясное дѣло, что за этимъ непониманіемъ скрывается не только смѣшеніе терминовъ и незнакомство съ спеціальнымъ значеніемъ слова «рефлексія» въ нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ, но также нѣчто болѣе важное: Вѣрѣ по самому существу ея душевной организаціи чужда и недоступна рефлексія—какъ извѣстный психическій моментъ. Вѣра принадлежитъ къ числу тѣхъ цѣльныхъ и глубоко-искреннихъ натуръ, въ которыхъ всякое чувство или движеніе душевное проникнуто необыкновенной жизненностью, свѣжестью, пылкостью,—и въ душевномъ обиходѣ которыхъ нѣтъ ни капли умственнаго яда, способнаго дѣйствовать на чувство охлаждающимъ и разлагающимъ образомъ. Поэтому, сколько ни объясняй Вѣрѣ, что такое рефлексія, она этого не пойметъ, т. е. не почувствуетъ. Но допустимъ, что разсказчику удалось какъ-нибудь разъяснить ей это, а равно и то, что въ ней этого Мефистофеля нѣтъ, и, стало быть, бояться его нечего,—спрашивается: какое значеніе имѣло-бы это разъясненіе для Вѣры, для дальнѣйшаго развитія совершающагося въ ней душевнаго процесса, для ея личнаго отношенія къ этому процессу? А вотъ какое.

Вѣра съ ужасомъ узнала-бы, что она гораздо ближе къ Гретхенъ, чѣмъ сама предполагала, что пропасть между ними вдругъ исчезаетъ. Вѣдь Гретхенъ также безъ рефлексіи,—а вѣдь, будь въ ея распоряженіи эта отрава чувствъ и страстей, она бы не была такая безпомощная, такая загипнотизированная; у нея была-бы нѣкоторая возможность борьбы и сопротивленія. Правда, у Вѣры есть умъ, воля, принципы, идеалы, а у Гретхенъ—ничего этого нѣтъ. Но она сейчасъ-бы почувствовала, что всѣ эти ея преимущества, и умъ, и воля, и принципы, и идеалы, и даже образъ матери въ рѣшительную минуту могутъ оказаться безсильными въ борьбѣ съ ея чувствующей и страстной душою, пробуждающейся, послѣ долгой спячки, къ жизни тѣмъ болѣе кипучей, къ дѣятельности тѣмъ болѣе неудержимой. Вотъ тутъ-то и была-бы неоцѣненна помощь рефлексіи,—вотъ тутъ-то и сказалось-бы огромное преимущество—имѣть своего Мефистофеля, ко-

Digitized by Google

торый со своей ироніей, сарказмомъ, способностью опошлить, развѣнчать, даже со своимъ циническимъ хохотомъ,—былъ-бы тутъ какъ разъ кстати. И Вѣра искренно пожалѣла-бы объ отсутствіи такого Мефистофеля и поняла-бы роковую формулу своего душевнаго перерожденія: чѣмъ меньше Мефистофеля, какъ рефлексіи, тѣмъ больше Гретхенъ, какъ гипноза страсти,—Мефистофель и Гретхенъ обратно пропорціональны.

Но Вѣра, какъ натура, которой совершенно чужда рефлексія, какъ «наивная и страстная» душа, неспособная выдѣлять разлагающіе яды Мефистофеля, такъ и осталась до конца въ невѣдѣніи своей безпомощности, своей обезоруженности въ этомъ отношеніи. Конечно, тутъ, кромѣ натуры, много виновато и нелѣпое воспитаніе Вѣры. Какъ-бы то ни было, но Вѣра, не сознавая, что Мефистофель могъ-бы быть ей полезенъ, въ смыслѣ рефлексіи, но къ сожалѣнію отсутствуетъ,—вскорѣ съ ужасомъ убѣдилась въ другомъ,—что у нея, какъ и у Гретхенъ, тотъ же Мефистофель присутствуетъ самой опасной и отвратительной стороной своей—какъ чортъ, какъ искуситель.

Разъ она убѣдилась въ этомъ,—ей стало ясно, что дѣло зашло ужъ очень далеко, что ея душа быстро и неудержимо стремится къ тому ужасному, роковому, стихійному, ирраціональному, что воплощено въ Гретхенъ.

Это приближеніе Вѣры къ Гретхенъ должно быть психологически понимаемо, какъ пробужденіе въ душѣ Вѣры, очень сложной, какъ бы состоящей изъ напластованія нѣсколькихъ душъ,—той, которая глубоко была погребена въ самыхъ нѣдрахъ,—души ея бабки итальянки, этой Гретхенъ съ итальянской кровью въ жилахъ. Вспомнимъ здѣсь ея портретъ, описаніе котораго было приведено выше. Вспомнимъ также и замѣчаніе разсказчика, что «у Вѣры, несмотря на совершенное несходство очертаній, мелькаетъ иногда что то похожее на эту улыбку, на этотъ взглядъ»... Но тутъ же мы читаемъ слѣдующее: «Кстати! Ельцова, передъ свадьбой своей дочери, разсказала ей всю свою жизнь, смерть своей матери и т. д., вѣроятно, съ поучительною цѣлью. На Вѣру особенно подѣйствовало то, что она услыхала о дѣдѣ, объ этомъ таинственномъ Ладановѣ. Не отъ этого ли она вѣритъ въ привидѣнія? Странно! сама она такая чистая и свѣтлая, а боится всего мрачнаго, подземнаго, и вѣритъ въ него»...

Такъ вотъ онъ—Мефистофель Вѣры. Посмотримъ-ка на него поближе: что онъ, кто—онъ и—was will er an dem heiligen Ort?

Digitized by Google

Прежде всего, въ противоположность гетевскому, онъ не смѣется, не хохочетъ, онъ не циниченъ, не сквернословитъ и не буфонитъ. Онъ, очевидно, не только—не духъ рефлексіи (это мы уже знаемъ), но и не—духъ отрицанія вообще.

Вѣра, какъ мы знаемъ, была воспитана на естественныхъ наукахъ. Но это не было высшее научное—въ настоящемъ смыслѣ этого слова—образованіе, воспитывающее духъ человѣческій въ сознаніи законосообразности явленій, развивающее мысль строгой дисциплиной методовъ науки и на этой почвѣ вырабатывающее цѣльное, законченное міросозерцаніе. Вѣра не шла дальше элементарнаго описательнаго естествознанія. Тѣмъ не менѣе, и такое образованіе, при всей его недостаточности, элементарности, незаконченности, все таки должно было дѣйствовать благотворно на живой воспріимчивый умъ Вѣры, но оно было безсильно противодѣйствовать нѣкоторымъ врожденнымъ наклонностямъ ея души, парализовать которыя (вмѣстѣ со страстями), повидимому, и хотѣла Ельцова путемъ принятой ею программы образованія. Эти наклонности были: суевѣріе, страхъ передъ таинственнымъ, «подземнымъ» адскимъ, боязнь «тайныхъ силъ» жизни (какъ у матери), наконецъ прямо вѣра въ чорта, предрасположенность къ галлюцинаціямъ, принимаемымъ за дѣйствительныя «видѣнія», увѣренность въ возможности общенія съ умершими. Все это у Вѣры было наслѣдственнымъ, оно шло отъ дѣда, Ладанова,—и, конечно, являлось душевнымъ началомъ въ высокой степени ирраціональнымъ. Въ средніе вѣка такія вѣрованія и суевѣрія были, психологически говоря, раціональны, ибо логически вытекали изъ общаго міросозерцанія, находились въ согласіи съ умственнымъ достояніемъ эпохи и строемъ мысли людей того времени. Но въ настоящее время, когда этого соотвѣтствія уже нѣтъ, по крайней мѣрѣ въ образованныхъ классахъ, когда всѣ эти суевѣрія находятся въ вопіющемъ противорѣчіи и съ общимъ міросозерцаніемъ, и съ развившимся на почвѣ научныхъ знаній и методовъ новымъ укладомъ умовъ,—эти въ своемъ родѣ рецидивы мысли должны быть признаны психологическимъ явленіемъ совершенно ирраціональнымъ и даже патологическимъ. Предрасположеніе къ такимъ рецидивамъ все еще сохраняется въ силу психологической наслѣдственности, дѣйствующей въ данномъ случаѣ черезъ посредство чувствъ. Въ свое время всѣ вышеуказанныя вѣрованія и суевѣрія были связаны съ извѣстными, и очень сильными, чувствами, главнымъ образомъ—съ чувствомъ страха и еще съ дру-

Digitized by Google

гимъ, неяснымъ чувствомъ, въ которомъ совмѣщались особаго рода любопытство, влеченіе къ таинственному, жуткое ощущеніе близости этого таинственнаго, заманчивость дерзновенныхъ экскурсій въ эту область и т. п. (въ родѣ какъ у дѣтей, которыя и боятся войти въ темную комнату, и тянетъ ихъ туда). Чувства консервативнѣе мысли: извѣстныя формы или устои мысли давно разложились и замѣнены новыми, а старыя чувства, раціонально сочетавшіяся съ прежними, нынѣ упраздненными достояніями ума, продолжаютъ сохраняться, хотя бы въ скрытомъ видѣ, какъ предрасположеніе, какъ стихійная, унаслѣдованная наклонность души, и — оживая — сочетаются совсѣмъ ужъ ирраціонально съ новыми нормами мысли. Современный спиритизмъ и медіумизмъ представляютъ собою яркій примѣръ такого сочетанія.

У Вѣры этотъ порядокъ средневѣковыхъ чувствъ и идей составлялъ неотъемлемую часть ея унаслѣдованной души, убаюканной «трезвымъ» воспитаніемъ и монотонной жизнью, вдали отъ какихъ бы то ни было сильныхъ впечатлѣній,—души, другую половину которой составляли спящія страсти. Стоило проснуться одной половинѣ, или хотя бы одному элементу въ ней, и фатально—въ силу психологической ассоціапіи—должна была пробудиться и другая. Заговорила потребность любви, загорѣлась страсть, и ео ipso воскресли суевѣрные страхи, явились галлюцинаціи,—голоса и видѣнія. Но это пробужденіе, вѣроятно, не было бы такъ внезапно и фатально, если бы оно совершилось безъ помощи того искусственнаго и очень сильнаго средства, которымъ послужило чтеніе гетевскаго «Фауста». Это чтеніе сразу перенесло воображеніе Вѣры въ родственную ей по духу средневѣковую сферу, въ пугающую и манящую сферу видѣній, духовъ, тайныхъ силъ, заклинаній, исчадій ада. Первыя сцены должны были вызвать въ ея памяти образъ дѣда, Ладанова, который занимался химіей и кабалистикой и вызывалъ духовъ. И въ другой «памяти»—унаслѣдованныхъ чувствъ не могли не воскреснуть до тѣхъ поръ спавшія ощущенія—страхъ, глубокое влеченіе къ таинственному и содроганіе передъ нимъ, ожиданіе, что а «вдругъ» явится духъ дѣда или матери... Все это, разумѣется, проходило въ душѣ пока въ видѣ смутныхъ предчувствій, неясныхъ и тревожныхъ ожиданій, невыясненныхъ опасеній. Но вотъ является на сцену Гретхенъ, и съ нею во внутреннемъ мірѣ Вѣры выступаютъ изъ мрака влеченія и стремленія, которыя кажутся ей въ

Digitized by Google

одно и то же время и чуждыми, и своими собственными, и новыми, невѣдомыми, и старыми, искони заложенными въ ея душу.

И въ душѣ Вѣры между этими двумя порядками представленій и чувствъ установилась тѣсная психологическая ассоціація. Таинственное, адское, «подземное» предстало ея сознанію въ союзѣ съ пробуждающимся чувствомъ—любви. Любовь явилась ей не какъ идеальное, мечтательное, чистое движеніе души, а въ видѣ адской силы, мрачной и гнетущей. И Вѣра знала, что не будетъ въ состояніи противостоять этой роковой силѣ, этому «діавольскому навожденію».

Чтобы уяснить себѣ вытекавшее оттуда душевное состояніе Вѣры, нужно вспомнить, что не только натурамъ съ такими задатками и суевѣрными предрасположеніями, какъ у Вѣры, но и людямъ съ умомъ трезвымъ и скептическимъ, не знающимъ суевѣрныхъ страховъ, любовь (т. е. состояніе страстной влюбленности) представляется какою то роковою силою, слѣпою, темной, непонятной, дѣйствующей стихійно, передъ которою пасуетъ и воля, и разумъ. Въ такомъ представленіи еще нѣтъ ничего суевѣрнаго, но уже есть нѣкоторый проблескъ ирраціональнаго настроенія. И оно вполнѣ законосообразно, ибо та любовь, которую мы здѣсь имѣемъ въ виду, есть чуть-ли не самое ирраціональное изъ всѣхъ чувствъ человѣческихъ: его корни глубоко лежатъ въ животной основѣ нашей природы, оно—въ своей простѣйшей психологической формѣ—уже было «до человѣка», его психологическая эволюція, его высшія проявленія до сихъ поръ ограничены и стѣснены закономъ біологическимъ. Вотъ именно сознаніе ирраціональности, стихійности этого чувства, его значенія—какъ общаго закона, его, такъ сказать, принудительности, неумолимости—и вызываетъ въ насъ нѣкоторый страхъ по отношенію къ нему. А затѣмъ уже, смотря по человѣку, по складу его ума, по культурѣ его мысли, это отношеніе можетъ развиться или преобразоваться въ разныхъ направленіяхъ: у одного оно перейдетъ въ тотъ раціональный, агностическій, уравновѣшенный, спокойный, свѣтлый мистицизмъ, который сопутствуетъ научному міропониманію; другой усмотритъ въ немъ какое-то загадочное начало; третій, не мудрствуя лукаво, найдетъ его источникъ въ небесахъ; четвертый, столь-же немудрствующій,—въ преисподней.

Для Вѣры оно было именно исчадіемъ ада, и у нея сильнѣе, чѣмъ у кого-либо, должно было сказаться ирраціональное отно-

Digitized by Google

шеніе къ любви, доведенное до настоящаго суевѣрія, осложненное дѣтскими страхами и галлюцинаціями.

Эти осложненія убили въ ней поэзію любви, все то освѣжающее, возрождающее, свѣтлое, что̀ несомнѣнно есть въ любви. Пусть въ своей основѣ любовь біологична, но вѣдь съ тѣмъ вмѣстѣ она—источникъ жизни и вѣчный, непримиримый и по своему могучій врагъ смерти, а въ человѣкѣ къ тому-же она давно переработана и облагорожена многовѣковой культурой мысли и чувства. Она давно уже очеловѣчена, она издревле одухотворена искусствомъ, просвѣтлена поэзіей, и тѣмъ болѣе жизненнымъ и животворящимъ началомъ является она.

Для Вѣры она—начало смертоносное.

Вспомнимъ здѣсь сцену послѣдняго свиданія (Письмо 9-е).

«Молча дошли мы до китайскаго домика, молча вошли въ него, и тутъ—я до сихъ поръ не знаю, не могу понять, какъ это сдѣлалось—мы внезапно очутились въ объятіяхъ другъ-друга. Какая-то невидимая сила бросила меня къ ней, ее—ко мнѣ. При потухающемъ свѣтѣ дня, ея лицо, съ закинутыми назадъ кудрями, мгновенно озарилось улыбкой самозабвенія и нѣги, и наши губы слились въ поцѣлуй...»

Ихъ вела какая-то сила, должно быть—адская, которой они не могли противиться, и шли молча, покорно, точно приговоренные или загипнотизированные. Та-же сила бросила ихъ въ объятія другъ-другу. Это не они тутъ дѣйствуютъ, стремятся, хотятъ, любятъ. Это какой-то Мефистофель распоряжается ими, какъ пѣшками. Тотъ-же Мефистофель или та-же слѣпая сила дозволила имъ почувствовать на мгновеніе поэзію любви («улыбка самозабвенія и нѣги»), но съ тѣмъ, чтобы сейчасъ-же уничтожить эту поэзію, это очарованіе грознымъ призракомъ смерти.

«Вѣра вдругъ вырвалась изъ моихъ рукъ и, съ выраженіемъ ужаса въ расширенныхъ глазахъ, отшатнулась назадъ...—Оглянитесь, сказала она мнѣ дрожащимъ голосомъ:—вы ничего не видите? Я быстро обернулся. — Ничего. А вы развѣ что-нибудь видите?—Теперь не вижу, а видѣла.—Кого? Что?—Мою мать, медленно проговорила она и затрепетала вся. Я тоже вздрогнулъ, словно холодомъ меня обдало. Мнѣ вдругъ стало жутко, какъ преступнику. Да развѣ я не былъ преступникомъ въ это мгновеніе?—Полноте... началъ я:—что вы это? Скажите мнѣ лучше...—Нѣтъ, ради Бога нѣтъ!—перебила она и схватила себя за го-

Digitized by Google

лову.—Это сумасшествіе... Я съ ума схожу... Этимъ шутить нельзя—это смерть... Прощайте»...

Вѣра—прекрасная мать и жена. Но почему-же въ этой сценѣ она не вспомнила о своихъ дѣтяхъ,—если уже мысль о супругѣ, г-нѣ Пріимковѣ, по его совершенной незначительности, не могла въ эту горячую минуту шевельнуться въ ея сознаніи?

Вѣрѣ выпало на долю пережить душевную исторію дѣда и матери,—но только въ обратномъ порядкѣ: тѣ отъ страстей и бурь житейскихъ бросились въ противоположную крайность,—въ своего рода аскетизмъ,—фаустовское «entbehren sollst du, sollst entbehren»—стало ихъ лозунгомъ. И вотъ тутъ-то, на почвѣ этого самоотреченія, у нихъ расцвѣло новое чувство: страстная, неразумная, болѣзненно-исключительная любовь къ дѣтямъ,—вспомнимъ, какъ безумно любилъ Ладановъ свою дочь, какъ Ельцова всѣ помыслы свои и всю жизнь сузила на воспитаніи Вѣры.—У послѣдней такого страстнаго отношенія къ дѣтямъ нѣтъ—пока: оно несомнѣнно появилось бы позже, если бы Вѣра не умерла, если бы ей пришлось испытать и пережить всѣ восторги и всю горечь страсти. Тогда у нея возникла-бы такая-же реакція, какая была у дѣда и матери; Вѣра, по ихъ примѣру, перешла-бы къ «отреченію», и вся сила ея глубокой и страстной души ушла бы въ любовь къ дѣтямъ и въ культъ долга. Но Вѣрѣ не суждено было пережить кризисъ. Воспитанная какъ тепличное растеніе, не предохраненная прививкою ядовъ жизни, связанная гипнотизирующей памятью матери, созданіе нѣжное и хрупкое,—она пала жертвою страха передъ тѣми чувствами, которыя въ ней пробудились, тѣми галлюцинаціями, которыя она приняла за дѣйствительное явленіе матери съ того свѣта. Нервы и мозгъ не выдержали гнета этихъ психическихъ процессовъ.

Не безслѣдно прошла эта коллизія и для героя повѣсти. Онъ какъ бы воспринялъ отъ Вѣры и ея предковъ ихъ мистическое настроеніе и, по ихъ стопамъ, приходитъ все къ тому-же «отреченію», въ которомъ усматриваетъ высшій законъ человѣчества. «Я сталъ не тотъ (пишетъ онъ въ послѣднемъ письмѣ), какимъ ты зналъ меня: я многому вѣрю теперь, чему не вѣрилъ прежде. Я все это время столько думалъ объ этой несчастной женщинѣ... объ ея происхожденіи, о тайной игрѣ судьбы, которую мы, слѣпые, величаемъ слѣпымъ случаевъ. Кто знаетъ, сколько каждый, живущій на землѣ, оставляетъ сѣмянъ, которымъ суждено взойти только послѣ

Digitized by Google

его смерти? Кто скажетъ, какой таинственной цѣпью связана судьба человѣка съ судьбой его дѣтей, его потомства, и какъ отражаются на нихъ его стремленія, какъ взыскиваются съ нихъ его ошибки? Мы всѣ должны смириться и преклонить головы передъ невѣдомымъ». И далѣе: «одно убѣжденіе вынесъ я изъ опыта послѣднихъ годовъ: жизнь не шутка и не забава; жизнь даже не наслажденіе... жизнь—тяжелый трудъ. Отреченіе, отреченіе постоянное—вотъ ея тайный смыслъ, ея разгадка: не исполненіе любимыхъ мыслей и мечтаній, какъ бы они возвышены ни были,—исполненіе долга, вотъ о чемъ слѣдуетъ заботиться человѣку; не наложивъ на себя цѣпей, желѣзныхъ цѣпей долга, не можетъ онъ дойти, не падая до конца своего поприща»...

Закончимъ вопросомъ: этотъ идеалъ, при послѣдовательномъ проведеніи, не возвратитъ ли насъ къ среднимъ вѣкамъ, и не потерпитъ ли онъ то фіаско, на которое такъ хорошо указалъ Майковъ въ «Савонароллѣ»:

...Но умирая
И по слѣдамъ Твоимъ ступая,
Твой подвигъ сердцемъ возлюбя,
Христосъ, онъ понялъ-ли Тебя?
О, нѣтъ! Скорбящихъ утѣшая,
Ты чистыхъ радостей не гналъ,
И Магдалину возрождая,
Дѣтей на жизнь благословлялъ...

Ирраціональное въ человѣкѣ не можетъ быть обуздано никакими желѣзными цѣпями самоотреченія; оно должно быть облагорожено, просвѣтлено, очеловѣчено раціональными силами духа,—въ сферѣ ума—наукой и искусствомъ; въ сферѣ чувствъ и страстей—тою «нищетою» и «кротостью» духа, о которыхъ говоритъ Евангеліе и источникъ которыхъ—въ сочувствіи всему живому, въ жалости и въ страданіи. И если эти сокровища духа по преимуществу свойственны женщинѣ, то въ нихъ мы и будемъ искать «das Ewig-weibliche», идеалъ Вѣчноженственнаго. Его высшее художественное воплощеніе дано Тургеневымъ въ образѣ Лизы, героини «Дворянскаго гнѣзда».

Digitized by Google

ГЛАВА VII.

Творецъ изъ лучшаго эфира
Соткалъ живыя струны ихъ,
Онѣ не созданы для міра,
И міръ былъ созданъ не для нихъ...
Лермонтовъ.

I.

Въ предыдущемъ очеркѣ, анализируя типъ героини «Фауста», мы отмѣтили между прочимъ прирожденную склонность Вѣры къ мистическому, но мы ничего не говорили о религіи Вѣры. Мы были въ правѣ обойти этотъ пунктъ, потому что въ душевномъ обиходѣ этой женщины религіозное чувство играетъ роль столь незначительную, что изслѣдователю нѣтъ надобности считаться съ нимъ. Мистическое присутствуетъ въ сознаніи Вѣры въ видѣ силы отталкивающей, а не притягательной; оно вызываетъ въ ней чувство страха, оно открывается ей своею адскою, «подземною», мрачною стороною, и мы не находимъ въ душѣ Вѣры игры тѣхъ струнъ, которыми устанавливается специфическая связь (religio) человѣческаго сознанія съ сферой мистической, образующая сущность религіознаго уклада души.

Чтобы подслушать таинственную игру этихъ струнъ, чтобы заглянуть въ глубину религіозной души человѣка, нужно обратиться къ поэтическому образу Лизы, героини «Дворянскаго гнѣзда».

И прежде всего я попрошу читателя припомнить главу XXXV, гдѣ говорится о воспитаніи Лизы, о вліяніи на нее Агафьи, этой въ своемъ родѣ необыкновенной женщины. Изъ этой-же главы, однако, мы выносимъ убѣжденіе въ томъ, что вліяніе Агафьи могло оказаться столь могущественнымъ только потому, что сама натура Лизы была отъ рожденія надѣлена задатками глубокой, всепоглощающей религіозности. Когда Агафья разсказывала ей

Digitized by Google

«о Пречистой Дѣвѣ, о святыхъ угодникахъ, которые жили въ пустыняхъ, терпѣли голодъ и нужду и—царей не боялись, Христа исповѣдывали», Лиза слушала и проникалась очарованіемъ этой религіозной эпопеи такъ, какъ это возможно только для натуры, одаренной исключительной глубиною и широтою религіознаго чувства. Она слушала, «и образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ...»

Не всякому и не всякой дано *такъ* вѣрить и *такъ* любить Бога. Религія вообще въ высокой степени индивидуальна. Принадлежность двухъ лицъ къ одному и тому-же вѣроисповѣданію еще не означаетъ, чтобы эти два лица имѣли одну и ту-же религію. Религія есть внутренній, душевный процессъ, и ея духъ, ея характеръ опредѣляется не буквою догмы, а интимнымъ, сокровеннымъ, часто неяснымъ самому человѣку отношеніемъ его къ божеству. А это отношеніе, по необходимости, разнообразится до безконечности—смотря по человѣку. Не только *пониманіе* божества у разныхъ людей должно быть различно, сообразно особенностямъ ума, степени развитія и т. д., но, что еще важнѣе, само религіозное *чувство*, вообще чрезвычайно сложное, въ разныхъ натурахъ въ сильной степени видоизмѣняется, смотря по тому, какая изъ его составныхъ частей беретъ верхъ надъ другими. У одного, напримѣръ, въ этомъ чувствѣ преобладающимъ элементомъ является *смиреніе* передъ всемогуществомъ Божества, у другого—*умиленіе* передъ его благостью, у третьяго—*страхъ* и т. д. Вы скажете, что это—оттѣнки чувства, подробности въ отношеніяхъ умовъ и сердецъ къ Божеству. Но въ психологіи человѣка, въ дѣятельности ума и чувства, оттѣнки и подробности чрезвычайно важны, часто важнѣе основныхъ идей и чувствъ, и ими-то опредѣляется подлинный внутренній міръ человѣка, его психологическая индивидуальность. Психологически—у каждаго вѣрующаго человѣка свой Богъ, каждый своему Богу и по своему молится, и религій на земномъ шарѣ столько-же, сколько и людей съ религіознымъ укладомъ души.

Какова-же была религія Лизы?

Приведенныя выше слова («образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу...» и т. д.) уже даютъ намъ точку опоры для сужденія о религіозномъ чувствѣ Лизы. Очевидно, въ этомъ чувствѣ *страхъ* Бо-

Digitized by Google

жества если не совсѣмъ отсутствовалъ, то по крайней мѣрѣ игралъ роль второстепенную; немного значенія имѣла также и философская (метафизическая) сторона идеи Божества. На первомъ планѣ была у Лизы мистическая любовь, въ которой отразилась вся глубина, вся нѣжность, вся искренность и чистота ея натуры. «Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого-бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно».

Положимъ, вы—человѣкъ глубоко-религіозный, и вамъ хорошо извѣстно то особое чувство, которое есть любовь къ Богу. И вотъ вы на основаніи этого своего чувства хотите составить себѣ точное представленіе о соотвѣтственномъ чувствѣ Лизы. Но если въ составъ вашего чувства не входитъ эта восторженность, эта робость и нѣжность, если къ тому же вы не можете любить, какъ Лиза, «всѣхъ и никого въ особенности», и у васъ есть друзья и враги, и вообще вы доступны обыденнымъ, житейскимъ страстямъ, то, будьте увѣрены, вы, по своему чувству любви къ Богу, какъ бы оно ни было сильно, не составите себѣ должнаго представленія о томъ, какъ Лиза любитъ Бога, каковъ религіозный укладъ ея души. Чтобы вполнѣ понять чужую любовь, нужно самому испытать ее во всей ея индивидуальности, что не возможно, въ особенности—если дѣло идетъ о любви отвлеченной, не отъ міра сего, какова любовь къ Богу, къ истинѣ, человѣчеству. Чтобы почувствовать ту любовь къ Богу и людямъ, которою исполнена Лиза, нужно имѣть душу Лизы со всей ея чистотою, дѣтской невинностью, непосредственной глубиною, прирожденной святостью. А такъ какъ это невозможно, то субъективнаго пониманія Лизы, какое именно и требуется въ сферѣ чувствъ, у васъ не можетъ быть: для васъ, какъ и для всѣхъ, душа Лизы останется ирраціональной, загадочной. Но есть другой путь,—путь объективнаго наблюденія и сравненія съ другими женскими натурами. Наблюдая различныя душевныя свойства Лизы, ея поступки, ея отношенія къ окружающимъ людямъ и т. д., мы можемъ уловить различіе между нашимъ внутреннимъ міромъ и душою Лизы. Это различіе и дастъ намъ нѣкоторый критерій для сужденія о томъ, что такое Лиза вообще и ея религіозность въ частности.

Изъ запаса такихъ наблюденій прежде всего отмѣтимъ слѣдующее. У огромнаго большинства религіозныхъ людей чувство

Digitized by Google

къ Богу является дѣятельнымъ только въ извѣстные моменты, которые у однихъ повторяются чаще, у другихъ рѣже. Къ этому большинству можно примѣнить—mutatis mutandis—извѣстное стихотвореніе Пушкина: «Пока не требуетъ поэта къ священной жертвѣ Аполлонъ, въ заботахъ суетнаго свѣта онъ малодушно погруженъ»... Въ обыкновенное время,—въ религіозныя будни,—живое чувство къ Божеству какъ бы нейтрализуется. Чтобы оно воспрянуло и овладѣло душою, нужно или что нибудь чрезвычайное, болѣзнь, потеря близкихъ, страхъ смерти, или—извѣстная обстановка, вызывающая, по психологической ассоціаціи идей, пробужденіе религіознаго чувства. Совсѣмъ не то видимъ мы у Лизы. Въ ней религіозное настроеніе всегда на лицо, и религіозное чувство всегда бодрствуетъ. Для нея нѣтъ религіозныхъ будней. Она вся проникнута и просвѣтлена этимъ мистическимъ началомъ, которое образуетъ неотъемлемую часть ея существа. Оно всегда при ней, какъ при ней—ея чистота, ея доброта, ея нѣжность. Это кладетъ на Лизу особый отпечатокъ. Она является передъ нами озаренною какимъ то внутреннимъ свѣтомъ, придающимъ ей несказанную прелесть. Самая обыкновенная, самая мелкая и прозаическая душа въ моментъ религіознаго умиленія преображается и становится по своему глубокой и значительной, и самое пошлое лицо—въ эту минуту экстаза—облагорожено вдохновеніемъ. Но пройдетъ это «чудное мгновеніе», и мелкая душа опять станетъ мелкой, и пошлое лицо снова приметъ свое обычное выраженіе. Лиза родилась и живетъ—«преображенной». Но это отличіе Лизы отъ обыкновенныхъ религіозныхъ людей не только количественное, а и качественное: самая религіозность Лизы—иного, высшаго рода. Обыкновенный человѣкъ въ большинствѣ случаевъ самъ портитъ себѣ то «чудное мгновеніе» религіознаго подъема души, о которомъ мы говоримъ,—портитъ, внося сюда привычные эгоистическіе мотивы, движущіе имъ въ его повседневной, будничной жизни; молясь, онъ обыкновенно о чемъ нибудь проситъ, и лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ его молитва, его религіозное настроеніе является безкорыстнымъ и самодовлѣющимъ созерцаніемъ Божества. Лиза именно и принадлежитъ къ числу тѣхъ рѣдкихъ натуръ, которыя одарены исключительнымъ даромъ созерцать Божество. Но созерцаніе Божества бываетъ, смотря по созерцающему уму, весьма и весьма различно. Каково оно у Лизы? Для отвѣта на этотъ вопросъ достаточно вспомнить, что всѣ силы души у нея направлены на

Digitized by Google

мистическую любовь къ Богу («она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно...»), а ея умъ занятъ проблемой смерти. «Христіаниномъ нужно быть», говоритъ она Лаврецкому, «не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное. а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть». По ея собственному признанію, она часто думаетъ о смерти (гл. XXVI). Почему же она часто думаетъ о смерти? Боится ея? Очевидно, нѣтъ. Она не изъ числа тѣхъ малодушныхъ, которые такъ подвержены страху смерти. Она думаетъ о смерти потому, что больше всего любитъ Бога и притомъ — любитъ его своеобразно, по-женски, внося, въ это чувство (которое, по существу, должно быть въ извѣстномъ смыслѣ «отвлеченнымъ», какъ любовь къ идеѣ, истинѣ, справедливости) много непосредственности, женской нѣжности, влюбленности, беззавѣтности. Вся проникнутая этимъ живымъ мистическимъ чувствомъ, она не можетъ быть такъ привязана къ радостямъ, къ счастью земной жизни, какъ другія женщины, и смерть, этотъ страшный и таинственный актъ, занимаетъ ея умъ лишь какъ переходъ къ другому, высшему существованію. Оттуда и это равнодушіе къ жизни, и эта боязнь грѣха, дурного помысла, и способность съ легкимъ сердцемъ отречься отъ эгоистическаго земного счастья, и, наконецъ, свобода отъ власти земной женской любви. При такомъ состояніи души обыкновенная логика вещей теряетъ свои права. Душа становится ареной ирраціональныхъ движеній, и загадочное въ ней возводится на высшую ступень—мистическаго.

Но чтобы лучше наблюдать и яснѣе видѣть то, что мы наблюдаемъ, сравнимъ Лизу съ нѣкоторыми другими тургеневскими женщинами и прежде всего—съ тою изъ нихъ, въ которой, какъ и въ Лизѣ, главнымъ движущимъ мотивомъ является религіозное чувство. Я имѣю въ виду Софи, героиню разсказа «Странная Исторія». Для этой провинціальной барышни ея религіозныя стремленія составляютъ в с е, весь смыслъ жизни. Она не интересуется ни замужествомъ, ни развлеченіями, ни балами и думаетъ только о «божественномъ»; она преисполнена того рѣзкаго мистицизма, который ищетъ знаменій, вѣщихъ сновъ, голосовъ, видѣній и требуетъ осязательнаго проявленія таинственныхъ силъ въ самой жизни: натуры этого рода преданы не столько Богу, сколько тѣмъ, кого онѣ считаютъ сосудами или посланцами Божества на землѣ, — «пророкамъ», юродивымъ, проповѣдникамъ; такія женщины скорѣе уйдутъ въ какую-нибудь мисти-

Digitized by Google

ческую секту, чѣмъ въ монастырь, какъ это дѣлаетъ Лиза. Софи дѣлается спутницей и рабой выжившаго изъ ума юродиваго.

Излишне доказывать, что ничего подобнаго не могло бы случиться съ Лизой. Въ ней слишкомъ много самостоятельности и внутренней свободы, чтобы для нея возможно было рабское подчиненіе чьей бы то ни было волѣ. Она никогда не позволитъ другому человѣку загипнотизировать ее, овладѣть ея душою. Лиза—при всей своей женственности, нѣжности, кротости—натура сильная, мощная, цѣльная, aus einem Guss. Софи—при всей своей прямолинейности, при всемъ упорствѣ и изумительной способности къ своего рода мученическому подвигу—натура слабая, дряблая, безъ своей воли, безъ своей личности. Она загипнотизирована въ прямомъ смыслѣ этого слова, и ея душевный міръ относится къ области психопатологіи. Лиза—натура душевно-здоровая не только въ тѣсномъ, но и въ обширномъ смыслѣ: въ ней нѣтъ никакихъ признаковъ той душевной вялости, той безхарактерности, апатіи, развинченности и т. д., которымъ подвержены многія и весьма различныя натуры. Въ этомъ смыслѣ она здоровѣе Лаврецкаго, и развѣ только вѣчно-юный Михалевичъ не уступитъ ей въ этомъ отношеніи.

Въ несомнѣнной связи съ душевнымъ здоровьемъ Лизы находится другая черта ея натуры, на которую мы только что указали мимоходомъ: это именно—внутренняя свобода, чѣмъ Лиза такъ выгодно отличается отъ Софи, а также отъ многихъ женщинъ нерелигіознаго типа, и сближается съ Маріанной.

У обѣихъ (у Лизы и Маріанны) есть нѣчто идеальное въ самой натурѣ, у обѣихъ горитъ въ душѣ нѣкій священный огонь, обѣ движутся силою высшихъ, идеальныхъ стремленій, но ни у той, ни у другой нѣтъ и тѣни того фанатизма, который дѣлаетъ человѣка узкимъ, одностороннимъ, рабомъ идеи или чувства. Различіе между ними не въ этомъ, а въ темпераментѣ, въ складѣ ума, въ качествѣ натуры, въ положительномъ содержаніи движущихъ ими идей. Маріанна—героиня, Лиза—святая. Но героизмъ одной и святость другой соединены въ нихъ съ большой широтою и ясностью духа, съ независимостью мысли, съ неугнетенностью чувства,—съ тѣмъ именно, для чего нѣтъ лучшаго термина, какъ внутренняя свобода. Софи съ этой стороны оттѣняетъ Лизу какъ разъ такъ, какъ Машурина оттѣняетъ Маріанну. И обѣ, Лиза и Маріанна, именно въ качествѣ натуръ идейныхъ и въ то же время внутренно-свободныхъ, одинаково

Digitized by Google

свободны и отъ власти любви. Какъ Маріанна не стала рабою своего чувства къ Соломину (не говоря уже о Неждановѣ), такъ и Лиза не была порабощена любовью къ Лаврецкому. Она полюбила Лаврецкаго глубоко и горячо (и, повидимому, на всю жизнь), но ради этой любви, ради возможнаго счастья, она ни на іоту не поступилась своими завѣтными помыслами, тѣмъ, что привыкла считать своимъ нравственнымъ дѣломъ, своими христіанскими воззрѣніями. Какъ немыслимо, чтобы Маріанна измѣнила своимъ идеямъ и стремленіямъ ради какой бы то ни было любви, такъ невозможно и Лизѣ поступиться для личнаго счастья своими религіозными и нравственными убѣжденіями. Вообще нельзя себѣ представить ни Лизу, ни Маріанну «загипнотизированными» страстью (хотя бы эта страсть и не вела къ необходимости поступиться излюбленными идеями) — какъ это мы видимъ въ Еленѣ, нельзя также вообразить ихъ поставленными въ необходимость, подобно Зинаидѣ, безсильно и безуспѣшно отстаивать свою внутреннюю свободу и горько оплакивать ея утрату. Отъ Зинаиды, натуры, какъ мы видѣли, также съ большими задатками внутренней свободы, онѣ отличаются между прочимъ въ томъ отношеніи, что у героини «Первой любви» внутренняя свобода перешла въ сферу сознанія и разсматривается ея обладательницею, какъ нѣкоторый даръ, который слѣдуетъ беречь, но который можно и потерять, между тѣмъ какъ Лиза и Маріанна свободны безсознательно, сами того не замѣчая: это — неотъемлемая часть ихъ существа, это—воздухъ, которымъ онѣ дышутъ. Въ противоположность Зинаидѣ, онѣ не могутъ потерять своей внутренней свободы, и это потому, что ихъ человѣческая личность, окрыленная идеальными стремленіями, уже возвысилась надъ тѣмъ уровнемъ, на которомъ она еще подвержена угнетающему воздѣйствію женственности.

Но Маріанну, какъ извѣстно читателю, мы считаемъ самымъ раціональнымъ женскимъ типомъ, а Лизу—самымъ ирраціональнымъ. Вотъ именно на это коренное различіе намъ и предстоитъ теперь обратить вниманіе: это поможетъ намъ лучше понять Лизу и въ особенности уяснить себѣ ту сторону ея натуры, которую я опредѣляю гётевскимъ „das Ewig-Weibliche“, утверждая въ то же время, что Лиза свободна отъ гнета женственности.

Душевный міръ обѣихъ, Лизы и Маріанны, движется силою высшихъ идей и въ особенности чувствъ. Чувства вообще

Digitized by Google

ирраціональны, но въ разной мѣрѣ. То, которое дѣйствуетъ въ Маріаннѣ, принадлежитъ къ числу наименѣе ирраціональныхъ. Это именно чувство любви къ идеѣ и человѣчеству, настолько сильное и живое, что ведетъ къ подвигу, къ самопожертвованію. Оно, во-первыхъ, не принадлежитъ къ числу тѣхъ спеціально-женскихъ чувствъ, которыя уже въ силу этой спеціализаціи, этой ихъ женственности, намъ, мужчинамъ, кажутся, да и въ самомъ дѣлѣ являются ирраціональными. То, что согрѣваетъ душу Маріанны и служитъ движущей пружиной ея стремленій, доступно и намъ, мужчинамъ. Въ Маріаннѣ оно только окрашивается женской чуткостью, непосредственностью, страстностью и т. п., но эта окраска еще не дѣлаетъ его загадочнымъ. Во-вторыхъ, оно, это чувство, весьма доступно анализу и контролю ума. Быть можетъ, и по своему происхожденію, оно сродни раціональнымъ силамъ духа. Это чувство есть альтруизмъ,— психическое начало двойственнаго происхожденія: на половину это—душевное стремленіе, развившееся изъ природной общественности человѣка (эмбріонъ альтруизма — въ «стадномъ чувствѣ»); на половину же это—одно изъ «умственныхъ» чувствъ, т. е. такихъ, развитіе которыхъ невозможно безъ расширенія мысли, безъ работы ума, безъ вліянія идей. Оттуда тотъ общеизвѣстный фактъ, что прогрессъ науки, философіи, литературы, образованности всегда предшествуетъ возникновенію болѣе или менѣе широкихъ общественныхъ движеній, появленію общественныхъ дѣятелей, реформаторовъ, героевъ. Въ этомъ смыслѣ справедливо старое изреченіе, что идеи движутъ міромъ *).

Находясь въ зависимости отъ разумныхъ силъ мысли, ими просвѣтленный и освобожденный отъ слѣпыхъ пристрастій (напр., національныхъ), высшій общечеловѣческій альтруизмъ является однимъ изъ наиболѣе раціональныхъ чувствъ. Таковъ именно альтруизмъ Маріанны. При ея живомъ умѣ, при большой внутренней свободѣ, при отсутствіи фанатизма, онъ становится душев-

*) Есть, конечно, разные виды, сорты и ступени альтруистическаго чувства; изъ нихъ выше и раціональнѣе тѣ, которые находятся въ большей зависимости отъ разума, отъ идей, и наиболѣе удалились отъ стихійнаго чувства стадности. Поэтому альтруизмъ космополитическій (безъ различія національности, сословія, религіи и т. д.) раціональнѣе напр. націоналистическаго, сословнаго и т. п. Національный альтруизмъ въ въ своемъ низшемъ выраженіи—въ шовинизмѣ—спускается до полной ирраціональности и дѣйствуетъ слѣпо и—нелѣпо.

Digitized by Google

нымъ началомъ, въ которомъ ирраціональность чувства доведена до минимума и можетъ считаться равной нулю.

Обратимся къ Лизѣ. Ея основное чувство есть также альтруизмъ—очень широкій, всечеловѣческій, христіанскій въ настоящемъ, евангельскомъ смыслѣ, и съ этой точки зрѣнія онъ—выше и чище альтруизма Маріанны: онъ подчиняется завѣту «любите враговъ вашихъ, дѣлайте добро ненавидящимъ васъ». Онъ—одна, чистая, безпримѣсная любовь, безъ вражды и ненависти,—любовь, являющаяся выраженіемъ того наивысшаго этическаго начала, которое дано въ Нагорной проповѣди. Лиза всѣхъ любитъ, жалѣетъ и прощаетъ,—даже Паншина и жену Лаврецкаго. Она органически неспособна ненавидѣть—напр. дурного, злого человѣка, за то, что онъ золъ; она будетъ только скорбѣть и молиться о немъ. Такая любовь—не отъ міра сего, и душа, ею движимая, не призвана жить, трудиться и бороться въ этомъ грѣшномъ мірѣ, гдѣ нельзя обойтись—въ интересахъ добра и правды—безъ вражды и ненависти. Но къ нравственному міру человѣка не приложимъ масштабъ утилитарности. Нравственныя стремленія имѣютъ свою безотносительную цѣнность, свое абсолютное достоинство независимо отъ примѣнимости ихъ къ жизни. Съ этой точки зрѣнія, поскольку въ строго-этическомъ смыслѣ идеалъ Нагорной проповѣди выше другихъ идеаловъ, постольку и душа Лизы выше души Маріанны, и любовь героини «Дворянскаго Гнѣзда» шире и чище любви героини «Нови». Но эта высь, и ширь, и чистота святого чувства куплены здѣсь цѣною раціональности мысли.

Чтобы уяснить себѣ это, необходимо обратить вниманіе на то, въ какія отношенія къ сферѣ умственной, къ сферѣ общихъ идей, къ работѣ мысли становится нравственное чувство любви къ ближнему по мѣрѣ своего развитія и расширенія. Будемъ итти снизу вверхъ, и сперва вообразимъ себѣ самую низшую ступень,—ту, на которой нѣтъ еще нравственной личности, ступень полнаго индивидуальнаго эгоизма, т. е. представимъ себѣ человѣка, повинующагося только своимъ животнымъ инстинктамъ. Душа такого нравственнаго урода будетъ совершенно ирраціональна, ибо руководящими мотивами его поступковъ будутъ не мысли, не идеи и не чувства, съ ними связанныя, а инстинкты, страсти, хотѣнія, дѣйствующія совершенно слѣпо и неразумно. Ирраціональность нравственной сферы такого человѣка такъ велика, что мы будемъ вправѣ охарактеризовать его психіатрическимъ

Digitized by Google

терминомъ «нравственно-помѣшанный». Подымаясь отъ этого пункта выше—къ разнымъ видамъ убывающаго личнаго эгоизма или расширяющагося альтруизма, къ любви семейной, отцовской, материнской, товарищеской, къ сословному, національному, патріотическому чувству и т. д.,—мы видимъ, что развитіе этихъ нравственныхъ отношеній сопряжено съ развитіемъ общихъ идей, съ расширеніемъ сферы мысли и съ увеличеніемъ зависимости чувства отъ мысли. Весь этотъ порядокъ нравственныхъ чувствъ неотдѣлимъ отъ соотвѣтственнаго порядка идей, напр. идеи семьи, отечества, государства, національной чести и т. д. Вотъ именно эта неотдѣлимость альтруистическихъ чувствъ отъ нравственныхъ и другихъ идей и дѣлаетъ эти чувства любви и симпатіи разумными, преобразуетъ ихъ изъ слѣпыхъ, инстинктивныхъ, стихійныхъ въ болѣе или менѣе раціональныя. Высшей точки достигаетъ это движеніе тамъ, гдѣ чувство любви или симпатіи къ ближнему превращается въ общечеловѣческій альтруизмъ, а идея, ему отвѣчающая, возвышается до общечеловѣческаго идеала братства, равенства и солидарности, при чемъ между идеей и чувствомъ устанавливается гармоническое соотношеніе, т. е. человѣкъ любитъ людей—безъ различія національности и другихъ разграниченій—такъ и настолько,—какъ и насколько это вытекаетъ изъ теоретическихъ и практическихъ требованій идеала. Это и будетъ тотъ раціональный общечеловѣческій альтруизмъ, который логически приводитъ къ необходимости, ради любви къ человѣчеству, ненавидѣть враговъ человѣчества. Его мы видимъ въ Маріаннѣ.

Теперь представимъ себѣ—психически вполнѣ возможное—дальнѣйшее движеніе чувства, когда любовь къ людямъ подвинется ступенью выше и черезъ посредство чувства жалости и состраданія распространяется на все человѣчество, не исключая и враговъ его. Этотъ высшій, сострадающій и всепрощающій альтруизмъ по необходимости нарушаетъ ту гармонію между чувствомъ и идеей, о которой мы только что говорили. Между извѣстными требованіями идеи, теоретически и практически съ одной стороны, и влеченіями чувства съ другой, возникаютъ противорѣчія. Чувство жалѣетъ и прощаетъ, между тѣмъ какъ идея, во имя логики и справедливости, осуждаетъ и отрицаетъ. Она хотѣла бы имѣть опору въ соотвѣтственномъ чувствѣ—и, не находя его, остается какъ-бы безъ выраженія, безъ органа, безъ психологическихъ устоевъ. И она неминуемо пошатнется,—если

Digitized by Google

только не заговорятъ въ душѣ тѣ чувства, которыя ей нужны. Для возстановленія нарушенной гармоніи и внутренняго мира, необходимо одно изъ двухъ: или возникновеніе соотвѣтственныхъ чувствъ, могущихъ по всѣмъ пунктамъ уравновѣсить идею, или-же—устраненіе самой идеи и замѣна ея другимъ умственнымъ началомъ, другимъ умонастроеніемъ, которое находилось-бы въ полной гармоніи съ тѣмъ сострадающимъ альтруизмомъ чувства, о которомъ идетъ рѣчь. Это другое умонастроеніе можетъ выражаться въ весьма разнообразныхъ міровоззрѣніяхъ, ученіяхъ. У Толстого напр. оно отлилось въ форму его извѣстныхъ идей о «непротивленіи злу» и о «недѣланіи». У Лизы оно держится въ предѣлахъ евангельскаго откровенія. Одно изъ наиболѣе яркихъ его выраженій представляетъ собою древній буддизмъ. Въ будущемъ могутъ возникнуть новые типы такого уклада мысли. При всемъ разнообразіи исторически-извѣстныхъ и возможныхъ въ будущемъ его типовъ или формъ, онъ всегда былъ и, вѣроятно, всегда будетъ запечатлѣнъ характеромъ большей или меньшей ирраціональности. Обращаясь теперь къ тому чувству, которому отвѣчаетъ этотъ укладъ мысли, мы найдемъ, что въ противоположность послѣднему, оно должно быть признано чуть ли не самымъ раціональнымъ изъ чувствъ. И въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ чувство ниже, эгоистичнѣе, животнѣе, тѣмъ оно ирраціональнѣе: облагораживаясь, торжествуя надъ животной природой человѣка, оно освобождается отъ гнета стихійности, отъ слѣпоты инстинкта, отъ темноты душевной и становится въ извѣстномъ смыслѣ раціональнымъ. Такимъ и является чувство всеобъемлющаго состраданія, высшаго альтруизма, евангельской, всепрощающей любви. Итакъ, чувство — раціонально, а мысль, ему отвѣчающая, ирраціональна, и, сочетаясь, онѣ даютъ въ результатѣ душевную гармонію. Это—гармонія контрастовъ и одно изъ любопытнѣйшихъ явленій психическаго ритма. Въ общемъ натура, въ которой эта гармонія осуществилась, должна быть признана ирраціональной. Но это—ирраціональность высшаго рода, удѣлъ избранныхъ. Не для ихъ мысли созданъ міръ: она не постигнетъ его; ихъ чувство создано не для міра: онъ его не пойметъ. Одинъ изъ типичныхъ представителей этихъ избранныхъ натуръ, Г. С. Сковорода, справедливо сказалъ: «міръ меня ловилъ, но не поймалъ».

Въ такой душѣ, не созданной для міра, мы наблюдаемъ

Digitized by Google

какъ бы перемѣщеніе центра тяжести личности: личное «я» перестаетъ тяготѣть къ земному бытію; привычная обстановка, тепло и свѣтъ жизни, земныя радости, связи съ людьми, всѣ интересы, заботы, стремленія, цѣли—все это теряетъ свою притягательную силу, которой дѣйствіе переносится въ другую сферу,—въ какую именно, это ужъ зависитъ отъ умственнаго и нравственнаго уклада человѣка. У Лизы оно перенесено въ религіозную, мистическую сферу. Мысль о Богѣ, о «загробной» жизни, мистическая любовь къ Богу—вотъ къ чему тяготѣютъ всѣ душевныя силы Лизы, вотъ куда перемѣщенъ центръ тяжести ея личности. Окончательно совершилось это перемѣщеніе, когда Лиза ушла въ монастырь, и здѣсь-то ея натура, весь укладъ ея души и вся ирраціональность этого уклада достигли своего полнаго выраженія. Это особое, чуждое и непонятное намъ, людямъ жизни, состояніе сознанія, при которомъ духъ человѣческій освобождается отъ опутывающихъ его психическихъ узъ земныхъ отношеній, земныхъ стремленій и—свободный, ясный и чистый—весь сосредоточивается на одномъ высокомъ помыслѣ, на одномъ священномъ чувствѣ,—весь цѣликомъ истрачивается на одну любовь, чистую, какъ отвлеченіе, горячую, какъ молитва, и, какъ она же, полную наивной поэзіи. Это наивысшая—мистическая стадія ирраціональности духа. Чтобы еще лучше уяснить себѣ ея психологію, сопоставимъ ее съ другимъ видомъ отреченія отъ міра и бѣгства отъ жизни.

Есть у Мицкевича одно чудное стихотвореніе, въ которомъ схваченъ этотъ душевный мотивъ—порывъ бѣжать отъ міра, отъ жизни, отъ людей, отрекшись отъ всего, что есть лучшаго, что даетъ величайшія радости, отъ любви, отъ дружбы, но сохраняя и унося съ собою святое чувство любви къ человѣчеству. Поэтъ—при наступленіи новаго года—задаетъ себѣ вопросъ: чего-бы пожелать себѣ? Можетъ быть, веселыхъ минутъ? Нѣтъ, потому что потомъ будетъ еще грустнѣе. Можетъ быть, любви? Опять нѣтъ, потому что ея блаженство смѣнится страданіями. Можетъ быть, дружбы? Это самое прочное чувство, и много радостей даетъ оно, но зато, когда друзей постигнетъ несчастье, то какъ жестоко мучится человѣкъ за себя и за другихъ! Нѣтъ, не надо и дружбы. Чего-же пожелать? Я пожелаю себѣ, говоритъ поэтъ, могилы, дубовой постели, откуда бы я не видѣлъ ни блеска солнца, ни смѣха враговъ, ни слезъ друзей. Тамъ до конца свѣта я хотѣлъ бы—во снѣ, отъ котораго ничто меня не раз-

Digitized by Google

будитъ,—мечтать такъ, какъ мечталъ я въ мои молодые годы: любить міръ, питать дружбу къ міру, но—вдали отъ людей *).

Въ этомъ стихотвореніи Мицкевича занимающій насъ душевный мотивъ представленъ въ нѣкоторой эгоистической окраскѣ:

---

*) Стихотвореніе это, озаглавленное „Новый годъ", было написано подъ новый 1824 г. въ Вильнѣ, въ тюрьмѣ, гдѣ содержались Мицкевичъ и его друзья по дѣлу „филаретовъ". Привожу его въ подлинникѣ:

Nowy Rok.

Skonał rok stary: z jego popiołów wykwita
Feniks nowy; już skrzydła roztacza na niebie;
Świat go cały nadzieją i życzeniem wita:
Czegóż w tym nowym roku żądać mam dla siebie?
Może chwilek wesołych?—Znam te błyskawice.
Kiedy niebo otworzą i ziemię ozłocą,
Czekamy wniebowzięcia: aż nasze źrenice
Grubszą niżeli pierwej zasępią się nocą.
Może kochania?—Znam tę gorączkę młodości.
W Platońskie wznosi sfery, przed rajskie obrazy,
Aż silnych i wesołych strąci w ból i mdłości,
Z siódmego nieba w stepy, między zimne głazy.
Chorowałem, marzyłem, latałem i spadam.
Marzyłem boską różę; blizki jej zerwania
Zbudziłem się; sen zniknął, róży nie posiadam,
Kolce w piersiach zostały.—Nie żądam kochania!
Może przyjaźni?—Któżby nie pragnął przyjaźni!
Z bogiń, które na ziemi umie młodość tworzyć,
Wszakże tą najpiękniejszą córką wyobraźni
Najpierwszą zwykła rodzić i ostatnią morzyć.
O, przyjaciele, jakże jesteście szczęśliwi!
Jako w palmie Armidy waszyscy żyjąc społem,
Jedna zaklęta dusza całe drzewo żywi,
Choć każdy listek zda się oddzielnym żywiołem.
Ale kiedy po drzewie grad burzliwy chłośnie,
Lub je żądło owadów jadowitych drażni:
Jakże każda gałązka dręczy cię nieznośnie
Za siebie i za drugie!—Nie żądam przyjaźni!
I czegóż więc w tym nowym roku będę żądał?
Samotnego ustronia, dębowej pościeli,
Skądbym już ani blasku słońca nie oglądał,
Ni śmiechu nieprzyjaciół, ni łez przyjacieli.
Tam do końca, a nawet i po końcu świata,
Chciałbym we śnie, z którego nic mię nie obudzi.
Marzyć, jak-em przemarzył moje młode lata:
Kochać świat, sprzyjać światu—zdaleka od ludzi...

Digitized by Google

человѣкъ отрекается отъ радостей жизни, отъ блаженства любви, отъ дружбы—спасаясь отъ тѣхъ скорбей, разочарованій, страданій, которыя неизбѣжно постигаютъ его въ жизни. Еще яснѣе видна эгоистическая сторона такого отреченія отъ міра въ аналогичномъ стихотвореніи Лермонтова «Выхожу одинъ я на дорогу».

...Я ищу свободы и покоя,
Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть...
Но не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы,—
Я-бъ желалъ навѣки такъ заснуть,
Чтобъ въ груди дремали жизни силы,
Чтобъ, дыша, вадымалась тихо грудь;
Чтобъ всю ночь, весь день, мой слухъ лелѣя,
Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ;
Надо мной чтобъ, вѣчно зеленѣя,
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ...

Мечта о «сладкомъ голосѣ, поющемъ про любовь» (конечно, женскую), это во всякомъ случаѣ болѣе эгоистическое желаніе чѣмъ та любовь къ человѣчеству вдали отъ этого человѣчества, о которой говоритъ Мицкевичъ. Различны также и мотивы, побуждающіе стремиться къ отреченію отъ міра: у Мицкевича это, какъ мы только что видѣли, боязнь страданій, у Лермонтова же—разочарованность и равнодушіе къ жизни («Ужъ не жду отъ жизни ничего я, и не жаль мнѣ прошлаго ничуть»). Оба стремленія (у Лермонтова и Мицкевича) могутъ быть названы въ своемъ родѣ «психологическими утопіями», построенными на эгоистическомъ пессимизмѣ: міръ полонъ зла и страданій, но въ немъ есть и нѣчто прекрасное и самоцѣнное, доставляющее человѣку величайшія наслажденія,—и вотъ человѣкъ лелѣетъ утопію—уйти отъ міра, избавиться отъ всѣхъ его золъ и бѣдъ, его страданій и разочарованій, но непремѣнно такъ, чтобы удержать за собою и унести это прекрасное и самоцѣнное,—будетъ ли это абстрактная любовь къ абстрактному человѣчеству, или невидимый голосъ, чарующій душу сладкой пѣснью про любовь. Но эта утопическая, неосуществимая мечта, столь категорически выраженная въ обоихъ стихотвореніяхъ, является лишь поэтическимъ образомъ, который говоритъ или, лучше, заставляетъ мыслить многое, что въ немъ самомъ не заключено,—который, какъ и всякій поэтическій образъ, служитъ только «представленіемъ» или формою апперцепціи разныхъ мыслей и чувствъ. И прежде всего самая утопичность мечты указываетъ намъ на

Digitized by Google

сознаніе (у Мицкевича— въ особенности), что безъ страданій и разочарованій нельзя получить того душевнаго сокровища, которое поэтъ хотѣлъ бы унести съ собою въ могилу, что право имѣть высокое, святое чувство должно быть выстрадано. У Мицкевича въ послѣднемъ аккордѣ—«любить человѣчество—вдали отъ людей»—чувствуется увѣренность въ противоположномъ, въ томъ, что эта любовь невозможна безъ живыхъ связей съ людьми и безъ тѣхъ страданій, которыя оттуда проистекаютъ. Эти и другія мысли, возбуждаемыя стихотвореніями Мицкевича и Лермонтова, помогаютъ намъ еще глубже понять утопичность мечты, въ нихъ выраженной: эта мечта не имѣетъ нравственнаго оправданія. Мотивы (стремленіе избѣжать страданій—у Мицкевича, разочарованность—у Лермонтова) не суть мотивы нравственнаго порядка, а между тѣмъ само-то стремленіе, намѣченная цѣль сводится къ личному блаженству, къ достиженію счастливаго, уравновѣшеннаго, самоусладительнаго состоянія духа. Это внутреннее счастье можетъ быть достигнуто только цѣною самоотреченія, жертвъ, нравственнаго подвига, и мотивы, побуждающіе стремиться къ этой «свободѣ и покою», чтобы не быть утопичными, должны корениться не въ чемъ иномъ, какъ именно въ нравственной сферѣ личной жизни.

Теперь мы можемъ вернуться къ Лизѣ.

Лиза также стремится въ сущности «къ свободѣ и покою», къ свободѣ отъ тягостныхъ ей связей съ людьми, отъ гнетущихъ ее противорѣчій жизни, отъ неизбѣжныхъ «въ мірѣ» грѣховъ и компромиссовъ, — къ покою души, къ наполняющей ея душу несказаннымъ блаженствомъ близости къ Божеству въ монастырѣ, къ мистическимъ восторгамъ религіозной жизни. Но это высокое счастье она заслужила; она его купила цѣною огромной жертвы—она отказалась ради него отъ счастья съ любимымъ человѣкомъ. Это счастье было вполнѣ возможно, и отъ нея зависѣло его осуществленіе. Чтобы понять всю громадность этой жертвы, нужно вспомнить, что любовь Лизы и Лаврецкаго была любовь глубокая и могущественная, основанная не на скоропреходящемъ увлеченіи, а на внутреннемъ сродствѣ душъ,—это была любовь на всю жизнь, она сулила настоящее, прочное счастье, то рѣдкое поэтическое счастье, ради котораго люди такъ легко отрекаются отъ высшихъ идей, отъ религіи, отъ идеаловъ, и только такія рѣдкія натуры, какъ Лиза, способны принести въ жертву высшимъ, неличнымъ стремленіямъ души.

Digitized by Google

Итакъ, это была жертва, это былъ подвигъ самоотреченія. И это жертвоприношеніе было совершено силою мотивовъ чисто нравственнаго порядка. Вспомнимъ здѣсь сцену въ концѣ главы XLII.

«— Да, — сказала она глухо: — мы скоро были наказаны.

— Наказаны,—повторилъ Лаврецкій... — За что же вы то наказаны?

Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали...

Сердце въ Лаврецкомъ дрогнуло отъ жалости и любви.

— ...Все кончено, — прошепталъ онъ; — да, все кончено— прежде чѣмъ началось.

— Это все надо забыть, — проговорила Лиза...—Намъ обоимъ остается исполнить нашъ долгъ. Вы, Ѳедоръ Ивановичъ, должны примириться съ вашей женой.

— Лиза!

— Я васъ прошу объ этомъ; этимъ однимъ можно загладить... все, что было...

— ...Хорошо,— проговорилъ сквозь зубы Лаврецкій:—это я сдѣлаю, положимъ; этимъ я исполню свой долгъ. Ну, а вы — въ чемъ же вашъ долгъ состоитъ?

— Про это я знаю.

Лаврецкій вдругъ встрепенулся.

— Ужъ не собираетесь ли вы выйти за Паншина? — спросилъ онъ.

Лиза чуть замѣтно улыбнулась.

— О, нѣтъ! промолвила она».

Не трудно видѣть, что Лизой движетъ мотивъ не какого-нибудь иного, какъ именно нравственнаго или точнѣе нравственно-религіознаго порядка. Она считаетъ дѣломъ грѣшнымъ, безнравственнымъ строить свое счастье на несчастьи другихъ. Отнять Лаврецкаго отъ его семьи, хотя бы и не любимой имъ и чуждой ему, она признаетъ почти преступленіемъ, подлежащимъ наказанію. Весьма возможно, что въ данномъ случаѣ она ошибалась. Потеря мужа никакихъ нравственныхъ, ни иныхъ страданій не причинила бы г-жѣ Лаврецкой и ея дочери, и все устроилось бы къ общему удовольствію. Но таково уже глубокое, непоколебимое убѣжденіе Лизы—въ нерасторжимости брака, въ необходимости прощенія, въ возможности нравственнаго воз-

Digitized by Google

рожденія такихъ испорченныхъ натуръ, какъ жена Лаврецкаго. Для нея не подлежитъ сомнѣнію, что, отнимая у семьи Лаврецкаго, она нарушитъ святость брака, лишитъ жену Лаврецкаго мужа, его дочь—отца, его самого—возможности простить, а ее (madame Лаврецкую!)— возможности раскаяться и загладить свое прошлое. Свой чистый порывъ, свою любовь къ Лаврецкому она признаетъ поэтому грѣховными, себя считаетъ недостойной счастья, само счастье—невозможнымъ и нежелательнымъ, разъ оно сопряжено съ компромисами, съ нарушеніемъ чьихъ то, хотя бы и фиктивныхъ, правъ. Возвращеніе жены Лаврецкаго ей представляется поэтому предостереженіемъ свыше и даже наказаніемъ за грѣховное, по ея мнѣнію, чувство. «Теперь вы сами видите, что счастье не отъ насъ, а отъ Бога», говоритъ она Лаврецкому.

Но этого мало. Нравственныя основанія самоотреченія Лизы оказываются еще глубже:

Въ сценѣ, гдѣ Лиза объявляетъ тетушкѣ, несравненной Маѳѣ Тимоѳеевнѣ, о своемъ рѣшеніи пойти въ монастырь, она говоритъ между прочимъ: «...Я рѣшилась, я молилась, я просила совѣта у Бога, все кончено, кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ; да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастье ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня щемило. Я все знаю, и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство нажилъ; я все знаю. Все это отмолить, отмолить надо...» (Гл. XLV).

Передъ нами три вида самоотреченія или удаленія отъ жизни: одинъ — у Лизы, другой—въ стихотвореніи Мицкевича, третій—въ стихотвореніи Лермонтова. Эти три вида являются въ то же время стремленіями къ тремъ разнымъ блаженствамъ. Блаженство Лизы есть мистическая любовь къ Богу, сладость молитвы, радость покаянія и, на всемъ этомъ основанный, безусловный, несокрушимый покой души. У Мицкевича это—утопическое блаженство успокоенія души въ высокомъ чувствѣ любви къ человѣчеству,—чувствѣ, которое, въ силу изолированности его носителя отъ людей, неспособно ни омрачиться, ни изсякнуть. У Лермонтова—это эгоистическое наслажденіе поэтическими чарами любви,—не самой любовью, всегда требующей затраты душевныхъ силъ, а именно только ея поэтизированнымъ, одухотвореннымъ, чарующимъ представленіемъ, не

Digitized by Google

требующимъ дѣйствія «силъ жизни» и совмѣстимомъ съ ихъ усыпленнымъ, дремотнымъ состояніемъ*). Изъ этихъ трехъ блаженствъ одно только блаженство Лизы не утопично: оно вполнѣ осуществимо—для такихъ натуръ, какъ она; это различіе находится въ тѣсной связи съ тѣмъ фактомъ, что блаженству Лизы неприсущъ тотъ духъ квіетизма, которымъ такъ рѣзко запечатлѣны два другія. Удаленіе Лизы отъ міра можетъ быть названо квіетистическимъ развѣ только сравнительно напр. съ активностью Маріанны и съ точки зрѣнія общественной борьбы, но отнюдь не въ смыслѣ психологическомъ. У Лизы нѣтъ и тѣни стремленія къ психологическому квіетизму, нѣтъ никакихъ слѣдовъ душевной усталости или изнѣженности. Напротивъ, душа Лизы полна энергіи и въ высокой степени активна, ибо ея самоотреченіе, во первыхъ, такого сорта, что требуетъ большой силы воли, духовной мощи, а во вторыхъ, та религіозная жизнь, которой посвящаетъ себя Лиза, сводится къ очень энергической, очень интенсивной дѣятельности духа, требующей большого самообладанія, сосредоточенія вниманія на одномъ пунктѣ, борьбы съ разсѣянностью, съ лѣнью мысли и усталостью чувства, чему такъ подверженъ внутренній міръ человѣка. Наконецъ молитва и покаяніе, религіозный экстазъ, мистическое чувство—это не пассивныя состоянія души, это ея энергія, это затрата душевной силы, напряженная работа мысли и чувства, несовмѣстимая съ психологическимъ квіетизмомъ, съ тѣмъ дремотнымъ состояніемъ «силъ жизни», съ тою своего рода летаргіею, о которыхъ говорится въ стихахъ Лермонтова и Мицкевича.

Настоящій—психологическій—квіетизмъ есть именно стремленіе низвести энергію душевныхъ процессовъ до того минимума, при которомъ эти процессы могли бы разсматриваться уже не какъ дѣятельность, а какъ состояніе, казались бы превращенными въ пассивныя ощущенія.

По существу дѣла, такое превращеніе невозможно, ибо всѣ душевные процессы суть дѣятельности, а не состоянія въ собственномъ смыслѣ, и всѣ ощущенія—активны. Но стремленіе къ квіетизму духа вполнѣ возможно и даже является неизбѣжнымъ спутникомъ душевной дѣятельности, въ особенности такой, кото-

*) Нужно читать: «чтобъ въ груди дремали жизни силы» (такъ напр. въ изд. Павленкова), а не дрожали, какъ печатали прежде.

Digitized by Google

рая, требуя большой траты энергіи, не даетъ человѣку должнаго умственнаго и нравственнаго удовлетворенія. Стремленіе къ квіетизму временами сопровождается иллюзіей его достиженія: когда болѣе энергичные процессы духа смѣняются менѣе энергичными, человѣку кажется, будто бы эти послѣдніе суть уже не дѣятельность, а состояніе, будто они не активны, а пассивны. Возникаетъ пріятное чувство душевнаго отдыха, подсказывающее сознанію ложную мысль, что основаніе или источникъ внутренняго душевнаго счастья—въ пассивности, а не въ активности духа.

Сопоставленіе «трехъ блаженствъ отреченія отъ жизни» приводитъ насъ къ слѣдующимъ выводамъ или требованіямъ:

1) Отреченіе отъ жизни, чтобы быть осуществимымъ, а не утопіей, должно исходить исключительно изъ побужденій нравственнаго порядка: если, повинуясь однимъ только велѣніямъ нравственнаго убѣжденія и чувства, голосу совѣсти, человѣкъ не находитъ для себя возможнымъ жить съ людьми, трудиться на нивѣ жизни,—пусть онъ уходитъ отъ міра, для котораго онъ не былъ созданъ, пусть замыкается въ самомъ себѣ, всецѣло отдается религіи, философіи, наукѣ, созерцанію, подвижничеству,—чему угодно. Это не будетъ утопія, это не будетъ напрасная мечта; онъ въ самомъ дѣлѣ ушелъ отъ жизни, отъ людей и живетъ одинъ,—самъ по себѣ существуетъ—полный собою, своимъ нравственнымъ укладомъ, своимъ идейнымъ содержаніемъ, одной всепоглощающей мечтою, одной безсмертной любовью, одной великой мыслью. И эта любовь, мечта или мысль не пропадутъ даромъ: человѣчество такъ или иначе ими воспользуется.—Но если человѣкъ захочетъ уйти отъ жизни—движимый эгоизмомъ, озлобленіемъ, разочарованіемъ,—онъ не уйдетъ отъ нея: она настигнетъ его въ его убѣжищѣ и либо покараетъ за малодушное бѣгство, либо излѣчитъ отъ эгоизма, вновь примиритъ съ людьми или еще пуще озлобитъ,—доведетъ его разочарованность до отчаянія, его усталость до изможденія, или-же, напротивъ, вновь очаруетъ и увлечетъ въ свой водоворотъ.

2) Блаженство отреченія должно быть куплено цѣною самопожертвованія, цѣною подвига и оправдано высшимъ призваніемъ человѣка. Жить въ мірѣ, «возиться съ людьми» (какъ выражается Базаровъ), трудиться, бороться, страдать—это обязанность человѣка. Отъ этой тяжелой обязанности онъ можетъ быть освобожденъ только ради высшей дѣятельности духа, имѣющей свою безотносительную цѣнность,—ради развитія въ себѣ какой-

Digitized by Google

либо высшей, совершеннѣйшей духовной энергіи, нравственной или умственной, которая сама по себѣ есть прежде всего душевный трудъ, тяжелый и требовательный, а потомъ уже—«блаженство».

3) Отрекаясь отъ жизни съ людьми и отдаваясь всецѣло высшей дѣятельности духа, человѣкъ не имѣетъ права требовать и получать тѣ сорты радостей, тѣ виды счастья, которые даются жизнью «въ мірѣ».

Такимъ требованіямъ, какъ-бы они ни были суровы, Лиза вполнѣ удовлетворяетъ, и всякій упрекъ въ эгоистическомъ удаленіи отъ міра, къ ней обращенный, заранѣе обезоруживается. Это приводитъ насъ къ разсмотрѣнію этической стороны въ психологіи Лизы, къ анализу ея нравственной личности.

Человѣкъ живетъ и движется силою весьма разнообразныхъ внутреннихъ стремленій, въ числѣ которыхъ дѣйствуютъ и мотивы нравственнаго порядка, но они такъ причудливо и тѣсно переплетаются съ мотивами другихъ порядковъ, что выдѣлить ихъ оттуда въ большинствѣ случаевъ оказывается дѣломъ весьма нелегкимъ. И чѣмъ болѣе полной и разносторонней жизнью живетъ человѣкъ, тѣмъ труднѣе произвести такое выдѣленіе или изолированіе нравственныхъ мотивовъ отъ другихъ и опредѣлить для каждаго даннаго случая или даже для цѣлой полосы въ жизни человѣка,—что̀ именно было главнымъ стимуломъ различныхъ его поступковъ или его дѣятельности вообще, нравственныя-ли побужденія, или какія-нибудь иныя, напримѣръ, честолюбіе. Иногда поступокъ человѣка имѣетъ все обличье нравственнаго, не будучи, однако, таковымъ по существу дѣла, т. е. по сознательнымъ внутреннимъ мотивамъ. Мы видимъ, напримѣръ, что человѣкъ отказывается отъ извѣстныхъ, даже очень значительныхъ благъ, уступая ихъ другимъ, имѣющимъ на нихъ больше правъ, чѣмъ онъ,—и мы уже склонны квалифицировать этотъ поступокъ какъ нравственный. Но легко можетъ оказаться, что человѣкъ сдѣлалъ это—движимый вовсе не нравственнымъ побужденіемъ, а, напримѣръ, лѣнью, нежеланіемъ и неумѣніемъ бороться, домогаться, конкурировать. Далѣе, поступки, имѣющіе обличье нравственныхъ, часто совершаются силою увлеченія идеей или силою страстнаго чувства. Въ этого рода случаяхъ нравственное движеніе души совпало съ другимъ ея стремленіемъ и такъ заслонено этимъ послѣднимъ, что часто нѣтъ возможности его выдѣлить и опредѣлить его роль и силу; для рѣшенія вопро-

Digitized by Google

са нужно подождать, пока увлеченіе пройдетъ: если человѣкъ будетъ дѣлать то-же самое, имѣющее нравственное обличье, и тогда, когда увлеченіе прошло, то мы скажемъ, что нравственный мотивъ долженъ былъ имѣть большое значеніе и раньше, въ періодъ увлеченія идеей или чувствомъ. Когда Елена ушла за Инсаровымъ, когда Маріанна бѣжала изъ дома Сипягиныхъ,—ими руководили весьма разнообразныя и сложныя душевныя стремленія, въ ряду которыхъ, безъ всякаго сомнѣнія, были и чисто-нравственныя. Но у Елены они слились съ чувствомъ любви къ Инсарову, у Маріанны они перепутались съ ея увлеченіемъ идеею служенія народу, съ ея молодымъ порывомъ къ широкой, захватывающей дѣятельности, къ подвигу, съ ея гордостью и стремленіемъ къ независимости. Не легкое дѣло—распутать такой психическій клубокъ и извлечь изъ него какъ разъ ту нить, которая намъ нужна для психологическаго діагноза.

У Лизы нравственный укладъ выдѣляется сравнительно легче, во первыхъ, въ силу того, что въ ея душевномъ мірѣ онъ играетъ роль капитальную, и во вторыхъ—потому, что переплетенъ и совмѣщается у нея съ такимъ психическимъ началомъ, которое его не затемняетъ,—съ тою ея религіею, о которой мы говорили выше. Я именно имѣю въ виду индивидуальную религію Лизы, а не религіозное чувство или религіозныя идеи вообще, которыя могутъ заслонять собою чисто нравственные мотивы такъ-же точно, какъ это дѣлаютъ и другія чувства или идеи. Если человѣкъ поступаетъ нравственно и при этомъ вѣритъ, что за безнравственные поступки онъ будетъ мучиться въ аду, или, если человѣкъ отрекается отъ житейскихъ благъ или идетъ на мученическій подвигъ—движимый религіознымъ фанатизмомъ, то мы опять получаемъ тотъ душевный «клубокъ», въ которомъ такъ трудно распознать потерянную въ немъ нить чисто нравственнаго движенія души. Но не таково отношеніе нравственнаго уклада къ религіозному у Лизы. Во всемъ ея существѣ вы ясно видите вѣчно бодрствующее, всегда насторожѣ, живое и тонкое нравственное чувство, родъ прирожденнаго нравственнаго такта или чутья, безошибочно и моментально рѣшающаго, что хорошо, что дурно, что должно дѣлать, чего не должно дѣлать,—независимо отъ того, пріятно это кому нибудь или непріятно, полезно, или безполезно, причинитъ-ли данный нравственный поступокъ огорченіе, страданія или, напротивъ, удовольствіе и радость близкимъ людямъ. Безоглядный, безповоротный, математи-

Digitized by Google

чески правильно дѣйствующій, не осложненный ни любовью, ни гордостью, ни честолюбіемъ, ни молодыми порывами, ни идеею, чистый, безпримѣсный категорическій императивъ нравственнаго долга—вотъ что составляетъ главную основу душевной жизни Лизы, вотъ то, что образуетъ ея психическую индивидуальность. Эта особенность Лизы такъ ясна, такъ несомнѣнна, что—можно быть увѣреннымъ—въ случаѣ конфликта между велѣніями ея нравственнаго чувства и требованіями ея религіи—она, при всей своей религіозности, не колеблясь поступила бы по указаніямъ перваго, а не второй; послѣ чего, въ глубинѣ своей наивности, она каялась бы и отмаливала этотъ «грѣхъ», но «грѣхъ» все таки былъ бы совершенъ и въ случаѣ повторенія конфликта снова повторенъ. Я говорю такъ для того, чтобы яснѣе и рѣзче оттѣнить самобытность и силу нравственнаго начала у Лизы, и вовсе не хочу этимъ сказать, что религіозная сторона отодвинута у нея на второй планъ. Настоящее отношеніе обоихъ началъ у Лизы таково: нравственная сторона составляетъ основу ея личности, а религіозная есть основа этой основы. Во избѣжаніе недоразумѣній, нужно пояснить, что, опредѣляя такъ отношеніе этихъ двухъ началъ у Лизы, я вовсе не исхожу изъ теоріи (по моему мнѣнію, ошибочной) о происхожденіи и зависимости нравственности отъ религіи. Я имѣю въ виду психологическое соображеніе, не имѣющее ничего общаго съ этой теоріей и состоящее въ слѣдующемъ.

Изо всѣхъ душевныхъ процессовъ, образующихъ личность, самый личный—это именно процессъ нравственный. Какъ носительница нравственнаго категорическаго императива, личность является самодовлѣющей единицей: она сама себѣ судья, и ея нравственный міръ, голосъ ея совѣсти, совокупность ея нравственныхъ чувствъ и понятій составляютъ нѣчто глубоко интимное, сокровенное, замкнутое въ себѣ, рѣзко-индивидуальное. Вотъ именно въ силу этой особенности нравственнаго процесса, онъ не можетъ самъ по себѣ быть единственнымъ и послѣднимъ основаніемъ психической жизни: личность, душевная жизнь которой вся ушла-бы въ одну чистую нравственность, была-бы личностью совершенно изолированной, замкнутой въ себѣ, самодовлѣющей и фатально пришла-бы къ потерѣ душевнаго равновѣсія, къ сатанинской гордости, къ маніи величія, къ крайнему самоутвержденію. Это былъ-бы одинъ изъ самыхъ рѣзкихъ случаевъ эгоцентризма, который обнаруживалъ-бы явную тенденцію перейти

Digitized by Google

въ настоящій эгоизмъ. Поэтому-то нравственное начало должно быть уравновѣшено другими, не столь личными, болѣе центробѣжными движеніями души. Въ этихъ движеніяхъ личность находитъ противовѣсъ чисто-нравственнымъ стремленіямъ и такимъ образомъ пріобрѣтаетъ душевную устойчивость. Чисто-нравственные мотивы переплетаются съ семейными, общественными, національными, общечеловѣческими стремленіями, религіозными вѣрованіями, умственными (философскими, научными, художественными) интересами и т. д., и—образуется тотъ «клубокъ», о которомъ мы говорили выше. Чѣмъ сильнѣе и ярче выражено въ человѣкѣ нравственное начало, т. е. чѣмъ выше и могущественнѣе его нравственное « я », тѣмъ значительнѣе и шире должны быть тѣ стремленія его души, которыя выводятъ его изъ индивидуальной сферы,—иначе равновѣсія не будетъ. Для такихъ натуръ, какъ Лиза, выдѣляющихся изъ уровня обыкновенныхъ смертныхъ необычайно высокимъ подъемомъ и энергіей нравственнаго начала,—уравновѣшивающимъ устоемъ ему можетъ служить только какое-нибудь всеобъемлющее, всемірное, космическое, мистическое стремленіе. Лиза—изъ числа тѣхъ, для которыхъ оно возможно только на религіозной почвѣ. Въ этомъ—чисто-психологическомъ—смыслѣ я и говорю, что у Лизы религія составляетъ основу или опору ея нравственныхъ стремленій. Я вижу здѣсь проявленіе нѣкотораго психическаго ритма: чѣмъ выше подымается личность—какъ самодовлѣющее, замкнутое въ себѣ, самоопредѣляющееся « я »,—тѣмъ настойчивѣе скажется потребность привязать это « я » къ чему-нибудь внѣ его находящемуся, объективному. Сознаніе собственнаго достоинства и нравственная гордость человѣка ищутъ себѣ опоры или уравновѣшивающаго начала въ смиреніи, въ самоотреченіи. Если нравственныя струны души звучатъ въ унисонъ съ другими, напр. струнами альтруизма, честолюбія, увлеченія идеею и т. д.,—тогда въ созвучной игрѣ этихъ послѣднихъ онѣ найдутъ искомую гармонію, и внутренній міръ человѣка уравновѣсится психическими связями съ цѣлымъ, семьей, обществомъ, государствомъ, народомъ, наконецъ, народами. Это цѣлое непремѣнно должно быть живое, конкретное, надѣленное психической жизнью и способное поэтому войти въ психическія связи съ индивидуумомъ. Но если нравственныя струны души, обособившись ото всѣхъ другихъ, начнутъ звучать самостоятельно—чистыми, безпримѣсными, полными аккордами категорическаго императива, — тогда личность

Digitized by Google

не будетъ уже тяготѣть къ живому, конкретному цѣлому и не найдетъ, даже не будетъ искать уравновѣшенія въ живыхъ связяхъ съ людьми. Связи съ временнымъ, условнымъ, преходящимъ не въ состояніи уравновѣсить абсолютную автономію личности, возобладавшую силою обособленнаго дѣйствія нравственнаго начала. Этой безусловной автономіи должна быть противопоставлена зависимость личности отъ такого начала, которое личность признавала бы наивысшимъ, абсолютнымъ, вѣчнымъ. Этимъ началомъ можетъ быть или идея Божества въ одной изъ ея историческихъ формъ, или идея Космоса въ одной изъ ея философскихъ концепцій. Всегда, но въ разной мѣрѣ и въ различномъ смыслѣ, идея этого рода—мистична (или «супра-раціональна»), и потому и само психологическое тяготѣніе личности къ абсолютному началу легко можетъ получить (и въ большинствѣ случаевъ получаетъ) въ сознаніи человѣка мистическую окраску; въ виду супра-раціональности идеи Вѣчнаго, Безконечнаго, Безначальнаго, Безусловнаго, психологическая связь съ непознаваемымъ началомъ, которое за этою идеею скрывается, обыкновенно представляется человѣку супра-натуральной. Является ли она въ такомъ освѣщеніи, или нѣтъ, во всякомъ случаѣ она есть особый психическій процессъ, который, въ отличіе отъ другихъ, мы называемъ религіознымъ. Принимая въ соображеніе ту важную роль, которую въ этомъ процессѣ играетъ сознаніе, мы скажемъ такъ: когда человѣкъ пристально всматривается въ свое нравственное чувство и освѣщаетъ его свѣтомъ сознательной мысли, тогда эта сознательная мысль его обнаруживаетъ стремленіе увидѣть—либо Божество, либо Космосъ,—откуда между прочимъ возникаетъ психологически обоснованное, но логически необязательное умственное стремленіе приписывать самому нравственному началу супра-натуральное или трансцендентное происхожденіе.

Мы затронули очень сложный вопросъ. Въ «Приложеніи II» читатель найдетъ болѣе обстоятельное изложеніе моей мысли. Здѣсь-же вернемся къ Лизѣ.

Она пристально и «неотвратно» *) всматривалась въ свой нравственный міръ и освѣщала его тихимъ свѣтомъ своей дѣтски-чистой любви. И, движимая тѣмъ душевнымъ стремленіемъ, о которомъ мы только что говорили, она увидѣла Бога.

---

*) Выраженіе Тургенева (въ „Пѣснѣ торжествующей любви“).

Digitized by Google

Натура, цѣликомъ основанная на нравственномъ чувствѣ, она не могла отрѣшиться отъ постоянныхъ помысловъ о долгѣ и отдаться призыву другихъ побужденій, которымъ такъ подвластны обыкновенныя души человѣческія,—и была осуждена жить замкнутою въ своемъ личномъ мірѣ. А потому она не только увидѣла Бога, но и возлюбила Его всѣми силами своей чистой, женственной и наивной души. Это не было одно только созерцаніе Божества, это была всепоглощающая, восторженная, нѣжная, глубокая мистическая любовь.

И въ этой мистической любви къ Божеству сказались всѣ лучшія стороны женской натуры, воплощеніемъ которыхъ является Лиза. Представимъ себѣ эти стороны въ ихъ наивысшемъ развитіи, въ ихъ апоѳеозѣ, представимъ себѣ дѣвственную чистоту и цѣломудріе возвысившимися до полной свободы отъ власти обыкновенной, біо-психической женственности, женскую жалость и состраданіе — возведенными въ высшую любовь ко всему живому, нѣжность и кротость женской души—претворенными въ евангельское всепрощеніе,—вообразимъ все это,—и въ результатѣ мы получимъ какую то огромную силу, психическую энергію особаго рода, отмѣченную печатью идеальной, одухотворенной женственности.

По самой природѣ своей, эта сила въ высокой степени экспансивна. Она не можетъ обратиться внутрь и замкнуться въ индивидуальной сферѣ личности, какъ это дѣлаетъ нравственное чувство: въ противоположность послѣднему, она стремится выйти изъ личной сферы и ищетъ точки приложенія—внѣ индивидуума. Но этой точки приложенія она не найдетъ нигдѣ — кромѣ мистической религіи.

Перейти въ любовь къ отдѣльному человѣку и потомъ истратиться на семью—эта женственная душевная сила могла бы только подъ условіемъ самоограниченія, даже самоотрицанія: ей пришлось бы оставить не у дѣлъ цѣлую половину своихъ составныхъ элементовъ и, кромѣ того, воспринять въ себя нѣчто ей чуждое, напримѣръ, нѣкоторый эгоизмъ, способность къ исключительной привязанности къ любимому человѣку, къ своимъ дѣтямъ, и массу мелкихъ чувствъ, съ нею несовмѣстимыхъ. Не можетъ она также обратиться и къ служенію страждущему человѣчеству: перейдя въ дѣятельную любовь къ людямъ, она опять таки принуждена была бы измѣнить свой составъ и вступить въ союзъ съ нѣкоторыми чувствами и стремленіями, находящимися во вну-

Digitized by Google

треннемъ съ нею противорѣчіи. Служеніе человѣчеству, хотя бы исключительно на почвѣ благотворительности, всетаки предполагаетъ борьбу и ожесточеніе, напримѣръ, противъ тѣхъ, кто причиняетъ страданія людямъ. Объ иномъ—высшемъ—служеніи человѣчеству—на почвѣ общественной борьбы—и говорить нечего: душа Лизы непригодна для этой борьбы уже по тому одному, что она—не отъ міра сего.

Только въ религіозномъ подвигѣ найдетъ эта душевная сила исходъ себѣ, и въ Богѣ—точку приложенія. Въ этой сферѣ энергія идеальной женственности этого типа можетъ дѣйствовать и творить—не теряя ни одного изъ своихъ элементовъ и не воспринимая чуждыхъ себѣ.

Здѣсь осуществляется синтезъ началъ нравственнаго и религіознаго, и личность обрѣтаетъ несокрушимый покой души и высшее блаженство, доступное только избраннымъ, религіознымъ по призванію, натурамъ, мистическое счастье, котораго нельзя ни отнять, ни отравить, ни опошлить.

Digitized by Google

ГЛАВА VIII.

I.

Разбирая женскіе типы Тургенева, мы оставляли до сихъ поръ въ сторонѣ вопросъ о томъ, при помощи какихъ художественныхъ пріемовъ они воспроизведены. Нѣсколько замѣчаній въ этомъ смыслѣ, сдѣланныхъ въ главѣ о Зинаидѣ («Первая любовь»), въ счетъ не идутъ.

Обойти этотъ вопросъ въ трудѣ, посвященномъ изученію Тургеневскаго творчества, было бы непростительнымъ упущеніемъ. Для восполненія такого пробѣла я считаю достаточнымъ разсмотрѣть съ нѣкоторыми подробностями художественное изображеніе одного изъ важнѣйшихъ женскихъ типовъ, созданныхъ Тургеневымъ,—именно такого, который по праву можетъ считаться типичнымъ образчикомъ художественной манеры Тургенева. Къ числу таковыхъ несомнѣнно принадлежитъ образъ Лизы. Въ предыдущей главѣ мы разсмотрѣли этотъ образъ по существу, т. е. со стороны идей, для апперцепціи которыхъ онъ можетъ служить; теперь мы постараемся изслѣдовать его со стороны тѣхъ художественныхъ пріемовъ, силою которыхъ онъ былъ созданъ. И, быть можетъ, нашъ анализъ послужитъ къ устраненію иллюзіи, въ которую нерѣдко впадаютъ многіе, читая и перечитывая Тургенева: имъ кажется, будто созданіе извѣстнаго образа (напр. Лизы) не стоило автору большого труда, будто образъ создался скорѣе силою «вдохновенія», чѣмъ—упорной работы мысли. Трудящійся авторъ, погруженный въ анализъ, задумывающійся надъ тѣмъ, какъ бы лучше изобразить, какъ оттѣнить, какими красками написать, какой взять тонъ и т. д., совсѣмъ не виденъ читателю. Оттуда, между прочимъ, мнѣніе, которое иногда приходится слышать, будто Тургеневъ, сравнительно съ Толстымъ, художникъ «поверхностный», не идущій въ глубь вещей, создающій образы прелестные, но не основанные на глубо-

Digitized by Google

комъ изученіи людей и жизни. Такое сужденіе можетъ быть опровергнуто только анализомъ Тургеневскихъ образовъ по существу, т. е. со стороны ихъ содержанія. Это мы и дѣлали до сихъ поръ. Иллюзія легкости творчества, иллюзія отсутствія труда, направленнаго на самое изображеніе типовъ, разрушится, если мы изъ роли читателя перейдемъ въ роль изслѣдователя и постараемся вникнуть въ тѣ художественные пріемы, которые примѣнены авторомъ въ томъ или другомъ случаѣ. Мы убѣдимся тогда, что все здѣсь строго обдумано, тщательно взвѣшено и тонко соображено, что на это дѣло потрачено много упорнаго труда—художественной мысли.

Лиза появляется впервые въ концѣ главы III-й: Паншинъ, сойдя съ лошади, вбѣгаетъ въ комнату и «въ то же время на порогѣ другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая дѣвушка лѣтъ 19-ти,—старшая дочь Марьи Дмитріевны, Лиза». Затѣмъ только въ главѣ VI-й мы нѣсколько знакомимся съ Лизой на основаніи ея разговора съ Паншинымъ и съ Леммомъ по поводу кантаты, сочиненной послѣднимъ. Изъ немногихъ словъ, сказанныхъ здѣсь Лизою, мы выносимъ извѣстное впечатлѣніе, заставляющее насъ подозрѣвать, что это—дѣвушка не совсѣмъ обыкновенная, что въ ея натурѣ есть нѣчто особенное, нѣкоторая, пока еще невѣдомая, глубина, соединенная съ простотою и ясностью души. Такое впечатлѣніе не осуществилось-бы, если-бы эта сцена была помѣщена раньше, если-бы ей не предшествовали главы IV-я, заключающая въ себѣ характеристику Паншина, и въ особенности—V-я цѣликомъ посвященная Лемму. Эти двѣ главы, въ которыхъ Лиза отсутствуетъ, имѣютъ огромное значеніе именно для постепеннаго и незамѣтнаго созданія въ мысли читателя образа Лизы. Обѣ характеристики—Паншина и Лемма—въ этихъ двухъ коротенькихъ главкахъ, можно сказать, закончены, и въ распоряженіи читателя такимъ образомъ оказываются двѣ извѣстныя величины. Глава VI-я (объясненіе Лизы съ Паншинымъ и Леммомъ по поводу кантаты) указываетъ намъ на отношеніе къ этимъ двумъ уже извѣстнымъ величинамъ третьей—неизвѣстной, Лизы. Получается родъ художественнаго силлогизма или уравненія, подсказывающаго читателю, незамѣтно для него самого, опредѣленіе Лизы. Это «подсказываніе» начинается уже въ концѣ главы V-й. Изъ пре-

Digitized by Google

дыдущихъ двухъ страницъ ея мы узнаемъ, что такое Леммъ; мы выносимъ убѣжденіе, что это—умственная и нравственная величина весьма значительная. «Поклонникъ Баха и Генделя (читаемъ мы), знатокъ своего дѣла, одаренный живымъ воображеніемъ и той смѣлостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Леммъ со временемъ—кто знаетъ?—сталъ-бы въ ряду великихъ композиторовъ своей родины, если-бы жизнь иначе его повела: но не подъ счастливой звѣздой онъ родился!...» Такъ вотъ въ концѣ этой главы намъ даютъ понять, что этотъ замѣчательный человѣкъ высоко цѣнитъ Лизу. Намъ этого не говорятъ прямо, а заставляютъ насъ самихъ сдѣлать, и притомъ безсознательно, такое заключеніе, которое и является немаловажнымъ «штрихомъ» въ дѣлѣ постепеннаго возникновенія въ нашемъ воображеніи образа Лизы. Сказано лишь, что Леммъ «давно ничего не сочинялъ; но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умѣла его расшевелить: онъ написалъ для нея кантату...» Свѣдѣнія объ этой кантатѣ (надпись и посвященіе: «только праведные правы» и т. д. и приписка „für Sie allein“) дорисовываютъ до конца тотъ «штрихъ», о которомъ мы говоримъ. Читая все это, читатель не думаетъ о Лизѣ, онъ думаетъ только о Леммѣ, о которомъ и идетъ рѣчь, и потому не догадывается, что эти черточки не только служатъ для характеристики Лемма, но очень важны для дальнѣйшаго выясненія натуры Лизы. Это нисколько не мѣшаетъ этимъ черточкамъ дѣлать свое дѣло, и образъ Лизы начинаетъ нечувствительно складываться въ головѣ читателя. Безъ всякаго сомнѣнія, такая группировка чертъ, такое освѣщеніе Лизы свѣтомъ, отраженнымъ отъ Лемма, вышли не сами собою: здѣсь виденъ тонкій разсчетъ художника. Не случайно также, а преднамѣренно такъ рѣзко противупоставлены Леммъ и Паншинъ, и Леммъ впервые выведенъ на сцену въ главѣ IV-й, тотчасъ послѣ Паншинскаго романса: «...всѣмъ присутствовавшимъ очень понравилось произведеніе молодого диллетанта: но за дверью гостинной въ передней стоялъ только что пришедшій уже старый человѣкъ, которому, судя по выраженію его потупленнаго лица и движеніямъ плечей, романсъ Паншина, хотя и премиленькій, не доставилъ удовольствія...» Въ виду художественнаго удобства появленія Лемма какъ разъ въ этотъ моментъ, нѣсколько нарушенъ принятый (очевидно, съ разсчетомъ на извѣстный художественный

Digitized by Google

эффектъ) въ первыхъ главахъ порядокъ появленія новыхъ лицъ въ самомъ концѣ главы *).

Въ главѣ VII-й даны еще двѣ—три незамѣтныя черточки, которыя однакоже западаютъ мимоходомъ въ голову читателя и, присоединяясь къ прежнимъ, подвигаютъ впередъ характеристику Лизы. Это именно замѣчаніе Лаврецкаго, что у Лизы еще восемь лѣтъ тому назадъ, когда онъ въ послѣдній разъ ее видѣлъ,—было «такое лицо, котораго не забываешь», и далѣе—объясненіе съ Паншинымъ въ концѣ главы. Отмѣтимъ также, что въ этой главѣ впервые примѣненъ пріемъ, который мы встрѣтимъ не разъ въ дальнѣйшемъ, а именно—глава заканчивается «нѣмой картиной»: внизу, на порогѣ гостинной, Паншинъ объясняется въ любви Лизѣ, которая «ничего не отвѣчала ему...», а на верху, въ комнатѣ Марѳы Тимоѳеевны, сидѣлъ Лаврецкій; «старушка, стоя передъ нимъ, изрѣдка и молча гладила его по волосамъ... Онъ ничего не сказалъ своей старинной доброй пріятельницѣ, и она его не разспрашивала... Да и къ чему было говорить, о чемъ разспрашивать? Она и такъ все понимала, она и такъ сочувствовала всему, чѣмъ переполнялось его сердце».

Съ VIII-й главы и до XVI-й включительно идетъ большое (можетъ быть, слишкомъ большое) отступленіе, гдѣ излагается прошлое Лаврецкаго и вообще исторія «дворянскаго гнѣзда» Лаврецкихъ.

Нить прерваннаго разсказа возстановляется съ главы XVII-й. Лаврецкій встрѣчаетъ Лизу, идущую въ церковь, и изъ короткаго разговора съ нею узнаетъ, что Лиза религіозна. Онъ проситъ ее помолиться и за него. «Лиза остановилась и обернулась къ нему.—Извольте, сказала она, прямо глядя ему въ лицо:—я помолюсь и за васъ...» Это опять одинъ изъ тѣхъ незамѣтныхъ, при бѣгломъ чтеніи легко ускользающихъ отъ вниманія читателя, штриховъ, которые, однакоже, присоединяясь ко множеству другихъ, имъ подобныхъ, созидаютъ въ воображеніи читателя образъ Лизы и вмѣстѣ съ тѣмъ постоянно плетутъ психологи-

*) Въ концѣ первой главы является Гедеоновскій, въ концѣ II-й—Паншинъ, въ концѣ III-й—Лиза, въ IV-й—страницей выше конца—Леммъ, въ самомъ концѣ VI-й—Лаврецкій. (V-я повѣствуетъ о Леммѣ и является первымъ изъ трехъ отступленій повѣствовательнаго и объяснительнаго характера: второе о Лаврецкомъ, третье о Лизѣ. Объ этихъ отступленіяхъ будетъ рѣчь ниже).

Digitized by Google

ческую нить взаимныхъ отношеній Лизы и Лаврецкаго. Читатель могъ и не остановиться на этихъ двухъ строчкахъ, но онѣ заронили ему въ голову увѣренность или готовность думать, что Лиза глубоко религіозна, что для нея молитва—дѣло серьезное. И въ этихъ словахъ Лизы («извольте, я помолюсь и за васъ»), въ тонѣ, съ которымъ они были сказаны (авторъ даетъ намъ почувствовать этотъ тонъ), Лаврецкій долженъ былъ почуять проявленіе души глубокой и своеобразной. Но, подобно читателю, и Лаврецкій еще далекъ отъ полнаго и надлежащаго пониманія Лизы,—онъ только подготовляется къ таковому, невольно и постепенно подчиняясь обаянію этой чистой и высокой души.

Послѣ этой коротенькой сценки Лиза появляется впервые только въ главѣ XXIII*),—тѣмъ не менѣе на протяженіи этихъ главъ XVII—XXIII ея образъ значительно выясняется, и мозаичная работа его созиданія далеко подвигается впередъ. Такой результатъ достигнутъ указаніями на то, какъ думаютъ о Лизѣ, какъ понимаютъ ее, какъ относятся къ ней другія лица, уже извѣстныя читателю, а именно Марѳа Тимоѳеевна, Лаврецкій и въ особенности Леммъ. Первая вноситъ свою лепту въ это трудное, кропотливое дѣло созиданія образа Лизы—высказывая Лаврецкому (въ гл. XVII) свое рѣзко отрицательное отношеніе къ личности и сватовству Паншина. На вопросъ Лаврецкаго: «ну, а Лиза къ нему неравнодушна?»—она отвѣчаетъ, невольно попадая въ тонъ настроенія Лаврецкаго: «кажется, онъ ей нравится,—а, впрочемъ, Господь ее вѣдаетъ! Чужая душа, ты знаешь, темный лѣсъ, а дѣвичья и подавно»,—на что Лаврецкій замѣчаетъ: «да, дѣвичью душу не разгадаешь». Это даетъ направленіе мыслямъ Лаврецкаго о Лизѣ въ слѣдующей XVIII главѣ (на пути въ деревню): «вотъ—думалъ онъ—новое существо только что вступаетъ въ жизнь. Славная дѣвушка, что-то изъ нея выйдетъ. Она и собой хороша. Блѣдное, свѣжее лицо, глаза и губы такіе серьезные, и взглядъ честный и невинный. Жаль, она, кажется, восторжена немножко. Ростъ славный, и такъ легко ходитъ, и голосъ тихій. Очень я люблю, когда она вдругъ остановится, слушаетъ со вниманіемъ, безъ улыбки, потомъ задумается и откинетъ назадъ свои волосы...» Кстати замѣтить, даже наружность Лизы описана Тургеневымъ не такъ, какъ въ большинствѣ слу-

*) Ея присутствіе въ главѣ XXI въ счетъ не идетъ.

Digitized by Google

чаевъ описывается у него наружность другихъ героинь: портретъ Лизы не данъ сразу, а отдѣльныя его черты, будто случайно, разбросаны въ разныхъ мѣстахъ романа. Здѣсь, въ гл. XVIII, впервые послѣ очень краткаго указанія на внѣшность героини, сдѣланнаго въ концѣ главы III, даны—въ размышленіяхъ Лаврецкаго—дополнительныя черты.

Отношеніе Лаврецкаго къ Лизѣ приблизительно такое же, какъ и отношеніе къ ней читателя: для Лаврецкаго она пока еще загадка, величина неизвѣстная; но въ этой неизвѣстной величинѣ онъ уже прозрѣваетъ нѣчто значительное и своеобразное,—натуру, полную чарующей прелести и глубокаго интереса. И для него, какъ и для читателя, въ цѣляхъ выясненія этой натуры, ея глубины, ея обаянія, дружно работаютъ другія лица, одни прямо, другія косвенно. Но важнѣе всего въ этомъ отношеніи роль Лемма. Въ «построеніе Лизы» онъ вноситъ элементъ творческій, поэтическій, музыкальный. Намеки въ этомъ смыслѣ попадались и раньше (кантата, музыка въ гл. XXI), но только съ главы XXII-й Леммъ окончательно выступаетъ въ этой роли. Я имѣю въ виду коротенькую, но прелестную сцену въ дорогѣ (Лаврецкій и Леммъ ѣдутъ въ деревню), которую я попрошу читателя возстановить въ памяти. При этомъ необходимо припомнить послѣднія строки предыдущей XXI-й главы: «Даже сидя въ коляскѣ, старикъ продолжалъ дичиться и ежиться, но тихій, теплый воздухъ, легкій вѣтерокъ, легкія тѣни, запахъ травы, березовыхъ почекъ, мирное сіяніе безлуннаго звѣзднаго неба, дружный топотъ и фырканье лошадей, всѣ обаянія дороги, весны, ночи—спустились въ душу бѣднаго нѣмца, и онъ самъ первый заговорилъ съ Лаврецкимъ». Послѣ этого и идетъ XXII глава, начинающаяся словами: «Онъ сталъ говорить о музыкѣ, о Лизѣ, потомъ опять о музыкѣ. Онъ какъ будто медленнѣе произносилъ слова, когда говорилъ о Лизѣ». Глава заключаетъ въ себѣ всего 2 страницы, которыя можно резюмировать такъ: Леммъ, этотъ необыкновенный человѣкъ, несчастный и трогательный старикъ, размечтался о «музыкѣ и о Лизѣ» и, въ приливѣ неопредѣленныхъ вдохновеній, поэтизируетъ: «Вы, звѣзды! О вы, чистыя звѣзды!» Изъ этихъ вдохновеній пока ничего не выходитъ, но для читателя и для Лаврецкаго эти варіаціи старика о звѣздахъ, о невинныхъ сердцемъ, о любви, даютъ въ результатѣ своеобразную психологическую ассоціацію, въ составъ которой входитъ и образъ Лизы. Отъ стараго музыканта и «поэта въ

Digitized by Google

душѣ» падаетъ на эту все еще загадочную фигуру своеобразное освѣщеніе, которое въ главѣ XXIII еще усиливается—тирадою Лемма по поводу предполагаемой любви Лизы къ Паншину: «Нѣтъ, горячится старикъ, она его не любитъ, т. е. очень чиста сердцемъ и не знаетъ сама, что это значитъ—любить... Она можетъ любить одно прекрасное, а онъ не прекрасенъ, т. е. душа его не прекрасна». – «Дражайшій маэстро! воскликнулъ вдругъ Лаврецкій:—мнѣ сдается, что вы сами влюблены въ мою кузину.—Леммъ вдругъ остановился.—«Пожалуйста, началъ онъ невѣрнымъ голосомъ,—не шутите такъ надо мною. Я не безумецъ: я въ темную могилу гляжу, не въ розовую будущность».

Для читателя и для Лаврецкаго эта ассоціація служитъ важною подготовкою для встрѣчи Лизы въ слѣдующихъ главахъ, начиная съ XXIV-й. Неизвѣстная величина начинаетъ понемногу выясняться,—душа загадочной дѣвушки постепенно раскрывается передъ нами. Въ главѣ XXIV-й мы находимъ сравнительно длинный разговоръ Лаврецкаго съ Лизой нѣсколько интимнаго характера—объ отношеніяхъ Лаврецкаго къ женѣ. Этому разговору, гдѣ ярко выступаетъ глубокая религіозная и нравственная убѣжденность Лизы, предшествуютъ слѣдующія строки: «Они разговорились; она успѣла уже привыкнуть къ нему,—да она и вообще никого не дичилась *). Онъ слушалъ ее, глядѣлъ ей въ лицо и мысленно твердилъ слова Лемма, соглашался съ нимъ. Случается иногда, что два уже знакомыхъ, но не близкихъ другъ другу человѣка внезапно и быстро сближаются въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній,—и сознаніе этого сближенія тотчасъ выражается въ ихъ взглядахъ, въ ихъ дружелюбныхъ и тихихъ усмѣшкахъ, въ самыхъ ихъ движеніяхъ. Именно это случилось съ Лаврецкимъ и Лизой. «Вотъ онъ какой», подумала она, ласково глядя на него; «вотъ ты какая», подумалъ и онъ.—Разъ это сближеніе и взаимное довѣріе было почувствовано ими, Лиза не колеблясь сама первая заговорила на щекотливую тему о супружескихъ отношеніяхъ Лаврецкаго. Изъ всего разговора ясно видно, что Лизою руководило вовсе не любопытство, столь свойственное женщинамъ, не соблазнъ пикантной темы для бесѣды,—а чистый порывъ глубоко-убѣжденнаго человѣка—указать другому, воз-

*) Опять, какъ бы невзначай, но съ несомнѣннымъ намѣреніемъ вставленное замѣчаніе, не лишенное значенія для пониманія Лизы: Лиза молчалива и сосредоточена, не экспансивна, но она не—«дичокъ».

Google

буждающему симпатію и состраданіе, правильный путь, вызвать въ немъ извѣстныя чувства—жалости, желаніе простить—по отношенію къ женѣ, хотя бы и виновной. Отмѣтимъ также одну характерную черту Лизы, проявляющуюся какъ тутъ, такъ и въ другихъ мѣстахъ: это—своеобразная и непреклонная, несговорчивая логика христіански-убѣжденнаго ума, ненарушимо стоящаго на устояхъ этики всепрощенія, примиренія, покорности и безропотности въ несчастіи. Этотъ разговоръ не былъ тихой, задушевной бесѣдой, это былъ споръ, при чемъ Лаврецкій даже сердился и топалъ ногою. И, конечно, изъ этого спора онъ, какъ и мы, читатели, долженъ былъ вынести убѣжденіе въ томъ, что въ характерѣ Лизы, этой кроткой, женственно-нѣжной натуры, скрывается особое душевное начало, стойкое и неуклонное, какъ логика, неумолимое, какъ религіозный кодексъ, безповоротное, какъ категорическій императивъ нравственнаго.

Минуя главу XXV, заключающую въ себѣ несравненный эпизодъ о несравненномъ Михалевичѣ, переходимъ къ слѣдующей главѣ XXVI-й, гдѣ образъ Лизы, наконецъ, дорисовывается и выступаетъ въ полномъ обаяніи всѣхъ чаръ своей глубокой непосредственности, своей умной наивности.

Марья Дмитріевна съ дочерьми—въ гостяхъ у Лаврецкаго, въ деревнѣ. Лаврецкій и Лиза на плотинѣ—чудный сюжетъ для художника-живописца. «Лаврецкій глядѣлъ на ея чистый, нѣсколько-строгій профиль, на заткнутые за уши волосы, на нѣжныя щеки, которыя загорѣли у ней, какъ у ребенка,—и думалъ: о, какъ мило стоишь ты надъ моимъ прудомъ!»—Въ разговорѣ съ Лаврецкимъ опять обнаруживается—мимоходомъ, словно невзначай—то религіозное начало въ Лизѣ, о которомъ мы только-что говорили. Здѣсь находятся знаменитыя слова Лизы, что «христіаниномъ нужно быть не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть!» Тутъ же мы узнаемъ, что Лиза часто думаетъ о смерти. Наконецъ, замѣчаніе въ концѣ главы объ умѣ Лизы и ея наивный отвѣтъ: «Право? А я такъ думала, что у меня, какъ у моей горничной Насти, своихъ словъ нѣтъ»,—окончательно возсоздаютъ въ нашемъ воображеніи подлинный образъ Лизы. Съ этого момента мы и Лаврецкій ее знаемъ.

Digitized by Google

II.

Отношенія Лизы и Лаврецкаго, какъ они до сихъ поръ сложились, были отношеніями взаимнаго довѣрія и дружбы, нѣсколько осложненной все возроставшимъ интересомъ другъ къ другу. Лаврецкій видѣлъ въ Лизѣ натуру не совсѣмъ обыкновенную, и Лиза отличала Лаврецкаго отъ другихъ мужчинъ. Завязывались тѣ душевныя связи, изъ которыхъ современемъ могло развиться болѣе живое и страстное чувство. Это развитіе было значительно ускорено неожиданнымъ извѣстіемъ о смерти жены Лаврецкаго (гл. XXVII). Оттуда—рѣзкая перемѣна въ настроеніи нашего героя. Извѣстіе поразило его, взволновало, выбило изъ колеи и, главное,—обрадовало. Онъ почуялъ свободу и возможность новой любви и счастья. Но какъ отразилось это извѣстіе на Лизѣ? Это мы узнаемъ изъ главы XXIX-й, гдѣ въ длинномъ разговорѣ Лаврецкаго съ Лизой на тему о предполагаемой покойницѣ, о «прощеніи», о счастьи, о Паншинѣ—ярко обрисовывается натура Лизы вообще и ея душевное состояніе въ данную минуту. Прелюдіею къ этому—очень важному въ структурѣ всего романа—мѣсту служатъ слѣдующія строки въ концѣ предыдущей XXVIII-й главы: «Лиза пришла въ гостинную и сѣла въ уголъ; Лаврецкій посмотрѣлъ на нее, она на него посмотрѣла,—и обоимъ стало жутко. Онъ прочелъ недоумѣніе и какой-то тайный упрекъ на ея лицѣ...» Вотъ именно въ разговорѣ главы XXIX-й Лизою явно руководитъ желаніе выяснить свои недоумѣнія и высказать Лаврецкому тотъ упрекъ, который онъ наканунѣ прочелъ на ея лицѣ. Оттуда, такъ сказать, активная роль Лизы въ этой бесѣдѣ. Она ведетъ разговоръ, она задаетъ вопросы и требуетъ отвѣтовъ, она допрашиваетъ и почти обвиняетъ Лаврецкаго. Уже раньше она догадывалась, что неожиданное извѣстіе обрадовало Лаврецкаго, что въ глубинѣ души онъ ликуетъ по случаю смерти жены,—и вотъ эта-то догадка и повергаетъ ее въ недоумѣніе. Она не можетъ согласовать несомнѣнной для нея грѣховности и жестокости такого чувства съ сложившимся уже у нея представленіемъ о Лаврецкомъ, какъ о человѣкѣ нравственно-чистомъ, сердечномъ, добромъ. «Скажите, допрашиваетъ она:—вы не огорчены?—Нисколько?»—«Я самъ не знаю, что я чувствую», уклончиво отвѣчаетъ подсудимый.—«Но вѣдь вы ее любили прежде?—Любилъ.—Очень?—Очень.—И не огорчены ея смертью?—Она не теперь для меня умерла»,—опять

Digitized by Google

уклончивый отвѣтъ, послѣ котораго слѣдуетъ вердиктъ: «Это грѣшно, что̀ вы говорите... Не сердитесь на меня. Вы меня назвали своимъ другомъ: другъ все можетъ говорить. Мнѣ, право, даже страшно... Вчера у васъ такое нехорошее было лицо... Помните, недавно, какъ вы жаловались на нее? А ея уже тогда, можетъ быть, на свѣтѣ не было. Это страшно. Точно это вамъ въ наказаніе послано». Недоумѣніе Лизы отчасти разъяснено, упрекъ высказанъ, но она все еще не удовлетворена. Лаврецкій оказывается ниже ея идеала. Онъ грѣшникъ. Теперь ему слѣдуетъ не радоваться, не ликовать, а каяться и молить Бога о прощеніи. Лиза это и высказываетъ ему: за вердиктомъ слѣдуетъ эпитимія.

До сихъ поръ, задавая вопросы, требуя отвѣта, выражая свои упреки, Лиза сохраняетъ самообладаніе и спокойствіе духа. Она смѣло высказываетъ свои мысли и, основываясь на правахъ дружбы, исходя изъ живого сочувствія къ положенію Лаврецкаго, не боится даже затрогивать очень щекотливые пункты (напр. о будущности дочери, которую Лаврецкій не признаетъ своею). Это спокойствіе Лизы, очевидно, обусловлено тѣмъ, что она еще не влюблена въ Лаврецкаго и даже не знаетъ о томъ чувствѣ, которое она уже внушила ему. Какъ только она узнаетъ это, или по крайней мѣрѣ начнетъ подозрѣвать,—покой ея души, ясность ея мысли будутъ нарушены. Вотъ это-то и случилось тутъ же, въ теченіе разговора, который мы анализируемъ, когда Лаврецкій сказалъ, что онъ былъ бы, вѣроятно, болѣе огорченъ смертью жены, еслибы получилъ это извѣстіе двумя недѣлями раньше. «Двумя недѣлями? возразила Лиза.—Да что-жъ такое случилось въ эти двѣ недѣли?—Лаврецкій ничего не отвѣчалъ, а Лиза вдругъ покраснѣла еще пуще прежняго.—Да, да, вы угадали,—подхватилъ внезапно Лаврецкій:—въ теченіе этихъ двухъ недѣль я узналъ, что значитъ чистая женская душа, и мое прошедшее еще дальше отъ меня отодвинулось». Затѣмъ слѣдуютъ признаніе Лизы относительно ея чувствъ къ Паншину и горячія рѣчи Лаврецкаго, убѣждающаго Лизу не выходить замужъ безъ любви, въ особенности—за Паншина, который недостоинъ ея. Вотъ тутъ то Лиза и догадывается, что она помимо воли зажгла въ Лаврецкомъ чувство болѣе страстное, чѣмъ дружба. Это открытіе дѣйствуетъ на нее потрясающимъ образомъ—тѣмъ болѣе, что и въ себѣ она сознаетъ возможность возникновенія такого же чувства къ Лаврецкому. Въ перспективѣ ей открывается неиз-

Digitized by Google

бѣжность роковой коллизіи между влеченіемъ сердца и ея религіозными убѣжденіями. И вотъ почему на слова Лаврецкаго «не правда ли, вы обѣщаете мнѣ не спѣшить (замужествомъ)»,— «она ни слова не вымолвила—не оттого, что она рѣшилась «спѣшить», но оттого, что сердце у ней слишкомъ сильно билось, и чувство, похожее на страхъ, захватило дыханіе». Этимъ и заканчивается глава XXIX-я, представляющая собою, какъ видно изъ вышесказаннаго, поворотный пунктъ въ развитіи романа и въ особенности въ душевной исторіи Лизы. «Дворянское гнѣздо», можно сказать, дѣлится на двѣ части: первая, изображающая Лизу въ состояніи душевной ясности и уравновѣшенности, заканчивается главой XXIX-й, и отъ нея начинается вторая часть, рисующая полную глубокаго трагизма коллизію въ душѣ Лизы, когда ея внутренній міръ былъ нарушенъ любовью, и тѣмъ громче, тѣмъ настойчивѣе заговорили ея религіозныя и нравственныя стремленія.

Постепенное развитіе этой коллизіи очерчено намеками,— въ главѣ XXX-й бѣглымъ, какъ бы подавленнымъ разговоромъ (у фортепьяно), въ главѣ XXXI-й—сценою въ церкви, гдѣ между прочимъ видно, что Лаврецкій отчасти подчинился религіозному вліянію Лизы: «Онъ взглянулъ на Лизу... Ты меня сюда привела, подумалъ онъ:—коснись же меня, коснись моей души». Она все такъ же тихо молилась; лицо ея показалось ему радостнымъ, и онъ умилился вновь, онъ попросилъ другой душѣ—покоя, своей—прощенія...»—Намеки главы XXXII-й заключены въ слѣдующемъ разговорѣ: «Вы прочли эту книгу?—спрашиваетъ Лаврецкій.— Нѣтъ, мнѣ теперь не до книгъ,—отвѣчала она и хотѣла уйти.— Постойте на минуту; я съ вами давно не былъ наединѣ. Вы словно боитесь меня.—Да.—Отчего же, помилуйте?—Не знаю...— Скажите, вы еще не рѣшились?—Что вы хотите сказать? промолвила она, не поднимая глазъ.—Вы понимаете меня.—Лиза вдругъ вспыхнула.—Не спрашивайте меня ни о чемъ, произнесла она съ живостью:—я ничего не знаю, я сама себя не знаю... И она тотчасъ же удалилась».—Въ сценѣ у Калитиныхъ, послѣ молебствія (конецъ той же главы), «Лаврецкій подсѣлъ было къ Лизѣ, но она держалась строго, почти сурово и ни разу не взглянула на него. Она какъ будто съ намѣреніемъ его не замѣчала; какая то холодная, важная восторженность нашла на нее... Онъ чувствовалъ: что-то было въ Лизѣ, куда онъ проникнуть не могъ».

Digitized by Google

Таковы симптомы глухой борьбы, происходившей въ душѣ Лизы. Она уже знала, что онъ ее любитъ, и считала это несчастьемъ и грѣхомъ; она уже начинала сознавать и въ себѣ зарожденіе любви къ нему, и это чувство казалось ей чѣмъ-то въ родѣ паденія, преступленія, святотатственнаго нарушенія завѣтовъ религіи и нравственности. Но въ то-же время она не могла не знать, что это чувство по-своему чисто и свято, что въ немъ нѣтъ ничего грязнаго, ничего грѣховнаго. Манящая прелесть зарождающагося чувства, чарующая поэзія первой любви уже овладѣвали душою Лизы,—и не знала она, какъ сладить съ этимъ обаяніемъ, какъ вырвать это чувство,—да и въ самомъ ли дѣлѣ такъ уже необходимо вырывать его? А что—если оно ниспослано свыше? Но для чего: для искушенія, для испытанія, или для счастья, для радостей земныхъ? Какъ рѣшить этотъ вопросъ, гдѣ найти отвѣтъ? Для Лизы ясно: нужно обратиться къ Богу, нужно молиться Ему: Онъ укажетъ.—Она любила и молилась.

Любовь, осложненная молитвою,—это совсѣмъ особая любовь, къ которой способны только такія натуры, какъ Лиза,—любовь, въ которой замѣшано третье лицо—Божество. Это лицо—не равнодушный зритель, не холодный созерцатель. Оно принимаетъ живое участіе въ душевной коллизіи героини и можетъ позволить и воспретить, поощрить и покарать. Оно позволило въ главѣ XXXII-й Лаврецкому разбить Паншина въ словесномъ турнирѣ «по всѣмъ пунктамъ» и дало Лизѣ почувствовать, что «оба они (Лиза и Лаврецкій) и любятъ, и не любятъ одно и то-же» (гл. XXXIV). По окончаніи турнира, они, «словно сговорившись, оба встали и помѣстились возлѣ Маѳы Тимоѳеевны. Имъ сдѣлалось вдругъ такъ хорошо обоимъ, что они даже побоялись остаться вдвоемъ,—и въ то-же время они почувствовали оба, что испытанное ими въ послѣдніе дни смущеніе исчезло и не возвратится болѣе...» Глава (XXXIII) оканчивается «картиною»: «Все затихло въ комнатѣ, слышалось только слабое потрескиваніе восковыхъ свѣчей... да широкой волной вливалась въ окна, вмѣстѣ съ росистой прохладой, могучая, до дерзости звонкая пѣснь соловья».— Затѣмъ идетъ удивительное, въ поэтическомъ отношеніи, изображеніе—въ главѣ XXXIV-й—апоѳеоза любви Лаврецкаго и Лизы. «Они сидѣли возлѣ Маѳы Тимоѳеевны и, казалось, слѣдили за ея игрой (въ карты)..., а между тѣмъ у каждаго изъ нихъ сердце росло въ груди, и ничего для нихъ не пропадало: для нихъ пѣлъ соловей, и звѣзды горѣли, и деревья тихо шептали, убаюканныя

Digitized by Google

и сномъ, и нѣгой лѣта, и тепломъ. Лаврецкій отдавался весь увлекавшей его волнѣ—и радовался; но слово не выразитъ того, что происходило въ чистой душѣ дѣвушки: оно было тайной для нея самой; пусть же останется оно и для всѣхъ тайной. Никто не знаетъ, никто не видѣлъ и не увидитъ никогда, какъ, призванное къ жизни и процвѣтанію, наливается и зрѣетъ зерно въ лонѣ земли».

Для надлежащей оцѣнки художественнаго образа Лизы, необходимо вникнуть въ настоящій смыслъ этихъ строкъ.

III.

Эти поэтическія строки отнюдь не должны быть разсматриваемы, какъ одна изъ столь обычныхъ въ изящной литературѣ стилистическихъ прикрасъ въ описаніяхъ любви,—какъ родъ общаго мѣста, которое легко могло бы быть перенесено изъ одного романа въ другой и вездѣ было бы кстати.

Сущность разбираемой мысли Тургенева сводится къ указанію на таинственность, на мистичность зарожденія любви въ душѣ Лизы. Дѣло идетъ спеціально о Лизѣ, какъ художественномъ типѣ, т. е., во-первыхъ, объ индивидуальной Лизѣ, героинѣ «Дворянскаго Гнѣзда», и во-вторыхъ обо всѣхъ тѣхъ женскихъ натурахъ, которыя ей сродни, которыхъ обобщеніемъ или представителемъ служитъ образъ, созданный Тургеневымъ. Не всякая любовь, женская или мужская, таинственна, не всегда ея зарожденіе мистично. Душевное состояніе, его выражающее, зачастую можетъ быть съ большею или меньшею точностью опредѣлено и выражено словами или художественными образами. Вотъ напр. соотвѣтственное душевное состояніе Лаврецкаго вполнѣ опредѣлимо. Но не таково зарожденіе любви у Лизы: у нея оно дѣйствительно загадочно, — первые всходы ея чувства такъ своеобразны и такъ глубоко скрыты въ тончайшихъ извилинахъ ея чистой и высокой души, что этотъ процессъ, въ ней происходящій, остается тайной для нея самой, и слово человѣческое, даже слово великаго художника, не найдетъ для него другого опредѣленія, кромѣ отрицательнаго, «агностическаго». — Такова мысль Тургенева.

Посмотримъ, справедлива ли она.

Вообще говоря, любовь, т. е. состояніе влюбленности, не принадлежитъ къ числу наиболѣе загадочныхъ или таинствен-

ныхъ явленій психики. Она представляется мистичною развѣ только въ томъ смыслѣ, въ какомъ мистично все на свѣтѣ: и матерія, и сила, и законы природы, и міръ психическій, и весь космосъ. Но оставляя въ сторонѣ эту общую всему сущему мистичность, мы скажемъ, что въ сферѣ психической есть рядъ явленій, во многихъ отношеніяхъ несравненно болѣе таинственныхъ, чѣмъ любовь. Это именно — явленіе отвлеченной мысли, загадочность которой обусловлена, между прочимъ, тѣмъ, что она—высшее, послѣднее въ эволюціонной цѣпи проявленіе психики, уже очень далеко отошедшее отъ тѣхъ простѣйшихъ душевныхъ явленій, изъ которыхъ оно развилось. Вотъ именно эта удаленность, вмѣстѣ съ трудностью, иногда невозможностью уловить посредствующія звенья, и придаетъ явленію отпечатокъ относительной «мистичности». Самый процессъ зарожденія мысли, возникновенія понятій, созданія идей, по своей сложности, быстротѣ и кажущейся самопроизвольности, наконецъ, по своей сокровенности и недоступности для изслѣдованія — этотъ процессъ дѣйствительно исполненъ глубокой тайны, и къ нему то скорѣе, чѣмъ къ любви, можно примѣнить тургеневскую метафору: «никто не знаетъ, никто не видѣлъ и не увидитъ никогда, какъ призванное къ жизни и процвѣтанію, наливается и зрѣетъ зерно въ лонѣ земли». Наконецъ, значительная доля мыслительныхъ процессовъ скрывается въ сферѣ безсознательной: она «остается тайною» для самого субъекта, и поэтому—«слово не выразитъ того, что происходитъ» въ немъ.

Иное дѣло—любовь. Правда, и она уже далеко отошла отъ своего первоисточника (полового влеченія), но все-таки этотъ послѣдній—живъ и такъ или иначе сказывается. Самая возможность возникновенія любви только между мужчиной и женщиной (оставляя въ сторонѣ нѣкоторыя изъятія патологическаго характера, продукты особаго психоза, а также извращенія) указываетъ намъ на генезисъ этого чувства. Оно есть перерожденное, облагороженное, идеализированное половое влеченіе. По способу своего выраженія, по симптомамъ своимъ, оно весьма доступно наблюденію и болѣе или менѣе точному діагнозу. Самому субъекту оно открывается съ не меньшей ясностью чѣмъ другія чувства.

Исходя изъ этихъ соображеній, можно было бы утверждать, что разсматриваемая мысль Тургенева едва-ли подлежитъ оправданію, что она представляетъ собою родъ утрировки. Если вообще любовь не такъ ужъ мистична, то почему любовь Лизы

Digitized by Google

должна быть исключеніемъ? Неужели въ самомъ дѣлѣ то, что происходило въ душѣ Лизы, такъ таки и оставалось тайною для нея самой? Развѣ такъ ужъ трудно было ей догадаться, что она влюблена? Или, быть можетъ, это чувство зарождающейся любви осложнилось у нея какими-нибудь другими душевными состояніями, и весь процессъ пріобрѣлъ характеръ особливой сложности и запутанности, такъ что въ самомъ дѣлѣ она не въ состояніи была въ немъ разобраться и дать себѣ отчетъ?

А вотъ посмотримъ.

Послѣ той внутренней борьбы, которую пережила Лиза, послѣ всѣхъ недоумѣній и тревогъ душевныхъ, вызванныхъ въ ней переходнымъ состояніемъ отъ дружбы къ любви, послѣ всѣхъ обуревавшихъ ее противорѣчій,—вдругъ разсѣялся туманъ, и яркій лучъ любви осѣнилъ ея невинную душу,—пришло и для нея, еще не вѣдавшей этихъ радостей, то «чудное мгновеніе», когда человѣкъ чуетъ чарующую близость счастья, когда «ничто для него не пропадаетъ». Было мрачно и противорѣчиво въ душѣ,—теперь въ ней ясно и свѣтло, и нѣтъ противорѣчій, нѣтъ недоумѣній, осуществился могучій подъемъ духа въ какую-то высшую сферу гармоніи, внутренней поэзіи:

И сердце бьется въ упоеньи,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь...

Для душъ несложныхъ, не возвышающихся надъ уровнемъ посредственности, для натуръ заурядныхъ, этотъ переходъ отъ прозы существованія къ поэзіи любви совершается легко, скользя по поверхности души, не превращаясь въ вопросъ, не становясь загадкою. Натуры болѣе глубокія, болѣе вдумчивыя сознательнѣе относятся къ этому душевному процессу, въ нихъ происходящему, и—перенесенный въ сферу болѣе таинственную, чѣмъ онъ, въ сферу мысли—онъ принимаетъ характеръ сложнаго, болѣе или менѣе загадочнаго явленія, въ которомъ онѣ стараются разобраться. Сравнительно несложный вопросъ любви превращается въ многотрудный вопросъ самосознанія. Вспомнимъ Елену, героиню «Наканунѣ», и ея дневникъ. Вообще, чѣмъ глубже натура, тѣмъ и любовь становится глубже, и ея чары кажутся загадочнѣе. Таинственность любви находится въ прямомъ отношеніи къ сложности и значительности душевныхъ задатковъ человѣка. Въ ми-

Digitized by Google

стической душѣ Лизы любовь сама становится мистичной. Переходъ къ этой связанности или одержимости духа, которая называется любовью, былъ у Лизы процессомъ чрезвычайно сложнымъ. Не отъ прозы существованія перешла она къ поэзіи любви. Она и до любви знала иныя «чудныя мгновенья»: мистическіе восторги религіи, чарующую близость къ Божеству, сладость молитвы. Не прозою и прозябаніемъ была ея жизнь,—она была исполнена поэзіей религіознаго подъема духа и работою своеобразной мысли (хотя и безъ «своихъ словъ»). Отъ этой—мистической и высокой—поэзіи Лиза и перешла къ поэзіи любви, или, лучше сказать, у нея вторая только присоединилась къ первой. Душа Лизы стала ареною двухъ поэтическихъ процессовъ, которые сперва другъ другу противорѣчили и находились въ отношеніяхъ конфликта, а потомъ слились въ гармоническомъ созвучіи. Долго звучали—властно и нераздѣльно—неземные аккорды религіозныхъ струнъ души, — какъ музыка Лемма, они «касались всего, что есть на землѣ дорогого, тайнаго, святаго», они «дышали безсмертной грустью и уходили умирать въ небеса». Потомъ, въ свой чередъ, рядомъ съ этой райской пѣснью, зазвучали иные—дополнительные—звуки, сперва робкіе, нерѣшительные, казалось—поющіе диссонансомъ. Но они росли и крѣпли, и вотъ уже громко поютъ они про любовь, про чистую радость общенія съ живою, хотя-бы и грѣшною, душой человѣческой, и вдругъ переходятъ въ «страстную мелодію, которая вся сіяетъ, вся томится вдохновеніемъ, счастьемъ, красотою».

Тургеневъ правъ: «слово не выразитъ того, что происходило въ чистой душѣ дѣвушки». Только вдохновенная музыка Лемма могла дать образъ для этой тайны.

И эту музыкальную тайну души Лизы мы чувствуемъ вмѣстѣ съ Лаврецкимъ въ чудной сценѣ объясненія въ любви, когда тихимъ рыданіемъ она отвѣтила на страстное признаніе Лаврецкаго, и ея голова упала къ нему на плечо.—Въ заключительной лаконической фразѣ, которою оканчивается глава,—«и Лиза не спала: она молилась»—слышатся послѣдніе аккорды той-же душевной симфоніи.

IV.

Слѣдующая глава XXXV-ая посвящена воспитанію Лизы и является третьимъ и послѣднимъ отступленіемъ отъ нити раз-

Digitized by Google

сказа. Это отступленіе какъ разъ на своемъ мѣстѣ. Не трудно видѣть, что, помѣстивъ его здѣсь, послѣ чудной сцены объясненія въ любви и передъ изображеніемъ того перелома въ судьбѣ Лаврецкаго и Лизы, который былъ слѣдствіемъ внезапнаго возвращенія жены Лаврецкаго, Тургеневъ достигъ двойного художественнаго эффекта. Все предшествующее достаточно познакомило насъ съ Лизою. Мы ее уже хорошо знаемъ,—и тѣ свѣдѣнія о ея дѣтствѣ, ея воспитаніи, которыя сообщаются въ главѣ XXXV-ой, помѣщенныя гдѣ-нибудь выше, въ одной изъ предшествующихъ главъ, немного-бы прибавляли къ обаянію образа Лизы, и безъ того достаточно сильному. Черты изъ ея дѣтства потонули-бы въ этомъ обаяніи, уже осуществленномъ иными художественными средствами, и проскользнули-бы безъ замѣтнаго слѣда. Можно думать даже, что, при неудачномъ помѣщеніи этихъ чертъ, онѣ произвели-бы эффектъ антихудожественный,—впечатлѣніе ненужныхъ усилій расписать то, что уже и безъ того достаточно хорошо написано. Но, на своемъ мѣстѣ, непосредственно вслѣдъ за фразой-картиной «и Лиза не спала: она молилась», черты изъ дѣтской жизни Лизы, образъ Лизы-ребенка, трогательныя подробности о пробужденіи въ душѣ дѣвочки религіозныхъ стремленій подъ вліяніемъ Агафьи,—все это превосходно гармонируетъ съ настроеніемъ читателя, созданнымъ предшествующей главою. Читатель, остающійся еще во власти сильныхъ художественныхъ эффектовъ предыдущей главы, читатель, въ душѣ котораго еще звучатъ дивные аккорды музыки Лемма, съ умиленіемъ и любовью останавливается надъ образомъ молящейся Лизы,—и что-то дѣтски-трогательное, что-то младенчески-чистое, невинное, святое наполняетъ его душу. И вотъ тутъ-то, въ этотъ мигъ умиленнаго созерцанія, художникъ своимъ эпически-ровнымъ и тихимъ голосомъ начинаетъ разсказывать ему о дѣтскихъ годахъ Лизы,—какой это былъ ребенокъ, какъ ея «глаза свѣтились тихимъ вниманіемъ и добротой», какъ «она задумывалась не часто, но почти всегда не даромъ, какъ она слушала разсказы Агаѳьи о Пречистой Дѣвѣ, о святыхъ угодникахъ, какъ, наконецъ, «образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, а Христосъ становился ей чѣмъ то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ». И читатель съ неослабѣвающимъ интересомъ слѣдитъ за повѣствованіемъ автора, отнюдь не досадуя на перерывъ въ развитіи фабулы. Ему, читателю, уже хорошо знающему Лизу

Digitized by Google

взрослую, чей чудный образъ «съ какой то сладкой силой уже втѣснился ему въ душу», теперь то и интересно, теперь то и важно познакомиться съ Лизой ребенкомъ. Узнать, какъ развивалась эта высокая душа, какъ складывалась эта глубокая натура,—является теперь для читателя своего рода художественной потребностью. И этой потребности художникъ удовлетворилъ вполнѣ. Повѣствуя, какъ росла и воспитывалась Лиза, онъ нечувствительно приводитъ насъ къ началу, къ Лизѣ взрослой, и дорисовываетъ ея образъ нѣсколькими штрихами, которые въ воображеніи читателя вступаютъ въ тѣсную ассоціацію съ данными раньше. Таковы напр. указанія, что у Лизы «не было своихъ словъ, но были свои мысли, и шла она своей дорогой», что «она была очень мила, сама того не зная». Заключительныя строки главы сильнымъ и отчетливымъ аккордомъ завершаютъ эту, своего рода, «композицію»: «вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно. Лаврецкій первый нарушилъ ея тихую внутреннюю жизнь. Такова была Лиза».

Другой художественный эффектъ, достигаемый «отступленіемъ» главы XXXV-й, это необходимость отодвинуть на нѣкоторое разстояніе описаніе пріѣзда жены Лаврецкаго и всего, что оттуда вытекало, отъ главы XXXIV-й, изображающей любовь Лаврецкаго и Лизы и иллюзію близкаго счастья. Художникъ долженъ считаться съ читателемъ, съ его впечатлѣніями, со смѣною его настроеній, вызываемыхъ чтеніемъ произведенія. И чтобы не произвести диссонанса, не нарушить стройности и гармоніи въ развитіи художественнаго процесса въ умѣ читателя, художнику приходится иногда отвлекать вниманіе читателя въ сторону и переводить послѣдняго изъ одного настроенія въ другое не прямо, а черезъ посредство третьяго. Готовясь изобразить новое и рѣзко-противоположное прежнему душевное состояніе героевъ, т. е. намѣреваясь перевести читателя изъ одного настроенія въ другое, отъ одного порядка мыслей къ другому, художникъ, во избѣжаніе слишкомъ рѣзкаго, какъ бы рѣжущаго ухо перехода, на время занимаетъ читателя вставочнымъ разсказомъ. Такое значеніе, кромѣ вышеуказаннаго, имѣетъ глава XXXV-я, служа какъ бы отдыхомъ послѣ сильныхъ ощущеній главы XXXIV-й, отдыхомъ необходимымъ для художествен-

Digitized by Google

наго воспріятія грустныхъ и мрачныхъ мотивовъ послѣдующихъ главъ.—Такимъ образомъ, «отступленіе» о Лизѣ по существу отличается отъ «отступленія» о Лаврецкомъ и его предкахъ (гл. VIII — XVI): послѣднее введено не въ интересахъ художественности, а съ цѣлью сдѣлать фигуру Лаврецкаго вполнѣ понятною и ясною во всѣхъ деталяхъ, — разъяснить ея значеніе, какъ культурнаго типа, олицетворяющаго собою одинъ изъ моментовъ въ развитіи русскаго общества.

Слѣдующія за разсмотрѣннымъ отступленіемъ о прошломъ Лизы, главы XXXVI-я и XXXVII-я, разсказываютъ о пріѣздѣ жены Лаврецкаго и воспроизводятъ вызванную этимъ пріѣздомъ перемѣну въ душевномъ состояніи Лаврецкаго. Лизу мы встрѣчаемъ въ главѣ XXXVIII-й, гдѣ она отказываетъ Паншину, вслѣдствіе чего на нее сыплются упреки матери; здѣсь же помѣщенъ и любопытный разговоръ съ Марѳой Тимоѳеевной, узнавшей о ночномъ свиданіи Лизы съ Лаврецкимъ. Въ разговорѣ обрисовывается честная и прямая натура Лизы, а въ заключительныхъ строкахъ главы указанъ характеръ ея любви: «Стыдно, и горько, и больно было ей: но ни сомнѣнія, ни страха въ ней не было, — и Лаврецкій сталъ ей еще дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала; но послѣ того свиданія, послѣ того поцѣлуя — она уже колебаться не могла; она знала, что любитъ—и полюбила честно, не шутя, привязалась крѣпко, на всю жизнь—и не боялась угрозъ; она чувствовала, что насилію не расторгнуть этой связи».

Эти слова, какъ и вся сцена съ Марѳой Тимоѳеевной, очень важны. Они являются отвѣтомъ на естественный вопросъ читателя: какъ-же рѣшила Лиза—послѣ той молитвы, за которою читатель послѣдній разъ видѣлъ ее? Какъ относится она сама къ своей любви? — Вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь мы находимъ новое подтвержденіе независимости, самостоятельности характера Лизы. Кроткая, любящая, деликатная, она, однакоже, всегда остается непреклонною въ своихъ рѣшеніяхъ.

Душевное состояніе Лизы, изображенное въ этой главѣ, имѣетъ существенное значеніе для пониманія дальнѣйшаго, являясь исходнымъ пунктомъ, первымъ звеномъ въ ряду послѣдующихъ душевныхъ моментовъ, завершившихся рѣшеніемъ уйти въ монастырь.

Послѣ внутренней борьбы, вызванной въ Лизѣ возникновеніемъ любви къ Лаврецкому, наступилъ, какъ мы видѣли, мо-

Digitized by Google

ментъ душевной тишины, моментъ тихой радости и счастія, когда противорѣчія положенія казались устраненными, и вопросъ жизни былъ рѣшенъ. Но это уравновѣшенное состояніе духа должно было вскорѣ смѣниться новыми душевными тревогами и страданіями. Прежде всего радость любви была омрачена неизбѣжнымъ объясненіемъ съ Паншинымъ. Для Лизы съ ея «сердцемъ добрымъ и кроткимъ», ея «боязнью оскорбить кого-бы то ни было»—это объясненіе было дѣломъ нелегкимъ. Она должна была «собраться съ духомъ»—прежде чѣмъ объявить Паншину свое рѣшеніе. Ужъ одно это должно было нарушить миръ ея души. За этой каплей горечи послѣдовало объясненіе съ матерью, безсмысленные упреки которой («За что ты меня убила? Кого тебѣ еще нужно? Чѣмъ онъ тебѣ не мужъ?» и т. д.) произвели на Лизу впечатлѣніе очень тягостное. «Но не успѣла она еще отдохнуть отъ объясненія съ Паншинымъ и съ матерью, какъ на нее опять обрушилась гроза, и съ такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала». Это шелъ на нее войною самый близкій ей человѣкъ—Марѳа Тимоѳеевна. Грубый допросъ расходившейся старушки подѣйствовалъ на Лизу удручающимъ образомъ. Съ свойственной ей прямотою она признается, что любитъ Лаврецкаго,—и это признаніе повергаетъ Марѳу Тимоѳеевну въ настоящій ужасъ: старушка еще не знала о предполагаемой смерти жены Лаврецкаго. Узнавъ объ этомъ отъ Лизы, Марѳа Тимоѳеевна немного успокоилась, но изъ ея словъ видно, что она все-таки не одобряетъ чувства Лизы. «Да онъ, я вижу, на всѣ руки. Одну жену уморилъ, да и за другую. Каковъ?..»—Какъ ни была привязана Лиза къ теткѣ, какъ ни интимны были ихъ отношенія, но этотъ разговоръ не могъ не произвести на чуткую душу дѣвушки самаго удручающаго впечатлѣнія. «Не веселостью сказывалась ей любовь. Въ ея сердцѣ едва только родилось то новое, нежданное чувство, и уже какъ тяжело поплатилась она за него, какъ грубо коснулись чужія руки ея завѣтной тайны». Глава заканчивается вышеприведеннымъ указаніемъ на крѣпость и серьезность любви Лизы къ Лаврецкому и на непоколебимость ея рѣшенія связать свою жизнь съ жизнью любимаго человѣка.

То угнетенное состояніе духа и то горькое чувство незаслуженной обиды, которыя испытывала Лиза, очень скоро смѣнились гораздо болѣе сильнымъ душевнымъ потрясеніемъ: они перешли въ тотъ нѣмой ужасъ, который былъ слѣдствіемъ не-

Digitized by Google

жданнаго возвращенія жены Лаврецкаго. Глава XXXIX-я, разсказывающая о визитѣ Варвары Павловны Калитинымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ рисуетъ это новое душевное состояніе Лизы. Она «похолодѣла отъ ужаса», когда прочла записку Лаврецкаго, сообщавшую ей неожиданную вѣсть. На религіозную, на мистическую душу Лизы это извѣстіе должно было подѣйствовать ошеломляющимъ образомъ. Сразу, однимъ ударомъ, недавнее, еще вчерашнее, счастье сегодня превращалось въ несчастье; радость любви, наполнявшая сердце Лизы, вдругъ стала горестью обманутыхъ надеждъ; самыя надежды уже казались преступными; невинное признаніе и чистый поцѣлуй—чуть не паденіемъ. Все разомъ измѣнилось, передвинулось, перетасовалось, явилось въ противоположномъ свѣтѣ. «Внезапный переломъ въ ея судьбѣ потрясъ ее до основанія; въ два какихъ-нибудь часа ея лицо похудѣло; но она и слезинки не проронила. По дѣломъ!—говорила она сама себѣ, съ трудомъ и волненіемъ подавляя въ душѣ какіе-то горькіе, злые, ее самое пугавшіе порывы». Эти послѣднія строки, а также и указаніе на чувство отвращенія, возбужденное въ Лизѣ Варварой Павловной при первой ихъ встрѣчѣ,—даютъ намъ понять, что въ дальнѣйшемъ развитіи душевной драмы Лизы, на ряду съ горечью, причиненною ходомъ вещей и отношеніемъ къ Лизѣ другихъ лицъ, важная роль будетъ принадлежать еще и другой горечи, именно той, которую ощущала Лиза—находя или предполагая въ себѣ дурныя чувства, озлобленіе, злые порывы. Для нея это было нѣчто въ родѣ душевной самоотравы, и противоядіе она могла найти только въ религіозномъ самоотреченіи. Эта сторона имѣетъ такимъ образомъ существенное значеніе для дальнѣйшей исторіи Лизы. Вытекающія отсюда или съ этимъ связанныя мысли и чувства, уже заранѣе какъ-бы предрекающія судьбу Лизы, намѣчены уже въ этой главѣ XXXIX-й—въ описаніи первой встрѣчи Лизы съ Варварой Павловной.

Глава заканчивается трогательной сценой-картиной: Марѳа Тимоѳеевна, болѣя душою за Лизу и въ порывѣ раскаянія во вчерашней вспышкѣ, цѣлуетъ руки Лизы... «и Марѳа Тимоѳеевна не могла нацѣловаться этихъ бѣдныхъ, блѣдныхъ, безсильныхъ рукъ—и безмолвныя слезы лились изъ ея глазъ и глазъ Лизы; а котъ Матросъ мурлыкалъ въ широкихъ креслахъ возлѣ клубка съ чулкомъ, продолговатое пламя лампадки чутъ-чуть трогалось и шевелилось передъ иконой,—и въ сосѣдней комнатѣ за дверью

Digitized by Google

стояла Настасья Карповна и тоже украдкой утирала себѣ глаза свернутымъ въ клубочекъ носовымъ платкомъ».

V.

Съ извѣстной точки зрѣнія, можно сожалѣть, что Тургеневъ не поддался весьма понятному искушенію — вывести, такъ сказать, наружу эту тяжелую драму, развертывающуюся въ душѣ Лизы. Ему-бы ничего не стоило—на нѣсколькихъ страницахъ подвергнуть этотъ душевный процессъ тонкому психологическому анализу, перебрать одно за другимъ всѣ терзанія Лизы, раскрыть всю глубину ея потрясенной души и затѣмъ логически вывести оттуда ея рѣшеніе постричься. Тургеневъ не сдѣлалъ этого, т. е. не далъ намъ такого рода «объяснительной подписи» къ рисунку. Онъ намъ далъ только одинъ рисунокъ. Но съ другой точки зрѣнія, находя, что на этомъ рисункѣ душевная драма Лизы изображена удивительно мѣтко и тонко, можно, пожалуй, утверждать, что психологическій анализъ былъ-бы излишней роскошью. Въ главѣ XL-й, гдѣ на первомъ планѣ фигурируетъ Варвара Павловна, привлекая къ себѣ все вниманіе читателя, Лиза только молчаливо присутствуетъ, но читатель отлично понимаетъ все, что происходитъ въ эту минуту въ ея душѣ. Онъ понимаетъ это не только потому, что подговленъ къ этому всѣмъ предшествующимъ, но также—благодаря самой Варварѣ Павловнѣ. Изящная пустота и всѣ блестящія качества бездушной львицы, ярко освѣщенныя въ этой главѣ, могли ослѣпить глаза Марьѣ Дмитріевнѣ, Гедеоновскому да Паншину, но не читателю, который все время смотритъ на парижскую диву глазами автора и съ точки зрѣнія Лизы. Если для Паншина, захваченнаго кокетствомъ Варвары Павловны, «Лиза, та самая Лиза, которую онъ все-таки любилъ, которой онъ наканунѣ предлагалъ руку, исчезла какъ-бы въ туманѣ», то для читателя, напротивъ, она въ этой главѣ выступаетъ изъ тумана и обрисовывается тѣмъ ярче, тѣмъ симпатичнѣе и трогательнѣе, чѣмъ развязнѣе держитъ себя Варвара Павловна, чѣмъ «изящнѣе» она ломается, чѣмъ пуще кокетничаетъ и интригуетъ. Читатель ясно видитъ, что происходитъ въ душѣ Лизы при зрѣлищѣ этой игры, этого издѣвательства надъ другими. Тургеневъ, заставивъ самого читателя сдѣлать—про себя—психологическій анализъ душевнаго

Digitized by Google

состоянія Лизы въ данный моментъ, имѣлъ полное право ограничиться коротенькой фразой, которою оканчивается глава и вмѣстѣ подводится итогъ анализу, сдѣланному читателемъ: «Марѳа Тимоѳеевна всю ночь просидѣла у изголовья Лизы».

Такимъ образомъ читатель, и безъ указки автора, достаточно подготовленъ къ пониманію настоящаго смысла послѣдняго объясненія Лизы съ Лаврецкимъ въ главѣ XLII-й. При нѣкоторой вдумчивости не трудно представить себѣ душевное состояніе и ходъ сокровенныхъ мыслей Лизы, когда она настаиваетъ, чтобы Лаврецкій примирился съ женою, когда она говоритъ, что «счастье зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога». Все, что накипѣло и перегорѣло въ душѣ Лизы и, наконецъ, кристаллизировалось въ одно властное и высокое стремленіе,—чувствуется въ ея послѣднихъ словахъ, сказанныхъ въ отвѣтъ на мольбу Лаврецкаго дать ей руку на прощанье. «Лиза подняла голову. Ея усталый, почти погасшій взоръ остановился на нее...—Нѣтъ, промолвила она и отвела назадъ уже протянутую руку:—нѣтъ, Лаврецкій, не дамъ я вамъ моей руки. Къ чему? Отойдите, прошу васъ, прибавила она съ усиліемъ; но нѣтъ... нѣтъ...»

О рѣшеніи Лизы уйти въ монастырь Лаврецкій и, пожалуй, читатель въ этой сценѣ еще не догадываются, но что Лиза остановилась на какой-то мысли, что она пришла къ какому-то безповоротному опредѣленію своей судьбы,—объ этомъ читатель заключаетъ на основаніи того тона, въ которомъ ведется ею весь разговоръ. Лиза сразу-же подымаетъ вопросъ о долгѣ. «Намъ обоимъ остается исполнить нашъ долгъ», говоритъ она. Долгъ Лаврецкаго, по ея глубокому убѣжденію, состоитъ въ томъ, чтобы примириться съ женой. И она это высказываетъ ему— не какъ просьбу или совѣтъ, а какъ требованіе, и въ ея словахъ мы опять слышимъ знакомую намъ ноту непреклонной, неумолимой религіозной убѣжденности: «Вы, Ѳедоръ Иванычъ, должны примириться съ вашей женой», категорически заявляетъ она. На вопросъ Лаврецкаго: въ чемъ-же ея долгъ состоитъ? она глухо отвѣчаетъ: «про это я знаю».

Намеки на новый оборотъ ея мыслей, на то, что нѣчто важное и смѣлое созрѣло въ ея умѣ, что она выходитъ на какой-то новый путь, даны также въ сценѣ послѣдняго ея свиданія съ Лаврецкимъ въ главѣ XLIV-й. «Ѳедоръ Иванычъ, говоритъ она, вотъ вы теперь идете возлѣ меня... А ужъ вы такъ далеко отъ меня. И не вы одни, а...»—«Договаривайте, прошу васъ! вос-

кликнулъ Лаврецкій: что вы хотите сказать?»—«Вы услышите, можетъ быть...»

Въ XLV-й (и послѣдней) главѣ Лиза, въ чудной и трогательной сценѣ съ Марѳой Тимоѳеевной, объявляетъ теткѣ свое рѣшеніе — посвятить себя Богу и, невзирая на отчаяніе бѣдной старушки, на ея слезы и мольбы, остается непреклонной. Читатель помнитъ, конечно, какъ приняла это извѣстіе Марѳа Тимоѳеевна, какъ она всполошилась, какъ умоляла Лизу не итти въ монастырь. Въ этомъ переполохѣ доброй и умной старушки сквозитъ натура—не только Марѳы Тимоѳеевны, но и Лизы: ея строгая послѣдовательность, ея сильная воля, ея глубокая религіозная душа. Старушка отлично знаетъ эту черту, — оттого-то такъ и испугалась, такъ переполошилась она. «Лиза утѣшала ее, отирала ея слезы, сама плакала, но осталась непреклонной».

Она осталась непреклонной,—потому что иное, высшее призваніе влекло ее прочь отъ жизни, а жизнь послѣ пережитыхъ душевныхъ испытаній, обезцвѣтилась въ ея глазахъ, обезцѣнилась и утратила всю заманчивость, всю прелесть своихъ искушеній. Лиза почувствовала и поняла, что, кромѣ пустоты, горечи и обиды, жизнь ничего ей не дастъ. «Счастье ко мнѣ не шло,— говоритъ она, — даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило». И вотъ теперь, послѣ всего, что она испытала, послѣ того, какъ она убѣдилась въ нравственной невозможности счастья съ любимымъ человѣкомъ, — ея духовныя очи широко раскрылись и увидѣли міръ, жизнь и человѣка въ томъ самомъ свѣтѣ, въ какомъ являлись они древнимъ христіанскимъ подвижникамъ. Всѣ нити, привязывавшія ее къ жизни, вдругъ оборвались, — но тѣмъ громче заговорили религіозныя стремленія ея души, и нѣкій тайный, но властный голосъ призывалъ ее къ подвигу отреченія, къ тихому счастью религіозныхъ созерцаній, къ жизни, превращенной въ одну сплошную молитву, къ блаженству умиротвореннаго состоянія духа и покоя совѣсти.

Трудно намъ, людямъ жизни, людямъ, органически привязаннымъ къ ея текущимъ впечатлѣніямъ, вполнѣ понять душевное состояніе Лизы. Насъ жизнь манитъ, мы отдаемся ея теченію, мы не можемъ сбросить съ себя иго ея обаянія, и для насъ одной капли воображаемаго счастья достаточно, чтобы скрасить существованіе, полное самой реальной горечи и невзгодъ. Для насъ имѣетъ огромную цѣнность самый фактъ—нахожденія здѣсь,

Digitized by Google

среди людей, въ обычной обстановкѣ, среди текущихъ заботъ и стремленій, въ уютѣ и теплотѣ привычной прозы. Хотя эту прозу мы подчасъ и клянемъ, но мы ее любимъ,—мы срослись съ нею всѣми фибрами души,—она-же нисколько не мѣшаетъ намъ искать и получать или воображать, что получаемъ, свою долю поэзіи жизни. Сидя въ болотѣ, можно смотрѣть на солнце и любоваться голубой далью небесъ.

И оттого-то душа Лизы—какъ бы хорошо ни изобразилъ ее художникъ — все-таки остается для насъ загадочной и даже чуждой. Умомъ, пожалуй, мы постигнемъ ея глубину, но воплощенный въ ней идеалъ представляется намъ слишкомъ далекимъ, слишкомъ высокимъ; намъ кажется, что отъ него вѣетъ холодомъ отчужденности отъ всего, что мы любимъ, чѣмъ дорожимъ, чѣмъ живемъ, отъ насъ самихъ и всего нашего существованія,— и мы не чувствуемъ себя въ силахъ согрѣть его тепломъ сердечнаго къ нему отношенія. Этимъ тепломъ мы согрѣемъ другой идеалъ—женщины, которая, удаляясь отъ жизни, могла-бы сказать о себѣ:

Я на землѣ свершила все земное,
Я на землѣ любила и жила!

И, по-своему, мы правы: Лиза въ самомъ дѣлѣ слишкомъ мало жила и слишкомъ мало земного свершила на землѣ. Едва успѣвъ пожить среди насъ, не пройдя и сотой доли тѣхъ испытаній, искушеній, тревогъ и обидъ, чрезъ которыя всѣ мы проходимъ, она, послѣ первой же коллизіи, бросила насъ и ушла замаливать «свои грѣхи», которыхъ не было, и наши, которыхъ слишкомъ много, чтобы она могла ихъ замолить. Такъ ужъ мы созданы: пусть намъ покажутъ идеальное, святое гдѣ нибудь въ дали, въ небесахъ, на недосягаемой высотѣ, — мы будемъ имъ любоваться или восхищаться, мы преклонимся передъ нимъ, но— останемся холодны. Но пусть оно снизойдетъ къ намъ, въ нашу грѣшную и мелкую жизнь,—и мы его полюбимъ горячо и искренно—такъ, какъ будто бы оно въ самомъ дѣлѣ—наше, кровное, земное. На этомъ, между прочимъ, основана чарующая прелесть Евангелія. Христосъ среди людей, въ средѣ грѣшниковъ и грѣшницъ, Богъ-человѣкъ, обѣдающій у мытаря, прощающій блудницу, благословляющій дѣтей, — вотъ гдѣ тайна обаянія священной книги христіанства.

Digitized by Google

VI.

Обращаясь къ Лизѣ, мы скажемъ, что источникъ нашей (относительной, конечно) холодности къ ней и ея отчужденности отъ насъ коренится не столько въ ней самой, какъ натурѣ, сколько въ томъ художественномъ способѣ воспроизведенія, которымъ былъ созданъ ея поэтическій образъ. Показавъ это, мы подведемъ итоги всему вышесказанному и вмѣстѣ съ тѣмъ раскроемъ оборотную сторону художественнаго дарованія Тургенева. Выше мы уже упомянули, что въ творчествѣ Тургенева почти нѣтъ, или очень мало такъ называемаго «психологическаго анализа». Художникъ рисуетъ, а анализировать предоставляетъ читателю, — но рисуетъ такъ, что анализъ, частью сознательно производимый читателемъ, частью же самъ собой возникающій въ его головѣ, оказывается именно такимъ, какого хотѣлъ авторъ. При этомъ, разумѣется, необходимо, чтобы читатель былъ на высотѣ своего читательскаго призванія. Иной неподготовленный или предвзято-настроенный читатель, пожалуй, произведетъ такой «анализъ», что художникъ можетъ прійти только въ ужасъ. Въ задачу художественной критики, между прочимъ, и входитъ обязанность помочь читателю въ этомъ дѣлѣ. Для этого прежде всего необходимо раскрыть и освѣтить тотъ порядокъ идей, который апперцепируется образами, созданными художникомъ. По отношенію къ образу Лизы мы это и сдѣлали, въ мѣру нашихъ силъ и разумѣнія, въ предыдущей (VII-ой) главѣ. Само собою разумѣется, такая помощь со стороны критика нужна читателю только въ тѣхъ случаяхъ, когда даны образы сложные, болѣе или менѣе отвлеченные, въ которыхъ воплощены черты, выходящія за предѣлы непосредственнаго наблюденія,—душевные процессы, мало знакомые большинству читающей публики. Къ числу такихъ и принадлежитъ образъ Лизы. Само собой разумѣется, раскрытіе и объясненіе порядка идей, апперцепируемыхъ образомъ, должно быть обосновано на психологическомъ анализѣ тѣхъ душевныхъ явленій и процессовъ, которые въ этомъ образѣ представлены. Вотъ именно, если этого анализа самъ художникъ не даетъ намъ, то задача и читателя, и критика становится вдвойнѣ сложнѣе и труднѣе. Отсутствіе психологическаго изслѣдованія у Тургенева и составляетъ ту «оборотную сторону» въ его творчествѣ, которую теперь я имѣю въ виду.

По отношенію къ Лизѣ художникъ,—такъ можно думать,—

Digitized by Google

долженъ былъ-бы не поскупиться на психологическій анализъ; не довѣряя цѣликомъ этого дѣла читателю и не полагаясь на критиковъ, онъ долженъ былъ-бы въ нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, мѣстахъ углубиться въ разборъ сокровенныхъ пружинъ души Лизы, раскрыть игру ея тайныхъ—и таинственныхъ — душевныхъ движеній. Къ рисунку авторъ долженъ былъ-бы присоединить кое-гдѣ тѣ «пояснительныя замѣчанія», дать тѣ объясненія смысла проводимыхъ имъ чертъ, накладываемыхъ имъ красокъ, — которыя обыкновенно и отливаются въ форму «психологическаго анализа». Этого-то Тургеневъ и не далъ намъ. Въ Лизѣ онъ скупъ на анализъ, на поясненія больше, чѣмъ гдѣ-либо. Въ смыслѣ мастерства, смѣлости, увѣренности, ловкости и силы въ преодолѣніи трудностей, — образъ Лизы отъ этого только выигрываетъ: это одно изъ самыхъ совершенныхъ созданій искусства. Но въ смыслѣ доступности образа пониманію читателя, въ смыслѣ его близости уму и сердцу послѣдняго, онъ несомнѣнно «теряетъ». Эту «потерю» нужно понимать, конечно, условно: возможна и такая точка зрѣнія, съ которой она представится даже выигрышемъ. Пояснимъ это на одномъ примѣрѣ.

Въ послѣдней главѣ знаменитое объясненіе съ Маѳоой Тимоѳеевной ведется слѣдующимъ образомъ:

Старушка, войдя къ Лизѣ и заставъ ее на колѣняхъ передъ распятіемъ, замѣчаетъ: «А ты,.я вижу, опять прибирала свою келейку». Это нечаянно-оброненное выраженіе (келейка) какъ разъ попадаетъ въ тонъ сокровенныхъ мыслей Лизы, оно даже представляется ей какъ бы невольнымъ предсказаніемъ. «Лиза задумчиво посмотрѣла на свою тетку.—Какое вы это произнесли слово! прошептала она». Здѣсь авторъ уполномочиваетъ читателя къ большой самодѣятельности, требуя, чтобы, на основаніи предшествующихъ намековъ и этихъ строкъ, онъ живо представилъ себѣ Лизу, погруженную въ рѣшеніе вопроса всей жизни,—вопроса о постриженіи. Сколько разнообразныхъ чувствъ, сколько мыслей, и горькихъ и радостныхъ, должно было столпиться въ ея душѣ! Любовь и разлука, мысленное прощаніе съ родными, мысли о предстоящемъ суровомъ подвигѣ, горячая вѣра, молитва и слезы—весь этотъ душевный процессъ, сложный и темный, долженъ быть возсозданъ воображеніемъ читателя—почти такъ, какъ будто-бы въ его распоряженіи было не словесное, а живописное или скульптурное произведеніе искусства, картина или

Digitized by Google

статуя, изображающая Лизу въ тотъ моментъ, когда она уже окончательно остановилась на рѣшеніи постричься.

Читая дальше и слыша, какъ Марѳа Тимоѳеевна все уговариваетъ Лизу «утѣшиться», успокоиться, потерпѣть, «не поддаваться», читатель убѣждается, что старушка всѣ терзанія Лизы приписываетъ ея любви къ Лаврецкому и что, стало быть, важнѣйшая часть душевнаго состоянія дѣвушки въ данный моментъ — для нея тайна. Но то, что еще тайна для Марѳы Тимоѳеевны, не должно быть тайной для читателя. Послѣднему должно быть ясно, что Марѳа Тимоѳеевна твердитъ одно, а у Лизы на умѣ совсѣмъ другое. Лиза уже поставила крестъ надъ своею любовью и уже—окончательно и безповоротно—рѣшила уйти въ монастырь. Читателю слѣдуетъ это знать, чтобы ясно представить себѣ душевное содержаніе Лизы въ ту минуту, когда она, утѣшая тетку, говоритъ: «все прошло», и вдругъ почувствовавъ, что это и есть самый удобный моментъ открыть свою тайну, «произноситъ съ внезапнымъ одушевленіемъ: — да, прошло, тетушка, если вы только захотите мнѣ помочь... Я хочу итти въ монастырь». Всѣ предшествующія реплики Лизы («это пройдетъ, дайте срокъ», «я вамъ говорю, все это пройдетъ, все это уже прошло» и т. д.) показываютъ, что она хотѣла только успокоить тетку и прекратить разговоръ. Но затѣмъ вдругъ душа ея переполнилась, завѣтная мысль какъ бы просилась наружу, —настала минута, когда Лиза почувствовала, что не въ силахъ скрываться болѣе, что лучше всего теперь же посвятить тетку въ свои планы. «Внезапное одушевленіе» овладѣло ею, она открываетъ испуганной теткѣ свое рѣшеніе. Ужасъ и отчаяніе Марѳы Тимоѳеевны еще пуще укрѣпляютъ Лизу въ ея позиціи, и она выступаетъ во всеоружіи безстрашности, прямоты и силы своей души. Читатель долженъ представить себѣ это съ полной ясностью, чтобы его анализъ былъ въ полномъ соотвѣтствіи съ живописью художника: «Лиза подняла голову, щеки ея пылали...—Я рѣшилась (объявляетъ она), я молилась, я просила совѣта у Бога, все кончено, кончена моя жизнь съ вами...» ...«Не удерживайте меня, не отговаривайте, помогите мнѣ, не то я одна уйду...» Слѣдующій затѣмъ глубокотрогательный и не чуждый комизма вопль Марѳы Тимоѳеевны («...И кто жъ это видывалъ, чтобы изъ-за эдакой, изъ-за козьей бороды, прости Господи, изъ за мужчины, въ монастырь итти?... Не надѣвай ты чернаго шлыка на свою голову, батюшка ты мой,

Digitized by Google

матушка ты моя...») довершаетъ эту чудную живопись, требующую отъ читателя вниманія, пониманія и—творчества.

Къ тремъ страницамъ этой словесной живописи читатель мысленно долженъ прибавить еще столько же страницъ собственнаго психологическаго анализа. Не лучше ли было бы, если бы эти добавочныя страницы далъ самъ авторъ? И да, и нѣтъ. Давъ ихъ отъ себя, авторъ облегчилъ бы работу читателя. Съ точки зрѣнія легкости художественнаго воспріятія—это было бы лучше. Но облегчивъ трудъ читателя, художникъ въ то же время отнялъ бы у него значительную часть самостоятельнаго творчества и его награды—художественнаго наслажденія. Правда, дополнительныя страницы тонкаго анализа, сдѣланнаго самимъ художникомъ, сами по себѣ доставили бы немалое наслажденіе читателю, но это наслажденіе было бы уже иного рода, оно—даровое, а потому и умственное его достоинство далеко ниже тѣхъ радостей творчества, какія испытываетъ читатель, самостоятельно возсоздавая внутреннюю жизнь души человѣческой, полной глубокаго психологическаго интереса, не заколдованной художникомъ въ чудномъ образѣ, нарисованномъ со всею доступною тонкостью и силой выраженія.

Я хотѣлъ показать, какъ много приходится читателю поработать собственной головой надъ одной только послѣдней сценой (гл. XLV). Сколько-же труда долженъ онъ положить на возсозданіе—по живописи Тургенева—внутренняго міра Лизы на протяженіи всего романа! Предложенный въ этомъ очеркѣ разборъ тѣхъ художественныхъ пріемовъ, помощью которыхъ нарисована Лиза, даетъ, мнѣ кажется, приблизительное понятіе о размѣрахъ и цѣнности этого читательскаго—творческаго—труда.

VII.

Трудъ этотъ частью безсознателенъ, въ значительной же долѣ сводится къ вполнѣ сознательной работѣ мысли и воображенія. Множество мелкихъ штриховъ, разсѣянныхъ въ разныхъ мѣстахъ, какъ мы видѣли, западаютъ въ память читателя и сами создаютъ образъ Лизы. То же самое въ извѣстной мѣрѣ дѣлаетъ и излюбленный Тургеневымъ пріемъ,—освѣщеніе главнаго лица другими лицами. Мы видѣли, какъ важны для возсозданія образа Лизы—Леммъ съ одной стороны, Паншинъ и Варвара

Digitized by Google

Павловна—съ другой. Не трудно показать значеніе въ этомъ смыслѣ Марѳы Тимоѳеевны и самого Лаврецкаго.

Но тотъ же пріемъ требуетъ отъ читателя и сознательной работы мысли: читатель задумывается надъ отношеніями къ Лизѣ тѣхъ лицъ, которыя ее освѣщаютъ и, вникая въ эти отношенія, уясняетъ себѣ натуру Лизы. Для полной успѣшности дѣла необходимо, чтобы читатель правильно оцѣнилъ значеніе въ романѣ данныхъ лицъ въ отношеніяхъ художественномъ и психологическомъ.

Разсмотримъ же съ этой точки зрѣнія роль трехъ важнѣйшихъ персонажей: Марѳы Тимоѳеевны, Лемма и Лаврецкаго.

Не трудно видѣть, что Марѳа Тимоѳеевна и Леммъ для самой ф а б у л ы романа существеннаго значенія не имѣютъ. Но за то имъ принадлежитъ огромное художественное и психологическое значеніе въ романѣ. Ихъ невозможно было бы исключить, не нарушивъ художественности произведенія. Но въ особенности они важны—для Лизы, которая безъ нихъ не была бы дорисована и до половины.

Эти два лица чрезвычайно важны для болѣе рельефнаго оттѣненія религіозной стороны въ натурѣ Лизы.

Марѳа Тимоѳеевна съ первыхъ же страницъ романа подкупаетъ читателя своимъ умомъ, прямотою, независимостью характера, самою рѣзкостью своихъ сужденій о людяхъ. Она несомнѣнно должна была имѣть большое вліяніе на Лизу, и это вліяніе, конечно, было весьма благотворно. Но вотъ тутъ то и вырисовывается вся сила самобытной религіозности Лизы. Умная старушка хорошо знаетъ, какъ набожна Лиза, и ей хотѣлось бы, чтобы ея любимица была въ этомъ отношеніи не такъ исключительна. Ее даже пугаетъ слишкомъ большое, необычное въ дворянскихъ гнѣздахъ, религіозное рвеніе Лизы. Сперва она приписывала это вліянію Агафьи, но вскорѣ должна была убѣдиться, что основы этой страстной религіозности глубоко лежатъ въ самой натурѣ ея питомицы. И это открытіе было для Марѳы Тимоѳеевны источникомъ заботъ и опасеній, которыхъ она не высказывала и даже могла не формулировать въ своемъ собственномъ сознаніи, но которыя тѣмъ не менѣе втайнѣ ее безпокоили. Она предчувствовала здѣсь возможность разныхъ, пока невѣдомыхъ, опасностей для Лизы. Мало ли къ чему можетъ привести, при стеченіи извѣстныхъ обстоятельствъ, религіозная экзальтація? Марѳа Тимоѳеевна горячо любила Лизу и стремилась устроить

Digitized by Google

ей счастливую жизнь, обезпечить для нея будущность, полную радостей. Въ религіозныхъ же стремленіяхъ, которыя такъ глубоко захватили душу Лизы, проницательная старушка чуяла нѣчто идущее наперекоръ счастливой будущности, нѣчто могучее и самодовлѣющее, надъ чѣмъ не властно все ея вліяніе, нѣчто почти злювѣщее,—во всякомъ случаѣ чуждое и непонятное. Оно было ей непонятно потому, что сама Марѳа Тимоѳеевна была натурою иного рода,—религіозною въ обыкновенномъ смыслѣ,—въ смыслѣ той умѣренной, пассивной, если можно такъ выразиться, трезвой религіозности, какая свойственна большинству людей. Она вѣрила, ходила въ церковь, исполняла обряды, потому что такъ дѣлали отцы и дѣды, но ничего мистическаго не было въ ея натурѣ, и поэтическая сторона религіи была ей чужда. И сопоставляя съ этой стороны Марѳу Тимоѳеевну съ Лизою, читатель ясно видитъ принципіальное, психологическое различіе между натурами заурядно-религіозными и тѣми, которыя отъ рожденія предопредѣлены къ активному религіозному подвигу, для которыхъ религія съ ея тайнами, ея поэзіей и ея этическими отношеніями составляетъ жизненное призваніе.

Это призваніе Лизы, такъ рельефно выступающее въ мысли читателя при сопоставленіи и анализѣ этихъ двухъ натуръ, еще рѣзче оттѣняется фигурою Лемма.

Трогательный образъ несчастнаго нѣмца—это одна изъ счастливѣйшихъ «находокъ» Тургенева. Это именно то, что французы называютъ «une trouvaille» (какъ говорится въ одномъ изъ писемъ Тургенева по другому поводу),—образъ, который и самъ по себѣ, независимо отъ его роли по отношенію къ Лизѣ, имѣетъ большую художественную цѣнность. Представляя собою ярко-выраженную, живую индивидуальность, Леммъ въ то же время воплощаетъ въ себѣ положительныя типическія черты германскаго генія.

Сразу завоевывая всѣ симпатіи читателя, вызывая въ немъ очень сложное чувство, смѣшанное изъ уваженія, удивленія и жалости, Леммъ, силою своего творческаго генія, даетъ читателю музыкальное истолкованіе души Лизы. Своимъ вдумчивымъ и серьезнымъ умомъ, всей душой своею, полной глубокихъ музыкальныхъ идей и смѣлыхъ образовъ гармоніи, онъ понялъ и прочувствовалъ идеальную сторону въ натурѣ Лизы, составляющую основаніе ея религіозности. Чутко и отзывчиво уловилъ онъ сокровенныя движенія ея души, — онъ узналъ и открылъ чита-

Digitized by Google

телю, что это душа «прекрасна» и можетъ любить только «прекрасное».

Тотъ психологическій анализъ, который долженъ сдѣлать читатель, чтобы понять Лизу, не будетъ возможенъ, если предварительно читатель не пойметъ и не полюбитъ Лемма.

Если Марѳа Тимоѳеевна и Леммъ уясняютъ вдумчивому читателю образъ Лизы однимъ своимъ присутствіемъ въ романѣ, то главный герой, Лаврецкій, дѣлаетъ то-же самое художественное дѣло иначе: на всемъ протяженіи романа онъ не перестаетъ быть вѣрнымъ спутникомъ и незамѣнимымъ сотрудникомъ читателя. Послѣднему безъ сотрудничества Лаврецкаго невозможно было бы возсоздать въ своемъ умѣ образъ Лизы. Производя психологическій анализъ героини «Дворянскаго Гнѣзда», читатель постоянно прибѣгаетъ къ помощи Лаврецкаго и всегда находитъ въ немъ вѣрнаго руководителя, который «не подведетъ». Выше я неоднократно указывалъ, что зачастую Лаврецкій по отношенію къ Лизѣ оказывается въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ находится и читатель. Одновременно съ послѣднимъ знакомится онъ съ Лизою, и оба на первыхъ порахъ одинаково мало знаютъ ее. Онъ постепенно узнаетъ ее, всматривается въ нее, начинаетъ ее понимать и цѣнить — вмѣстѣ съ читателемъ и пользуясь тѣми же средствами, какъ и послѣдній. Леммъ напр. помогаетъ Лаврецкому заинтересоваться Лизою и понять ее такъ же точно, какъ помогаетъ онъ въ этомъ самому читателю. Въ этомъ смыслѣ, т. е. по постановкѣ въ романѣ, по значенію для читателя—въ отношеніи къ главной женской фигурѣ—образъ Лаврецкаго рѣзко отличается отъ другихъ тургеневскихъ героевъ. Рудинъ вовсе не помогаетъ читателю проанализировать и понять Наталью, Инсаровъ—Елену, Соломинъ—Маріанну и т. д. Если эти герои и содѣйствуютъ правильному освѣщенію соотвѣтственныхъ женскихъ образовъ, то мы въ этомъ отношеніи сопоставимъ ихъ роль съ только что выясненной ролью Лемма и Марѳы Тимоѳеевны, но не съ тою, какую играетъ Лаврецкій. Читатель не спрашиваетъ у Рудина, что за натура Наталья: онъ это знаетъ и безъ Рудина, да и лучше его. По отношенію къ Еленѣ—онъ скорѣе обратится за разъясненіями къ Шубину и Берсеневу, чѣмъ къ Инсарову. Во всякомъ случаѣ, обращается, или нѣтъ, читатель за указаніями относительно главной героини къ главному герою романа,—онъ, повсюду, кромѣ «Дворянскаго гнѣзда», могъ бы обойтись и безъ этихъ указаній.

Digitized by Google

Для успѣшнаго исполненія такой роли, возложенной авторомъ на Лаврецкаго, необходимо прежде всего, чтобы самъ Лаврецкій былъ вполнѣ понятенъ читателю, и какъ типъ, и какъ натура. Все въ немъ должно быть ясно,—читатель долженъ знать своего руководителя или сотрудника во всѣхъ изгибахъ его души. И этому требованію художникъ удовлетворилъ вполнѣ. Если сравнить съ этой точки зрѣнія Лаврецкаго съ другими героями тургеневскихъ романовъ, то окажется, что въ ихъ ряду это—самое ясное, самое удобопонятное, никакихъ сомнѣній не возбуждающее лицо. Пониманіе Лаврецкаго дается читателю легко и незамѣтно, и едва ли возможны противорѣчивыя сужденія о немъ. Этого нельзя сказать напр. о Рудинѣ, о Базаровѣ, о Соломинѣ. Этихъ лицъ нужно умѣть понять, что не всегда удается, откуда и возможность различныхъ, часто діаметрально-противоположныхъ сужденій о нихъ. Надъ истолкованіемъ Лаврецкаго Тургеневъ, можно сказать, потрудился,—видна какъ бы заботливость о томъ, чтобы фигура вышла понятною во всѣхъ деталяхъ, и также, чтобы она вызывала въ читателѣ симпатію, довѣріе, родъ дружескаго расположенія. Этой заботливостью автора и вызвано длинное отступленіе (главы VIII—XVI), разсказывающее съ большими подробностями о предкахъ героя, о его воспитаніи, женитьбѣ и т. д. На всемъ протяженіи романа личность Лаврецкаго не перестаетъ привлекать къ себѣ сочувственное вниманіе читателя, не задавая ему никакихъ загадокъ. Душа Лаврецкаго открыта читателю, и въ сценахъ съ Леммомъ, Михалевичемъ, женой, Марьей Дмитріевной и другими читатель ясно видитъ все, что въ ней происходитъ. Зная Лаврецкаго такъ хорошо, читатель и въ сценахъ съ Лизою глубоко проникается всѣмъ, что чувствуетъ, что переживаетъ въ эти минуты Лаврецкій,—и въ силу этого становится въ положеніе чрезвычайно удобное для возсозданія и пониманія образа Лизы. Лиза наилучше видна сквозь призму душевныхъ состояній Лаврецкаго, ею же вызванныхъ. Напомню здѣсь еще разъ главу XXXIV-ю (объясненіе въ любви и музыка Лемма) и попрошу читателя сравнить эту сцену съ аналогичными ей сценами въ другихъ романахъ Тургенева, каковы напр. объясненіе Натальи съ Рудинымъ, Елены съ Инсаровымъ, Санина съ Джеммой, Нежданова съ Маріанной и др. Во всѣхъ этихъ сценахъ, принадлежащихъ къ числу безсмертныхъ страницъ во всемірной художественной литературѣ, вся суть дѣла—въ очарованіи читателя поэзіей любви. Не тотъ или другой женскій образъ, самъ по себѣ,

Digitized by Google

очаровываетъ здѣсь читателя, а именно — поэтическая прелесть любви, поэтическая минута цѣломудренныхъ признаній. Не то— въ главѣ XXXIV-ой «Дворянскаго Гнѣзда»; тамъ всѣ чары сосредоточены въ томъ, что чувствуетъ Лаврецкій и о чемъ поютъ неземные звуки музыки Лемма, а эти чувства и звуки указуютъ намъ—словно гдѣ то въ небесахъ—на идеальный образъ Лизы. Не поэзія любви, а поэзія души Лизы очаровываетъ читателя. Какъ чудное, неземное видѣніе нисходитъ образъ Лизы въ нашу потрясенную душу и живетъ въ ней—какъ неуловимая, неосуществимая, но безсмертная мечта вѣчно-женственнаго.

До послѣднихъ строкъ романа Лаврецкій не перестаетъ служить читателю вдохновителемъ этой мечты. Въ эпилогѣ, проникаясь настроеніемъ Лаврецкаго, онъ вмѣстѣ съ нимъ вспоминаетъ Лизу. Зрѣлище новой молодой жизни, шумно празднующей праздникъ весны своей, навѣваетъ Лаврецкому и вмѣстѣ съ нимъ и читателю тихія и грустныя думы на тему: «здравствуй, одинокая старость! Догорай безполезная жизнь!» И среди этихъ думъ витаетъ въ туманѣ образъ чистой дѣвушки, ушедшей отъ жизни обрекшей себя на суровый подвигъ подвижничества, — и все та же поэзія идеальной женской души, все та же мечта согрѣваетъ умиленную душу читателя. Послѣднія строки, кратко и глухо разсказывающія о посѣщеніи Лаврецкимъ того монастыря, гдѣ постриглась Лиза, являются послѣдними, замирающими звуками дивной симфоніи, озаглавленной «Дворянское гнѣздо», которая, какъ и Леммовская, «касается всего, что есть на землѣ дорогого, тайнаго, святого и, дыша безсмертной грустью, уходитъ умирать въ небеса».

VIII.

Художественные пріемы, силою которыхъ созданъ образъ Лизы, и самый этотъ образъ, какъ воплощеніе вѣчно-женственнаго идеала, еще яснѣе очертятся въ нашемъ сознаніи, если мы для сравненія обратимся къ одному изъ превосходнѣйшихъ произведеній знаменитаго польскаго писателя Болеслава Пруса, «Emancypantki», и познакомимся съ главной героиней этого романа, панной Магдаленой.

Сопоставленіемъ панны Магдалены съ Лизой мы подведемъ итогъ всему вышесказанному.

Панна Магдалена Бжеска это—«геній чувства», какъ опредѣляетъ ее въ концѣ романа одно изъ дѣйствующихъ лицъ. При

Digitized by Google

этомъ подъ терминомъ «чувство» нужно понимать любовь къ ближнему, всегдашнюю готовность прійти къ нему на помощь,— душу, всегда открытую для сочувствія, для состраданія. Къ паннѣ Магдаленѣ можно отнести слова Тургенева о Лизѣ: «вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого-бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности...» Но только этимъ не исчерпываются тѣ качества ея натуры, въ силу которыхъ она является «геніемъ чувства». На первый планъ нужно выдвинуть необыкновенную отзывчивость и чуткость въ сочувствіи и состраданіи и большую энергію въ преслѣдованіи альтруистическихъ цѣлей. Съ этой стороны она представляется натурою, гораздо болѣе экспансивною и активною, чѣмъ Лиза. На всемъ протяженіи романа она суетится и хлопочетъ въ интересахъ другихъ лицъ, постоянно забывая о себѣ и въ глубинѣ своей наивности даже и не подозрѣвая, какая чудная она душа, какое она прелестное и дивное созданіе.

Въ первой части романа, посвященной изображенію внутренней жизни женскаго училища (въ Варшавѣ), принадлежащаго г-жѣ Ляттеръ, панна Магдалена фигурируетъ въ числѣ второстепенныхъ учительницъ и теряется въ пестрой толпѣ женскихъ фигуръ, привлекающихъ къ себѣ почти все вниманіе читателя, который, дойдя до послѣдней страницы этой первой части, еще не догадывается, что эта молоденькая, наивная, бѣдная дѣвушка и будетъ главной героиней романа, что въ слѣдующихъ трехъ частяхъ на ней будетъ сосредоточенъ весь интересъ его. Правда, первое появленіе панны Магдалены на сцену невольно привлекаетъ любопытство читателя: онъ видитъ передъ собою прелестное, трогательно-наивное существо, которое сразу завоевываетъ его симпатію; правда также, что и въ послѣдующихъ сценахъ (этой первой части) читатель постоянно встрѣчаетъ панну Магдалену и всегда видитъ ее въ очень сочувственномъ освѣщеніи. Но при всемъ томъ онъ вовсе не склоненъ придавать большого значенія этому взрослому ребенку, и все его вниманіе поглощено общей картиной пансіонской жизни и личностями начальницы школы, г-жи Ляттеръ, и ея дѣтей, холодной красавицы Елены и сына Казиміра, красавца и хлыща. Эта первая часть оканчивается описаніемъ трагической смерти г-жи Ляттеръ, покончившей съ собою въ силу безвыходныхъ финансовыхъ обстоятельствъ и разочарованія въ дѣтяхъ, которыхъ она безумно любила, въ особенности сына.

Digitized by Google

Вторая часть переноситъ насъ въ глухой провинціальный городокъ, гдѣ живутъ родители панны Магдалены. Потрясенная смертью г-жи Ляттеръ, дѣвушка заболѣла нервной горячкой. Она лежитъ больная въ домѣ своихъ родителей, и ее лѣчитъ отецъ—докторъ. Не буду передавать довольно сложнаго содержанія этой части, гдѣ появляются новыя и очень любопытныя лица, и живо рисуется картина провинціальной жизни. Укажу только, что во-первыхъ, главный интересъ сосредоточивается здѣсь на личности панны Магдалены, которая, выздоровѣвъ, хлопочетъ объ открытіи начальной школы, но постоянно отклоняется въ сторону отъ этого плана, увлекаемая желаніемъ помочь одному, устроить другого, утѣшить третьяго, и что, во-вторыхъ, тутъ же уже слегка намѣчена основная идея всего романа: чистая, отзывчивая, полная добрыхъ чувствъ душа на каждомъ шагу встрѣчаетъ горькую обиду, клевету, неблагодарность; за добро ей платятъ зломъ, и горечь житейскаго опыта понемногу начинаетъ накопляться въ ней. Ощущеніе этой горечи, а еще болѣе недоумѣнія и мученія совѣсти по поводу своихъ собственныхъ, правда, только воображаемыхъ, а не дѣйствительныхъ, ошибокъ или грѣховъ приводятъ къ пробужденію религіознаго чувства. Панна Магдалена въ костелѣ передъ иконой Божьей Матери—одна изъ превосходнѣйшихъ страницъ романа.

Въ третьей и четвертой частяхъ мы видимъ панну Магдалену сперва въ роли гувернантки въ богатой, но мало образованной буржуазной семьѣ, потомъ—гостящей у ея друзей Сольскихъ, представителей передовой польской знати, затѣмъ жилицей меблированныхъ комнатъ, съ утра до вечера бѣгающей по дешевымъ урокамъ. Она вступаетъ въ разнообразныя, иногда весьма сложныя отношенія къ другимъ дѣйствующимъ лицамъ, которыя цѣлой толпой проходятъ передъ читателемъ—превосходно нарисованныя, типичныя, живыя. Но теперь уже панна Магдалена не затеривается въ этой пестрой толпѣ. Она рѣзко выдѣляется на этомъ живомъ фонѣ характеровъ и натуръ, и всѣ высокія качества ея души обнаруживаются съ необыкновенной отчетливостью. Читатель все болѣе и болѣе привязывается къ ней и, подчиняясь ея обаянію, забываетъ, что передъ нимъ не живой человѣкъ, а художественный образъ. Съ этой стороны, т. е. по живости изображенія, доводящей читателя до иллюзіи, образъ панны Магдалены можно сопоставить съ Наташей въ «Войнѣ и мирѣ». Нерѣдко встрѣчаются такія страницы, послѣ которыхъ читатель,

Digitized by Google

умиленный и потрясенный, откладываетъ книгу и, думая о паннѣ Магдаленѣ, какъ о живомъ человѣкѣ, почти готовъ заговорить съ нею. Сила и правда изображенія изумительныя. Есть мѣста чисто-шекспировскія, въ которыхъ глубокій трагизмъ положенія иногда сочетается съ элементомъ комическимъ, и читателю приходится въ одно и то же время и плакать и смѣяться... Вообще романъ Пруса по праву долженъ быть причисленъ къ числу тѣхъ художественныхъ произведеній, которыя способны, какъ говорится, «пронять» читателя. Но это не тотъ тяжелый кошмаръ, какой остается послѣ чтенія, напр. Достоевскаго—это то освѣжающее, бодрящее, облагораживающее потрясеніе, которое даютъ Шекспиръ, Пушкинъ, Мицкевичъ, Тургеневъ, Толстой.

Опутанный волшебствомъ художника, читатель съ захватывающимъ интересомъ слѣдитъ за всѣми перипетіями романа, за всѣми отношеніями героини къ другимъ лицамъ, за малѣйшими движеніями ея души и видитъ, какъ въ этой душѣ все больше и больше накопляется горечи, какъ ростетъ въ ней чувство обиды и разочарованія, какъ, наконецъ, избытокъ этихъ гнетущихъ ощущеній побуждаетъ панну Магдалену перейти отъ альтруизма къ религіозности, отъ служенія людямъ—къ самопожертвованію Богу. Она уходитъ въ монастырь,—на этомъ и оканчивается романъ, оставляя читателя въ неизвѣстности, навсегда-ли похоронитъ себя панна Магдалена въ монастырѣ, или-же это только временное бѣгство отъ жизни, и современемъ, оправившись отъ угнетеннаго состоянія духа, она, примиренная, вновь вернется къ жизни,—къ дѣятельному добру и къ счастью, которое, казалось-бы, для нея вполнѣ возможно.

Сопоставляя панну Магдалену съ Лизою, мы усматриваемъ слѣдующее различіе между этими двумя родственными по духу натурами, Лиза—душа прежде всего религіозная, а потомъ ужъ альтруистическая; панна Магдалена—натура прежде всего альтруистическая, а потомъ ужъ религіозная. Здѣсь я попрошу читателя припомнить то, что я говорилъ въ предшествующемъ (VIII-омъ) очеркѣ о внутреннемъ соотношеніи религіозныхъ устоевъ въ душѣ Лизы съ ея нравственнымъ императивомъ: они образуютъ психологическое основаніе послѣдняго и съ тѣмъ вмѣстѣ служатъ ему уравновѣшивающимъ началомъ. Въ паннѣ Магдаленѣ мы видимъ иное соотношеніе, иную постановку психическихъ силъ. У нея чисто-нравственное самоутвержденіе личности находитъ себѣ психологическое обоснованіе и необходимое урав-

Digitized by Google

новѣшеніе сперва не въ религіозныхъ, а въ альтруистическихъ стремленіяхъ. Иначе говоря, она жаждетъ удовлетворить нравственнымъ потребностямъ и запросамъ своей души посвященіемъ себя не Богу, а ближнимъ. И только потерпѣвъ на этомъ поприщѣ фіаско, не найдя искомаго удовлетворенія, разочарованная, оскорбленная въ лучшихъ своихъ чувствахъ,—она переходитъ отъ «прикладной» религіи альтруизма къ «чистой» религіи отшельничества. Правда, и Лиза обращается къ этой послѣдней не сразу, также—переиспытавъ извѣстныя намъ потрясенія и разочарованія. Но психологическая катастрофа Лизы была иная: Лиза увлеклась было мечтою о личномъ счастьи и—разочаровалась въ его возможности, въ его согласуемости съ ея чисто-нравственными требованіями. Панна Магдалена не о личномъ счастьи мечтала и не въ немъ разочаровалась. Вопросъ любви къ мужчинѣ серьезнымъ образомъ и не подымался въ ея душѣ.—Крушеніе мечты о счастьи привело Лизу въ такое душевное состояніе, при которомъ мистическая любовь къ Божеству, съ дѣтства въ ней жившая, возгорѣлась яркимъ и всесожигающимъ пламенемъ. Въ этомъ пламени и сгорѣли всѣ ея земныя привязанности, всѣ приманки, всѣ искушенія жизни, молодости, счастья. Это было возможно потому, что Лиза отъ рожденія—натура мистическая: помыслы о Богѣ, мысли о смерти, о загробномъ существованіи не переставали занимать ея умъ въ тѣ годы, когда всѣ мы меньше всего объ этомъ думаемъ,—въ особенности о смерти. Панна Магдалена къ этимъ вопросамъ и думамъ приходитъ постепенно,—по мѣрѣ накопленія въ ней горечи разочарованія. Она мало по малу какъ бы учится быть религіозно-мистичной, въ чемъ ей много помогаютъ бесѣды учителя Дембицкаго, большого философа—метафизика. Въ противоположность Лизѣ, панна Магдалена—натура не мистическая по существу, но только силою вещей приведенная къ мистицизму.

Обѣ героини, русская и польская, представляя двѣ разновидности одного и того же душевнаго уклада, дополняютъ другъ друга. На психологическій вопросъ: что такое высшая мистическая религіозность?—мы получимъ наиболѣе исчерпывающій отвѣтъ, если возьмемъ оба художественные образа вмѣстѣ. Отвѣтивъ на этотъ многосложный вопросъ однимъ только образомъ Лизы, мы оставимъ безъ разсмотрѣнія цѣлую его половину, именно—психологическія отношенія религіи къ жизни, роль альтруистическаго чувства, мистическія стремленія въ ихъ развитіи

Digitized by Google

подъ ударами жизни. Отвѣтивъ однимъ только образомъ панны Магдалены, мы упустимъ изъ вида другую половину вопроса—психологію мистической религіозности, не вынужденной, не «апостеріорной», а заранѣе данной, «апріорной»,* составляющей основной укладъ души, призваніе человѣка.

Оба «отвѣта», Лиза и панна Магдалена, являются характерными выразителями особенностей творческаго генія обоихъ художниковъ, Тургенева и Пруса.

Въ противоположность Тургеневу и подобно Толстому, Прусъ это—художникъ, въ творчествѣ котораго анализъ занимаетъ очень важное мѣсто—на ряду съ даромъ изобразительности. Онъ рисуетъ и тутъ-же производитъ глубокое психологическое изслѣдованіе того, что нарисовалъ. Такой укладъ творческой мысли дѣлаетъ его, какъ и Толстого, въ высокой степени приспособленнымъ къ воспроизведенію характеровъ, натуръ, вообще всякихъ душевныхъ явленій — въ процессѣ ихъ развитія, измѣненія, разложенія. Въ паннѣ Магдаленѣ онъ мастерски изобразилъ, изслѣдовалъ и объяснилъ душевный процессъ, приведшій героиню въ монастырь—вопреки настоящему ея призванію, которому, еслибы оно осуществилось, панна Магдалена могла-бы подвести итогъ словами:

Я на землѣ свершила все земное,
Я на землѣ любила и жила!

Въ творчествѣ Тургенева, наоборотъ, аналитическая сторона доведена до минимума. Но тѣмъ сильнѣе выражены въ немъ изобразительныя силы искусства. Въ связи съ этимъ геній Тургенева былъ приспособленъ къ воспроизведенію характеровъ и натуръ не столько въ ихъ развитіи, въ ихъ исторіи, сколько въ ихъ statu quo,—къ живописи остановленныхъ, законченныхъ типовъ. Его герои и героини стоятъ передъ читателемъ, такъ сказать, неподвижно, точно они произведенія живописи. Персонажи Толстого и Пруса живутъ на глазахъ читателя.

Въ Лизѣ Тургеневъ далъ намъ вполнѣ законченный типъ идеальной женской души, для которой религія составляетъ настоящее призваніе, какъ искусство для художника, какъ наука для ученаго. Чтобы окончательно осуществить это призваніе, для нея достаточно первыхъ-же противорѣчій, первыхъ уколовъ жизни, а отвратить отъ него безсильны даже волшебныя чары любви, даже всемогущее обаяніе счастья.

Digitized by Google

ПРИЛОЖЕНІЕ I.

Нѣсколько справокъ изъ критической литературы о Тургеневѣ.

Составляя этотъ очеркъ, я не задавался цѣлью прослѣдить нашу критическую литературу о Тургеневѣ. Я хотѣлъ только навести нѣкоторыя историко-литературныя справки, которыя бы показали, какъ въ нашей литературѣ выяснялись постепенно характерныя черты дарованія Тургенева, особенности или пути его творчества, значеніе созданныхъ имъ типовъ.

Какъ извѣстно, Тургеневъ впервые привлекъ къ себѣ вниманіе критики и публики «Записками Охотника» (1847—1851 гг.). Бѣлинскій, въ послѣдней изъ большихъ статей своихъ «Взглядъ на русскую литературу 1847 года» («Современникъ» 1848 г.), высказался какъ объ этихъ очеркахъ («Хорь и Калинычъ», «Бурмистръ», «Однодворецъ Овсяниковъ» и др.), такъ и вообще о талантѣ Тургенева. Великій критикъ, очень любившій Тургенева лично и высоко цѣнившій его умъ, не былъ однако пристрастенъ къ нему и—не провидѣлъ въ немъ того огромнаго творческаго дара, который такъ ярко обнаружился позже, но который уже даетъ себя чувствовать на лучшихъ страницахъ «Записокъ Охотника». Тѣмъ не менѣе Бѣлинскій вполнѣ правильно опредѣлилъ основное свойство художественнаго таланта Тургенева въ слѣдующихъ словахъ: «Главная характеристическая черта его таланта заключается въ томъ, что ему едвали бы удалось создать вѣрно такой характеръ, подобнаго которому онъ не встрѣтилъ въ дѣйствительности. Онъ всегда долженъ держаться почвы дѣйствительности. Для такого рода искусства ему даны отъ природы богатыя средства: даръ наблюдательности, способность вѣрно и быстро понять и оцѣнить всякое явленіе, инстинктомъ разгадать его причины и слѣдствія, и такимъ образомъ догадкою и соображеніемъ дополнить необходимый ему запасъ свѣдѣній, когда распросы мало объясняютъ». («Сочиненія Бѣлинскаго»)

Digitized by Google

изд. Солдатенкова, 1860, ч. 11-ая, стр. 417.)—Критикъ отмѣтилъ также «необыкновенное мастерство» Тургенева «изображать картины русской природы»: «Онъ любитъ природу не какъ диллетантъ, а какъ артистъ, и потому никогда не старается изображать ее только въ поэтическихъ ея видахъ, но беретъ ее какъ она ему представляется. Его картины всегда вѣрны, вы всегда узнаете въ нихъ нашу родную, русскую природу...» (Тамъ-же, стр. 418).—О содержаніи и общественномъ значеніи «Записокъ Охотника» Бѣлинскій почти ничего не говоритъ, ограничиваясь указаніемъ, что въ очеркѣ «Хорь и Калинычъ» «авторъ зашелъ къ народу съ такой стороны, съ какой до него къ нему никто еще не заходилъ». Слѣдуетъ краткая характеристика выведенныхъ лицъ: «Хорь, съ его практическимъ смысломъ и практическою натурою, съ его грубымъ, но крѣпкимъ и яснымъ умомъ ...—типъ русскаго мужика, умѣвшаго создать себѣ значущее положеніе, при обстоятельствахъ весьма неблагопріятныхъ. Но Калинычъ—еще болѣе свѣжій и полный типъ русскаго мужика: это поэтическая натура въ простомъ народѣ. Съ какимъ участіемъ и добродушіемъ авторъ описываетъ намъ своихъ героевъ, какъ умѣетъ онъ заставитъ читателей полюбить ихъ отъ всей души!» (Тамъ-же, стр. 417).—

Представитель славянофильской критики того времени, К. С. Аксаковъ привѣтствовалъ «Хоря и Калиныча» восторженной тирадой: «Вотъ что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: въ мигъ дается сила! Пока г. Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвяхъ да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ, все выходило вяло и безталанно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ—и посмотрите, какъ хорошъ его разсказъ!» («Москов. Сборникъ» 1847 г. Эту цитату я взялъ изъ статьи г. Грузинскаго «Къ исторіи «Зап. Охот.» Тургенева», о которой см. ниже.)—

П. В. Анненковъ, въ своихъ первоначальныхъ сужденіяхъ о дарованіи Тургенева, исходилъ, повидимому, изъ точки зрѣнія Бѣлинскаго: Тургеневъ представлялся ему не столько настоящимъ, «истиннымъ» художникомъ съ ясно—выраженнымъ даромъ творчества, сколько «беллетристомъ», создающимъ образы, основанные на «силѣ наблюдательности», «на литературной и житейской опытности», какъ выражается критикъ въ статьѣ «Замѣтки о русской литературѣ 1848 года («Современникъ», 1849, № 1.—Перепечатано въ «Воспоминаніяхъ и крити-

Digitized by Google

ческихъ очеркахъ» П. В. Анненковъ, С.-Петерб. 1879, отдѣлъ второй; цитиров. мѣсто—на стр. 41-ой).—«Г. Тургеневъ» — читаемъ здѣсь (стр. 40)—«первый, кажется, изъ нашихъ писателей понялъ важное значеніе того, что называется беллетристикою, и первый показалъ примѣры какъ замѣчательныхъ результатовъ, какіе она дать можетъ, такъ и рѣдкихъ качествъ, требуемыхъ ею отъ самого писателя». Ниже (стр. 41) указаны тѣ «важныя условія» и то «мастерство», какихъ «требуетъ беллетристика вообще»: «во-первыхъ, необходимо ей многостороннее знаніе жизни, зоркость взгляда, изощреннаго опытностью, всегдашнее присутствіе мысли, поясняющей наблюденія, и наконецъ еще талантъ разбора самыхъ явленій и вывода ихъ передъ читателемъ».—Не трудно видѣть, что все это для настоящаго художественнаго творчества еще болѣе необходимо, чѣмъ для «беллетристики». Очевидно, понятія Анненкова о художественномъ творчествѣ и о беллетристикѣ и о различіи между ними были шатки и неясны *).

Болѣе обстоятельную характеристику дарованія Тургенева далъ Анненковъ пять лѣтъ спустя, когда въ распоряженіи критика были новыя произведенія художника, въ томъ числѣ «Муму», «Два пріятеля» и «Затишье». Въ этихъ повѣстяхъ критикъ видитъ—и совершенно-справедливо — «зачатокъ истинной, плодотворной дѣятельности». («Характеристики—И. С. Тургеневъ и Л. Н. Толстой», «Соврем. 1855, № 1». «Воспом. и критич. статьи», Отдѣлъ II, стр. 84; цитир. мѣсто—на стр. 92).—Тургеневъ сдѣлалъ въ эти годы значительный шагъ впередъ—въ смыслѣ достиженія бо́льшей простоты и правды. Анненковъ отмѣ-

*) Приведемъ и дальнѣйшее: «Бо́льшая часть разсказовъ охотника родилась изъ прямыхъ, личныхъ впечатлѣній автора». (Анненковъ склоненъ, повидимому, усматривать въ этомъ характерный признакъ беллетристическаго творчества,—и совершенно напрасно).—«Онъ обращаетъ въ картину случай, ему представившійся; разбираетъ передъ вами характеръ, имъ встрѣченный, и даже передаетъ въ формѣ разсказа собственное свое воззрѣніе на какой-либо предметъ; но сколько искусства расточено у него при этой передачѣ разнородныхъ своихъ пріобрѣтеній!..»—«Вѣрность окружающему, за которой такъ гоняется псевдо-реализмъ, рѣдко достигая ея, является тутъ сама по себѣ и часто достигаетъ поэтическаго выраженія, по глубокому проникновенію въ жизнь, по изученію ея. Мы желаемъ отъ души русской литературѣ наиболѣе беллетристическихъ талантовъ, дающихъ подобные результаты».—

Digitized by Google

чаетъ это. Онъ указываетъ на то, что юморъ Тургенева становится сдержаннѣе и серьезнѣе и уже не сбивается такъ часто на «передразниванія и гримасы», какъ это было прежде. Характеры разработаны глубже и разностороннѣе. Выведены болѣе сложныя натуры («сложныя, нѣсколько запутанныя физіономіи»), «требующія уже мысли и творчества». Художественныя обобщенія Тургенева становятся и шире и ярче: читатель... «легко находитъ (въ повѣстяхъ Тургенева) мысль, поясняющую ему множество лицъ, существующихъ вокругъ него» (Тамъ-же, стр. 93).

Недавно г. Грузинскій въ статьѣ «Къ исторіи «Записокъ Охотника» Тургенева» («Научное слово» 1903, кн. VII) указалъ на то, что признаки этого перехода отъ «старой манеры» къ новой ясно замѣтны въ отдѣльномъ изданіи «Записокъ Охотника», вышедшемъ въ свѣтъ въ 1852 г.: здѣсь, кромѣ возстановленія того, что было въ журналѣ измѣнено или выброшено цензурою, Тургеневъ «подвергъ всѣ разсказы внимательному пересмотру и исправленію» («Научн. слово», 1903, кн. VII, стр. 86).—Сличивъ оба текста, г. Грузинскій показалъ, какъ значительна была «работа надъ стилемъ и художественной стороной, которую предпринялъ Тургеневъ, приготовляя къ печати «Зап. Ох.» въ 1852 г.» — «Почти каждый разсказъ носитъ на себѣ слѣды тщательной, часто мелкой и тонкой отдѣлки; тамъ новый образъ или прежній обогащенъ живыми деталями, здѣсь сглажено угловатое выраженіе, смягчена рѣзкость или устранена неумѣстность; тутъ измѣнено самое отношеніе къ предмету» (тамъ-же, стр. 92).—Это подтверждается рядомъ любопытныхъ примѣровъ (стр. 92—95).– Прекрасная и содержательная статья г. Грузинскаго представляетъ собою, кажется, отрывокъ изъ болѣе обширной работы, которая должна показать, что «Записки Охотн.» лежатъ на рубежѣ первой, нѣсколько изысканной манеры Тургеневской, съ чертами романтической причудливости и оригинальничанія, и не вполнѣ свободны отъ ея недостатковъ», и что «на этомъ произведеніи сознанъ былъ авторомъ поворотъ къ простотѣ зрѣлаго творчества, подготовленный, конечно, и ростомъ таланта, и самой жизненной важностью «Записокъ Охотника» » (Тамъ-же, 109).—

Половина 50-тыхъ годовъ была поворотнымъ пунктомъ въ развитіи творческихъ силъ Тургенева. Въ 1855 г. написанъ былъ «Рудинъ», и этимъ произведеніемъ Тургеневъ, какъ справедливо

Digitized by Google

говоритъ г. Грузинскій (стр. 109), «впервые вышелъ изъ переходной эпохи и непринужденно вступилъ въ область романа...»—

П. В. Анненковъ, въ свое время, не только отмѣтилъ этотъ переходъ, но отчасти даже содѣйствовалъ ему, побуждая Тургенева (въ критическихъ статьяхъ и въ письмахъ) расширить рамки художественныхъ наблюденій и обратиться къ созданію широкихъ общественныхъ и психологическихъ типовъ. Находясь въ близкихъ, дружественныхъ отношеніяхъ съ Тургеневымъ, Анненковъ не переставалъ слѣдить за развитіемъ его дарованія и расширеніемъ кругозора. Тургеневъ, съ своей стороны, очень цѣнилъ художественный вкусъ и мнѣнія Анненкова и обыкновенно отдавалъ свои рукописи ему на просмотръ, при чемъ иногда дѣлалъ въ нихъ поправки по его указаніямъ. Анненковъ, очевидно, былъ превосходный критикъ-читатель. Нужно отличать этотъ особый «талантъ» онѣ таланта критика-писателя. Въ Анненковѣ послѣдній былъ гораздо ниже перваго. Оттого-то его критическія статьи ни въ свое время, ни тѣмъ болѣе потомъ большого значенія не имѣли,—въ противоположность его сужденіямъ, какъ читателя, какъ очевидца, а равно и его воспоминаніямъ (о Гоголѣ, о Тургеневѣ, о Бѣлинскомъ и др.): все это до сихъ поръ читается съ большимъ интересомъ и сохраняетъ цѣнность историческаго документа.—

Что касается сужденій Анненкова о Тургеневѣ, то все лучшее, все вѣрное въ нихъ принадлежитъ именно Анненкову — «какъ читателю». Сюда относится преимущественно опредѣленіе особенностей художественнаго дарованія Тургенева и указанія на постепенное расширеніе его кругозора, его наблюденій. Эти указанія мы находимъ и въ статьѣ, посвященной «Дворянскому Гнѣзду» («Наше общество въ «Двор. Гн.» Тургенева», «Русс. Вѣстн.» 1859, № 16. «Воспоминанія и крит. очерки», II, стр. 194—221.)—Что касается разбора самихъ образовъ, то и здѣсь критика Анненкова сбивается на критику отличнаго читателя, чуткаго и вдумчиваго, умѣющаго уловить мысль художника. Это сказалось съ особливой наглядностью на страницахъ, посвященныхъ Лизѣ, гдѣ Анненковъ вполнѣ правильно утверждаетъ, что по натурѣ, отъ рожденія, героиня «Двор. Гнѣзда» принадлежитъ къ тѣмъ «высоко-нравственнымъ характерамъ», которые, подобно поэтамъ, «родятся» (стр. 200 и сл.). Анненковъ хорошо понялъ то, чего не понимали многіе: преобладаніе въ Лизѣ этическаго начала, его господствующую роль въ ея душевномъ укладѣ. Но

Digitized by Google

онъ понялъ или замѣтилъ это—какъ отличный читатель, и отчетливо выразилъ свое пониманіе—и только. Ни художественно-критическаго, ни психологическаго анализа образа Лизы онъ не далъ.—

Въ 1859 году Тургеневъ написалъ «Наканунѣ». Послѣ «Дворянскаго Гнѣзда» это былъ еще шагъ впередъ и новое блестящее доказательство расцвѣта художественной силы Тургенева. Пора было дать надлежащую оцѣнку этой силы, измѣрить ее. Чтобы это сдѣлать, нужно было прежде всего опредѣлить жизненное значеніе образовъ, созданныхъ поэтомъ, и взглянуть на самую дѣйствительность—какъ освѣщается она свѣтомъ художественныхъ идей, истекающимъ изъ этихъ образовъ. Это и сдѣлалъ Добролюбовъ въ знаменитой статьѣ о «Наканунѣ», озаглавленной «Когда же придетъ настоящій день?»—

Въ лицѣ Добролюбова Тургеневъ впервые встрѣтилъ настоящаго критика.

Если отъ художника мы требуемъ, чтобы онъ не только отражалъ жизнь въ образахъ—какъ въ зеркалѣ, но, отражая, обобщалъ, освѣщалъ и истолковывалъ ее, то отъ критика мы требуемъ, чтобы онъ, объясняя художника, далъ намъ больше того, что мы уже получили отъ послѣдняго. Если критикъ только отражаетъ и передаетъ то, что далъ художникъ, то его «критическая» работа—не нужна, безплодна. При этомъ даже мѣткое указаніе сильныхъ и слабыхъ сторонъ художественнаго произведенія, имѣя, конечно, свое значеніе, не можетъ заполнить пробѣла, являющагося слѣдствіемъ недостатка самостоятельной—въ своемъ родѣ творческой—работы критика. У Добролюбова оцѣнка сильныхъ и слабыхъ сторонъ художественнаго произведенія отступала на второй и даже третій планъ; онъ обращалъ мало вниманія на такъ называемыя «красоты» произведенія, равно какъ и на его недостатки. Но зато съ тѣмъ бо̀льшею силою развивалъ онъ свое собственное творчество, какъ самостоятельный мыслитель, обладающій своимъ запасомъ идей, одаренный рѣдкимъ чутьемъ дѣйствительности, исключительною отзывчивостью на запросы жизни. Говорятъ, что критикъ долженъ прежде всего «понимать» поэзію. И совершенно напрасно говорятъ, ибо это само собою разумѣется: какъ нельзя быть музыкальнымъ критикомъ, не понимая музыки, не имѣя слуха, такъ, конечно, нельзя быть и критикомъ поэтическихъ произведеній, не понимая поэзіи. Нѣтъ ни малѣйшей надобности настаивать на этомъ.

Digitized by Google

Гораздо нужнѣе другое утвержденіе, гласящее, что критикъ долженъ прежде всего понимать жизнь, во-первыхъ въ смыслѣ знанія и пониманія той среды, изъ которой взяты образы художника, а потомъ, что еще важнѣе,—въ смыслѣ глубокихъ сочувствій всему человѣческому, въ смыслѣ живой отзывчивости на страданія и на радости людскія, наконецъ,—чуткости совѣсти, какъ надежнаго мѣрила человѣческаго достоинства и всѣхъ отношеній личности къ обществу, мѣрила, изощреннаго общимъ—прогрессивнымъ и жизнеспособнымъ—воззрѣніемъ на задачи личности и общества. Всѣмъ этимъ Добролюбовъ обладалъ въ высокой степени.

Юноша съ умомъ зрѣлаго человѣка, съ сильнымъ, установившимся характеромъ, натура въ одно и то же время и нѣжная, и суровая, высокій духъ, закаленный въ сложной внутренней работѣ самовоспитанія, рѣдкая чистота нравственной личности, чуждой какихъ-бы-то-ни-было компромиссовъ или уклоненій, преданность идеѣ и идеалу, наконецъ выходящія изъ ряда умственныя силы и яркій талантъ критика, публициста и поэта—таковъ былъ Н. А. Добролюбовъ, основатель реальной критики, истолкователь Островскаго, Гончарова, Тургенева и частью Достоевскаго, воспитатель поколѣнія 60-хъ и 70-хъ годовъ.—

Статья о «Наканунѣ», какъ и другія большія статьи Добролюбова, представляетъ собою законченное, самостоятельное цѣлое, состоящее, такъ сказать, на равныхъ правахъ съ разобраннымъ въ немъ произведеніемъ художника. Если статью Добролюбова можно назвать критическимъ комментаріемъ къ повѣсти Тургенева, то, съ такимъ же правомъ, можно назвать эту повѣсть художественною иллюстраціею къ статьѣ Добролюбова. Стройное развитіе основной мысли, соразмѣрность частей, мастерство анализа характеровъ и соотвѣтственныхъ явленій жизни, выдержанность тона, экономія литературныхъ средствъ—таковы, характерныя для Добролюбова, черты, дѣлающія эту статью, какъ и другія, произведеніемъ въ своемъ родѣ творческимъ, имѣющимъ самостоятельное значеніе.—

Къ самому началу 60-хъ годовъ относится перлъ Тургеневскаго творчества, романъ «Отцы и Дѣти», вызвавшій въ нашей литературѣ цѣлую бурю—разнорѣчивыхъ сужденій, страстныхъ порицаній, негодованія, недоразумѣній, восторженныхъ похвалъ. Среди этого шума ярко выдѣляется блестящая статья Писарева («Базаровъ», «Русс. Слово» 1862, № 3; Сочин., т. II-ой.).—

Какъ извѣстно, Писаревъ, въ противоположность г. Антоновичу, усмотрѣвшему въ Базаровѣ клевету на молодое поколѣніе, взялъ Тургеневскаго героя подъ свою защиту и смѣло объявилъ, что «Базаровъ—представитель нашего молодого поколѣнія», что «въ его личности сгруппированы тѣ свойства, которыя мелкими долями разсыпаны въ массахъ...» Даровитый писатель, яркій представитель молодого поколѣнія 60-хъ годовъ, находилъ, что «Тургеневъ вдумался въ типъ Базарова и понялъ его такъ вѣрно, какъ не пойметъ ни одинъ изъ нашихъ молодыхъ реалистовъ».— Въ такомъ пониманіи Базарова, а равно и въ высокой оцѣнкѣ его натуры, характера и ума сошелся съ Писаревымъ и другой критикъ, принадлежавшій къ одной изъ разновидностей славянофильства, Н. Н. Страховъ (въ статьѣ объ «Отцахъ и Дѣтяхъ», во «Времени», апрѣль; перепечатана въ книгѣ «Н. Страховъ. Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ», С.-Петерб., изд. 2-е, стр. 1—49.)—Объ статьи, Писарева и Страхова, имѣли несомнѣнное значеніе въ дѣлѣ установленія правильнаго пониманія одной изъ крупнѣйшихъ фигуръ нашей художественной литературы — Базарова, а съ тѣмъ вмѣстѣ и въ дѣлѣ выясненія заслугъ Тургенева. Здѣсь невольно вспоминается то мѣсто въ письмѣ Тургенева къ Случевскому (14 апр. 1862 г.), гдѣ романистъ говоритъ: «если читатель не полюбитъ Базарова со всею его грубостью, безсердечностью, безжалостной сухостью и рѣзкостью,—если онъ его не полюбитъ, повторяю я,— я виноватъ и не достигъ своей цѣли».—И вотъ оказывается, что представители двухъ различныхъ, во многомъ противоположныхъ направленій, въ самомъ дѣлѣ полюбили Базарова, — и этимъ показали, что Тургеневъ «достигъ своей цѣли».—Въ характеристикѣ Базарова, сдѣланной Страховымъ, нужно отмѣтить взглядъ на Базарова, какъ натуру аскетическую, и при томъ—высшаго порядка. «Глубокій аскетизмъ проникаетъ всю личность Базарова; это черта не случайная, а существенно необходимая. Характеръ этого аскетизма совершенно особенный... Базаровъ отрекается отъ благъ этого міра, но онъ дѣлаетъ между этими благами строгое различіе. Онъ охотно ѣстъ вкусные обѣды и пьетъ шампанское; онъ непрочь даже поиграть въ карты... Базаровъ понимаетъ, что простыя или чисто тѣлесныя удовольствія гораздо законнѣе и простительнѣе наслажденій иного рода. Базаровъ понимаетъ, что есть соблазны болѣе гибельные, болѣе растлѣвающіе душу, чѣмъ напр. бутылка вина, и онъ бережется

Digitized by Google

не того, что можетъ погубить тѣло, а того, что погубитъ душу. Наслажденіе тщеславіемъ, джентльменствомъ, мысленный и сердечный развратъ всякаго рода для него гораздо противнѣе и ненавистнѣе, чѣмъ ягоды со сливками или пулька въ преферансъ. Вотъ отъ какихъ соблазновъ онъ бережетъ себя; вотъ тотъ высшій аскетизмъ, которому преданъ Базаровъ». (Крит. статья, стр. 14—15).—Вотъ именно изъ этого аскетизма натуры Базарова Страховъ и выводитъ отрицаніе поэзіи, искусства, эстетики, любви и т. д., всего, что, такъ сказать, размягчаетъ и услаждаетъ душу. Я вижу здѣсь нѣкоторую ошибку: отрицаніе поэзіи и вообще искусства едва-ли вытекаетъ съ психологическою необходимостью изъ того аскетическаго (если ужъ брать этотъ терминъ) уклада натуры, какой мы видимъ у Базарова. Вѣдь Базаровскій аскетизмъ—не средневѣковый, не монашескій; онъ также—не религіознаго порядка, а равно не можетъ быть названъ моральнымъ въ тѣсномъ смыслѣ. Это—«аскетизмъ» суровой, гордой, независимой личности, это также—аскетизмъ «революціонера». Такой аскетизмъ вовсе не обязываетъ отрицать искусство. Онъ побуждаетъ только къ коренному измѣненію понятія о немъ: искусство—наслажденіе, поэзія—забава и украшеніе жизни должны быть замѣнены понятіемъ о нихъ, какъ о высшей дѣятельности духа, преслѣдующей иныя, высшія и лучшія цѣли, служащей обществу, задачамъ прогресса, благу народному. Такъ ставилъ вопросъ напр. Добролюбовъ, натура того-же «аскетическаго» или, скажемъ лучше, стоическаго пошиба. Иначе смотрѣлъ Писаревъ, натура отчасти «эпикурейскаго» склада. Онъ упрекаетъ Тургенева именно въ томъ, что онъ заставилъ Базарова отрицать эстетику, искусство, поэзію. Мы не предъявимъ Тургеневу такого упрека и только повторимъ то, что сказано объ этомъ въ главѣ I, IV: это было однимъ изъ выраженій присущаго Базарову стремленія къ внутренней свободѣ. Кромѣ того, здѣсь сказалась черта времени: отрицаніе искусства входило въ кодексъ «нигилизма» 60-хъ годовъ, хотя этотъ «пунктъ» признавался далеко не всѣми представителями этого направленія. — Любопытно отмѣтить въ статьѣ Страхова еще слѣдующія двѣ мысли, относящіяся все къ тому же вопросу (объ отрицаніи искусства, а затѣмъ и другихъ высшихъ проявленій духа человѣческаго,—философіи и даже науки): 1) отрицаніе искусства и всего «изящнаго», по мнѣнію Страхова, это русская національная черта. «Базаровъ въ этомъ случаѣ»—говоритъ критикъ — «представляетъ живое во-

Digitized by Google

площеніе одной изъ сторонъ русскаго духа. Мы вообще мало расположены къ изящному; мы для этого слишкомъ трезвы, слишкомъ практичны. Сплошь и рядомъ можно найти между нами людей, для которыхъ стихи и музыка кажутся чѣмъ-то или приторнымъ, или ребяческимъ. Восторженность и высокопарность намъ не по нутру; мы больше любимъ простоту, ѣдкій юморъ, насмѣшку. А на этотъ счетъ, какъ видно изъ романа, Базаровъ самъ великій художникъ». («Крит. статьи», стр. 20.)—Здѣсь есть доля правды, но ей мѣшаетъ смѣшеніе понятій «искусства», «изящнаго», «восторженнаго» и «высокопарнаго».—2) Отрицаніе искусства, философіи, отвлеченной науки представлялось Страхову явленіемъ не случайнымъ, не мѣстнымъ (напр. въ Россіи), наконецъ не просто «нигилизмомъ», а явленіемъ всеобщимъ, европейскимъ, имѣющимъ глубокій смыслъ, можно сказать, исторически — необходимымъ. Критикъ видитъ въ этомъ слѣдствіе «разногласія между жизнью и мыслью», которое «никогда такъ сильно не чувствовалось, какъ теперь». (Стр. 25). Это, конечно, преувеличено, и мысль недостаточно развита; но въ ней есть зародышъ воззрѣнія на Базарова, какъ на широкій психологическій типъ, имѣющій общественное значеніе.

Отмѣтимъ еще заключительное сужденіе Страхова о Базаровѣ: «Базаровъ вышелъ человѣкомъ простымъ, чуждымъ всякой изломанности, и вмѣстѣ крѣпкимъ, могучимъ душою и тѣломъ. Все въ немъ необыкновенно идетъ къ его сильной натурѣ. Весьма замѣчательно, что онъ такъ-сказать болѣе русскій, чѣмъ всѣ остальныя лица романа. Его рѣчь отличается простотою, мѣткостью, насмѣшливостью и совершенно русскимъ складомъ... Базаровъ есть первое сильное лицо, первый цѣльный характеръ, явившійся въ русской литературѣ изъ среды такъ-называемаго образованнаго общества...» (стр. 29.)—

Появленіе въ 1867 году романа «Дымъ» навлекло на Тургенева градъ нареканій съ различныхъ сторонъ, въ томъ числѣ и со стороны передовыхъ славянофиловъ, къ числу которыхъ принадлежалъ Н. Н. Страховъ, весьма близко подходившій, по основнымъ воззрѣніямъ, къ идеямъ и идеаламъ Герцена. Страховъ отозвался полемическою статьею въ «Отечеств. Зап.» 1867 г. (Краевскаго), хорошо выражающею точку зрѣнія автора, но ничего не дающею для истолкованія такого крупнаго вклада въ

Digitized by Google

нашу художественную литературу и вмѣстѣ съ тѣмъ въ нашу общественную мысль, какъ романъ—сатира или даже романъ—памфлетъ «Дымъ». («Критич. статьи», стр. 50 и сл.)—

Со стороны западниковъ выступилъ П. В. Анненковъ — со статьею «Современная исторія въ романѣ И. С. Тургенева «Дымъ» (Вѣстн. Европы, 1867, іюнь.—«Воспомин. и крит. очерки», отд. II, стр. 342 и сл.), гдѣ правильно показанъ и смыслъ, и значеніе романа.—Здѣсь между прочимъ отмѣченъ и переходъ къ тому, что̀ можно было бы назвать «третьей манерой» Тургенева. Это именно—усиленіе сатирическихъ пріемовъ, рѣзкія черты, переходящія въ каррикатуру, избытокъ ѣдкой иронiи и злыхъ сарказмовъ. По этому поводу Анненковъ говоритъ: «Онъ (Тургеневъ) такъ пріучилъ читателей къ тонкимъ чертамъ, мягкимъ очеркамъ, къ лукавой и веселой шуткѣ, когда ему приходилось смѣяться надъ людьми, къ изящному выбору подробностей, когда онъ рисовалъ ихъ нравственную пустоту, что многіе не узнали любимаго своего автора въ нынѣшнемъ сатирикѣ и писателѣ, высказывающемъ всѣ свои впечатлѣнія прямо и на чистоту. Нѣкоторые даже спрашивали: что̀ съ нимъ сдѣлалось?—Съ нимъ ничего не сдѣлалось, кромѣ того, что на него низошла минута, часто являющаяся въ жизни замѣчательныхъ общественныхъ дѣятелей, когда потребность быть искреннимъ и откровеннымъ превозмогаетъ у нихъ всѣ другія соображенія...» («Восп. и крит. оч.», II, стр. 343—344.)—

Во «Введеніи» мы видѣли, подъ вліяніемъ какихъ обстоятельствъ «низошла» на Тургенева эта «минута» полной откровенности.

Къ этой-же «третьей манерѣ» принадлежитъ и «Новь» съ ея сатирическими фигурами Калломѣйцова и Сипягина. Напротивъ, молодое поколѣніе (Неждановъ, Соломинъ и др.) написаны въ стилѣ «второй манеры».

Общій обзоръ художественной дѣятельности Тургенева сдѣланъ въ извѣстныхъ сочиненіяхъ—Ореста Миллера («Русскіе писатели послѣ Гоголя»), проф. Иванова («И. С. Тургеневъ. Жизнь, личность, творчество») и др.

Полезнымъ пособіемъ для ознакомленія съ литературою о Тургеневѣ можетъ служить «Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева», составленное В. Зелинскимъ.

Digitized by Google

ПРИЛОЖЕНІЕ II.

Къ страницѣ 208-й.

Психическое явленіе, извѣстное подъ именемъ нравственнаго начала въ человѣкѣ, представляется какъ-бы двойственнымъ, словно оно, выражаясь фигурально, спаяно изъ двухъ разнородныхъ элементовъ—индивидуальнаго и соціальнаго. Эту двойственность нетрудно замѣтить помощью самонаблюденія. Когда нравственное чувство пробуждается къ дѣятельности, когда слышенъ голосъ совѣсти, карающій, предостерегающій или, напротивъ, ободряющій, тогда человѣку становится ясно, что въ этомъ дѣлѣ его внутренее «я»—само себѣ и судья, и подсудимый. Пусть другіе, пусть все общество оправдываютъ и одобряютъ мой поступокъ, который моя совѣсть осуждаетъ,—я не повѣрю общественному мнѣнію и приговору, я повѣрю своей совѣсти. Возможно, что одобреніе другихъ поддержитъ меня въ этомъ случаѣ, и я буду стараться не слышать голоса своей совѣсти; но можно утверждать навѣрное, что это мнѣ не удастся. Въ лучшемъ (или, правильнѣе, въ худшемъ) случаѣ голосъ совѣсти будетъ отчасти заглушенъ, или я пріучу себя не обращать на него должнаго вниманія, не слушаться его,—но нѣтъ такихъ силъ, которыя заставили бы его замолчать, которыя бы упразднили мою совѣсть,—пока, разумѣется, я человѣкъ нравственно-здоровый, нормальный.—И наоборотъ: если моя совѣсть меня одобряетъ, то, сколько бы ни осуждали меня другіе, общественное мнѣніе, весь міръ, я повѣрю своей совѣсти, хотя и буду, вѣроятно, страдать отъ этого разлада между моимъ нравственнымъ сознаніемъ и общественнымъ мнѣніемъ. Исходъ конфликта можетъ быть разный, напр. тотъ, что, по слабости характера или по другимъ причинамъ, я подчинюсь общественному мнѣнію и требованію, и буду говорить и поступать такъ, какъ хочетъ общество и вопреки моей совѣсти. Но вѣдь голосъ ея всетаки будетъ слышенъ, и даже станетъ еще громче, одобряя меня за прежнее, осуждая и терзая за второе, за уступку обществу.—Такого рода случаи достаточно извѣстны всѣмъ намъ и легко наблюдаются, легко улавливаются сознаніемъ и крѣпко запечатлѣваются въ памяти, ибо совѣсть — это нѣчто могущественное, неумолимое, неистребимое (опять напомню — у лицъ нравственно-нормальныхъ), она въ самомъ дѣлѣ—

Google

Когтистый звѣрь, скребящій сердце...
Незваный гость, докучный собесѣдникъ,
Заимодавецъ грубый...

Въ результатѣ такихъ самонаблюденій получается у насъ воззрѣніе на нравственное чувство съ его органомъ — совѣстью, какъ на нѣчто глубоко-личное, самостоятельное, самовластное и—антисоціальное. Пусть по многимъ и многимъ пунктамъ моя совѣсть требуетъ того-же, чего требуетъ и общественное мнѣніе: это значитъ, мое нравственное развитіе стоитъ на томъ же уровнѣ, на какомъ находится нравственное развитіе другихъ людей, составляющихъ общество, или, по крайней мѣрѣ, большинство; но это не значитъ, что моя совѣсть услужливо и податливо примѣняется къ совѣсти другихъ. По другимъ пунктамъ онѣ могутъ разойтись, и тогда ясно обнаружится вся неподатливость, негибкость совѣсти. Какъ сила соціальная, совѣсть или, возьмемъ шире, нравственная личность человѣка есть сила «нестадная», недисциплинированная, плохой рядовой, неутомимый, но своенравный, не признающій отвѣтственности общественный работникъ. И чѣмъ выше и сложнѣе становится, въ порядкѣ прогрессивной эволюціи, нравственное начало въ человѣкѣ, тѣмъ большей автономіи достигаетъ оно, и съ тѣмъ вмѣстѣ ярче обнаруживаются его антисоціальныя стремленія, грозя даже превратить добрую половину человѣческой личности въ силу, совсѣмъ негодную для соціальной жизни, для общественной упряжки.

Такова психологическая картина, которая представится намъ, если мы, наблюдая нравственное начало, сосредоточимъ наше вниманіе исключительно на тѣхъ сторонахъ или свойствахъ его, которыми оно обнаруживается—какъ начало строго-личное, индивидуалистическое, самобытное, самодовлѣющее и автономное. И эта «картина»—не фикція,—мы найдемъ ее, въ разныхъ видахъ, съ различными варіаціями, въ самой дѣйствительности и еще—въ психіатрическихъ лѣчебницахъ. Исторія знаетъ фанатиковъ и аскетовъ нравственнаго чувства, бѣгущихъ изъ общества, съ которымъ ихъ совѣсть не можетъ ладить, — мучениковъ своей совѣсти, ставшей слишкомъ автономной и превратившейся въ слишкомъ чувствительный аппаратъ,—далѣе маніаковъ нравственныхъ идей,—ригористовъ въ родѣ того «изверга добродѣтели», о которомъ говоритъ Тургеневъ въ извѣстномъ стихотвореніи въ прозѣ,—нравственныхъ ипохондриковъ, страдающихъ муками совѣсти отъ воображаемыхъ грѣховъ, и т. д. и т. д.—Здѣсь найдутся явленія весьма различнаго порядка и

достоинства; мы видимъ тутъ и людей, достигшихъ высшей ступени нравственнаго развитія, наибольшей утонченности нравственнаго чувства, людей—морально здоровѣе здоровыхъ, людей такъ-сказать, «сверхъ-нормальныхъ»; но мы найдемъ здѣсь и людей анормальныхъ, уклоняющихся въ сторону отъ нормы, субъектовъ болѣзненныхъ.—

Теперь взглянемъ на другую—противоположную — сторону «нравственнаго начала». Какъ оно ни индивидуально, ни автономно, однако у всѣхъ насъ неискоренимо сознаніе, что оно—соціально. Пусть на каждомъ шагу оно обнаруживаетъ свои антисоціальныя стремленія, но всѣ мы отлично чувствуемъ и знаемъ, что безъ него соціальная жизнь была бы невозможна. И по справедливости, настоящими, подлинно—антисоціальными элементами являются не тѣ люди, у которыхъ нравственное чувство высоко развито и дѣйствуетъ автономно, а тѣ, у которыхъ оно слабо развито, атрофировано или совсѣмъ отсутствуетъ, какъ у нравственно—сумасшедшихъ.—Мало того. Мы хорошо знаемъ, что тонко-развитое, автономное, слѣдовательно на видъ «антисоціальное» нравственное чувство работаетъ не только за свой, но и за чужой счетъ, — совѣсть очень моральныхъ натуръ страдаетъ сплошь и рядомъ за чужіе грѣхи, за общественныя несовершенства и равно находитъ удовлетвореніе при видѣ чужихъ добрыхъ дѣлъ, общественнаго совершенствованія — стало быть, ея дѣйствіе, ея «компетенція» переходитъ за предѣлы личности, и она становится силою соціальною.

Примиряя обѣ точки зрѣнія, мы скажемъ, что нравственное начало съ ея органомъ—совѣстью есть психическое явленіе не антисоціальное, а сверхъ-соціальное. Высоко-моральная личность, поднявшаяся надъ даннымъ уровнемъ нравственнаго сознанія, находится въ разладѣ съ обществомъ, но, уже однимъ фактомъ своего существованія, она содѣйствуетъ повышенію нравственнаго уровня и созданія иной общественности—на иныхъ, высшихъ нравственныхъ началахъ. Она—сила не разрушительная, а созидательная. Человѣчество совершенствуется—муками совѣсти своихъ праведниковъ.—

Присмотримся нѣсколько ближе къ этой — соціальной или сверхъ-соціальной сторонѣ или, скажемъ, «тягѣ» нравственнаго сознанія.

Digitized by Google

Это прежде всего—тяга личности къ тому, что́—«не—я»,—сперва къ ближайшей средѣ, семейной, классовой, общественной, потомъ—національной, потомъ—вообще человѣческой, наконецъ—всемірной, космической. Разница—въ широтѣ захвата, принципіально-же нѣтъ противорѣчія между тягою или любовью ко всему человѣчеству и даже космосу и слѣдовательно Божеству и тягою или любовью къ роднымъ, своимъ, къ ближайшей средѣ. Человѣчество и Космосъ являются здѣсь какъ-бы продолженіемъ ближайшей соціальной среды. И понятно: чѣмъ нравственное сознаніе выше, сложнѣе, тоньше, совершеннѣе, тѣмъ болѣе обширнаго района или поприща требуетъ оно для своей дѣятельности. Заурядно-моральный человѣкъ любитъ семью, близкихъ, родину и мучится совѣстью или радуется за нихъ, при чемъ эта любовь, эти муки и радости, вообще работа совѣсти прекращаются на границахъ этихъ сферъ. Человѣкъ съ болѣе развитымъ нравственнымъ сознаніемъ, въ своей моральной жизни и дѣятельности, выходитъ за эти предѣлы. Высоко моральной натурѣ уже тѣсно даже все человѣчество, и ей нуженъ весь міръ, Космосъ, Божество.

Надѣюсь, съ этой точки зрѣнія становится яснымъ присутствіе, скрыто или явно, въ нравственномъ чувствѣ, именно въ его соціальной тягѣ, такихъ свойствъ, въ силу которыхъ оно становится религіознымъ. Религіозное чувство или «религіозная тяга» есть, въ существѣ своемъ, перерожденное, расширенное и усовершенствованное соціальное чувство или «общественная тяга» личности *).—

Представимъ себѣ теперь человѣка, нравственная жизнь ко-

*) Изученіе древнихъ политеистическихъ религій (напр. индусовъ, иранцевъ, грековъ) наводитъ на мысль, что первоначально религіозный кругозоръ людей былъ очень тѣсенъ и едва-едва выходилъ за предѣлы небольшихъ соціальныхъ группъ, и что древнѣйшими божествами были не тѣ, которыхъ называютъ божествами природы (какъ Солнце, Небо, Луна, Звѣзды и пр.), а тѣ, которыхъ можно назвать «соціальными», какъ-то священный Огонь, божество семейное, общинное, племенное, государственное, души предковъ, геніи рода, далѣе божества—покровители княжеской власти, боги-судьи и т. д. И міръ этихъ божествъ построялся по образу и подобію общественной жизни людей. Общество боговъ было отраженіемъ человѣческаго общества. Это—то, что покойный Гюйо называлъ «соціоморфизмомъ». — Тотемы дикихъ относятся сюда-же, т. е. къ этому порядку божествъ общественныхъ отношеній, равно какъ и божества зооморфическія (обоготворенныя животныя), какъ отраженіе частью симбіоза человѣка съ извѣстными животными, частью постоянныхъ столкновеній съ ними.—Обоготвореніе природы, какъ я думаю, относится къ болѣе позднему періоду.

тораго была-бы цѣликомъ построена на первой—индивидуалистической, автономной—половинѣ морали: это былъ бы величайшій эгоистъ, «извергъ добродѣтели», занятый только собою, вѣчно любующійся собой, и вмѣстѣ съ тѣмъ—человѣкъ душевно-одинокій и потому душевно-безсильный. Нравственное сознаніе такого человѣка было-бы замкнуто въ предѣлахъ его личности, оно не имѣло бы другихъ пóприщъ для дѣятельности и по необходимости притупилось бы. Для правильной работы нравственнаго чувства, для дальнѣйшаго развитія нравственнаго сознанія необходимъ не только аппаратъ совѣсти, болѣе или менѣе чуткій, но еще необходима и наличность того моральнаго матеріала, надъ которымъ совѣсть призвана работать; а этотъ матеріалъ, сумма добра и зла человѣческаго, поставляется или вырабатывается обществомъ, человѣчествомъ. Совѣсть есть сила, и ей нужно работать, — и ее тянетъ туда, гдѣ есть надъ чѣмъ поработать,—къ обществу, къ человѣчеству.

«Соціальная тяга» или та другая половина морали, о которой мы только что говорили, является началомъ, уравновѣшивающимъ силу моральной автономіи, ограничивающимъ исключительное — эгоистическое — господство нравственнаго сознанія въ человѣкѣ. Всякій нормальный человѣкъ это чувствуетъ и совершенно инстинктивно стремится, такъ сказать, разряжать свою нравственную силу въ обществѣ, найти въ соціальной средѣ точки приложенія для этой силы.

Это стремленіе, психологія котораго, кажется, достаточно ясна, приводитъ попутно къ тому, что въ человѣкѣ оживляется сознаніе своей зависимости отъ общества; онъ склоненъ ставить общество выше себя; онъ видитъ въ обществѣ источникъ всего, чѣмъ «живъ» человѣкъ; онъ сознаетъ далѣе превосходство организованной общественной силы надъ своею индивидуальною. Оттуда—особый порядокъ чувствъ, родъ какъ-бы «культа» въ отношеніи къ общественному и, еще болѣе, государственному цѣлому. Этотъ порядокъ чувствъ у народовъ древности частью былъ очень близокъ къ религіозному, частью совпадалъ съ нимъ.

Дальнѣйшее развитіе личности, прогрессъ индивидуализма, болѣе яркое выраженіе того, что я называлъ «сверхъ-соціальнымъ» въ духовной жизни, въ нравственныхъ стремленіяхъ личности, все это приводитъ къ расширенію предѣловъ «соціальной тяги». Изъ общественной въ тѣсномъ смыслѣ она становится в о о б щ е ч е л о в ѣ ч е с к о й. Нравственная личность, выходя за грань личной жизни, уже не удовлетворяется тѣмъ матеріаломъ, который

Digitized by Google

она находитъ въ ближайшей общественной средѣ, въ своемъ кругѣ, классѣ, народѣ, государствѣ, націи. Совѣсть начинаетъ отзываться на все, что происходитъ въ мірѣ человѣческомъ и даже за его предѣлами, въ природѣ, въ Космосѣ. Религія и метафизика приходятъ тутъ ему на помощь. И если «соціальная тяга» вызывала въ немъ особый порядокъ чувствъ и настроеній, похожихъ на религіозныя, то эта общечеловѣческая и космическая тяга пробуждаетъ уже настоящія религіозныя чувства. И вникая въ свой внутренній міръ, чувствуя, какъ нравственное «я», съ его автономностью, уравновѣшивается и оздоровляется этимъ расширеніемъ сознанія и моральныхъ стремленій на все человѣчество и на весь космосъ, человѣкъ, съ психологическою неизбѣжностью, склоняется къ тому, чтобы въ самомъ явленіи нравственнаго чувства и совѣсти, въ «категорическомъ императивѣ» усматривать нѣчто всемірное, космическое и при томъ—окутанное тою тайною, тою неразгаданностью, которая присуща Космосу. Такъ психологически обоснована, такъ воспитана въ насъ, расширеніемъ сознанія и нравственныхъ стремленій за предѣлы соціальной среды, умственная наклонность приписывать явленію морали и совѣсти сверхъ-чувственное (трансцендентное) происхожденіе, что и было впервые философски развито Кантомъ. Но логически это не обязательно. Вѣдь изъ того, что моя моральная автономія находитъ себѣ уравновѣшивающее начало въ любви къ человѣчеству, въ метафизическихъ созерцаніяхъ, въ широкомъ религіозномъ чувствѣ и т. д., строгая логика не выведетъ никакого опредѣленнаго заключенія касательно происхожденія морали,—заключенія, которое было бы для всѣхъ логически—обязательнымъ. Логика говоритъ здѣсь лишь одно, именно, что мораль и работа совѣсти развиваются въ направленіи наибольшаго расширенія сферы ихъ дѣйствія, переходя даже за предѣлы человѣчества и теряясь въ безконечности космическаго. Это—фактъ эволюціи. И само сверхчувственное (трансцендентное) стало достояніемъ сознанія не только въ силу развитія мысли, но и въ силу указаннаго расширенія моральнаго діапазона личности.—

И когда человѣкъ, обладающій высоко-развитымъ нравственнымъ чувствомъ и утонченнымъ аппаратомъ совѣсти, станетъ пристально и «неотвратно» всматриваться въ свой внутренній міръ, въ таинственную лабораторію своей совѣсти, то его умственный взоръ увидитъ либо Божество, либо Космосъ.

Digitized by Google

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		Стр.
Предисловіе		3
Введеніе		5
Глава I.	Базаровъ („Отцы и дѣти“)	35
Глава II.	„Довольно“ и „Призраки“, какъ продукты субъективнаго творчества, и связь ихъ съ нѣкоторыми сторонами натуры Базарова	59
Глава III.	„Новь“ и типъ Соломина	100
Глава IV.	Обзоръ и классификація женскихъ типовъ. Натуры раціональныя	117
Глава V.	Натуры ирраціональныя. Зинаида („Первая любовь“)	131
Глава VI.	Вѣра (Героиня „Фаустъ“)	146
Глава VII.	Лиза (Героиня „Дворянскаго гнѣзда“)	185
Глава VIII.	Разборъ „Дворянскаго гнѣзда“ вообще и образъ Лизы въ частности со стороны художественныхъ пріемовъ	211
Приложеніе I.		250
Приложеніе II.		261

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google